

№6.2014

# Берега



Калининград

# Берега

**Литературно-художественный и общественно-политический журнал**

## **Цитата номера**

... Вижу, как мы, набегавшись за «цивилизованным платьем», за секонд-хэндовскими поношенными идеями, медленно возвращаемся домой, к ещё, хоть и попорченным, но, слава Богу, живым опорам, одна из которых – родная наша, не изменяющая нам, по-русски терпеливо ожидающая нас великая наша Литература...

Валентин Курбатов

**Главный редактор:** Лидия Довыденко

**Редакционная коллегия:** Дмитрий Воронин, Виктор Геманов, Игорь Ерофеев, Николай Иванов, Александр Казинцев, Юрий Крупенич, Валентин Курбатов, Александр Николашин, Андрей Растворцев, Светлана Супрунова, Владимир Шемшученко, Олег Щеблыкин

**Октябрь 2014. №6**

# Содержание

## Юбилейные даты

«Куда же выпорхнула европейская душа?» Беседа Неониллы Пасичник с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом (Капралом).....	3
<b>Валентин Курбатов</b> – широкое определение. Интервью Владимиру Тыцких .....	8

## Поэзия

<b>Юнна Мориц.</b> Стихи не для печати .....	11
<b>Сергей Кривонос.</b> Я принёс тебе небо. <i>Стихи</i> .....	27
<b>Борис Селезнёв.</b> Он видел свет. <i>Стихи</i> .....	88
<b>Юрий Перминов.</b> Без доброты нам, жителям, никак... <i>Стихи</i> .....	97
<b>Геннадий Ёмкин.</b> Я себе не придумывал Бога... <i>Стихи</i> .....	106
<b>Александр Гахов.</b> <i>Стихи</i> .....	118
<b>Татьяна Шеина.</b> <i>Стихи</i> .....	137

## Проза

<b>Николай Иванов.</b> Засечная черта. <i>Новелла</i> .....	18
<b>Александр Проханов.</b> Крым. <i>Роман</i> .....	30
<b>Альфия Умарова.</b> Возвращение к себе. <i>Рассказ</i> .....	90
<b>Людмила Ашеко.</b> <i>Рассказы</i> .....	99

## Юбилейные даты

### К 200-летию М.Ю. Лермонтова

<b>Валерий Михайлов.</b> Лермонтов. Один меж небом и землёй... ..	109
---	-----

## История и краеведение

### К 100-летию начала Первой мировой войны

**Кн. А.А.Трубецкой.** Императорская Гвардия в начале Первой мировой войны и её роль в срыве плана Шлиффена.

**Оксана Карнович.** Интервью с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским о создании в Москве памятника русским воинам, павшим в Первой мировой войне..... 122

**Лидия Довыденко.** Гумилевская осень в Калининградской области

**К 75-летию начала Второй мировой войны.**

**Александр Редьков.** Три свечи. *Документальная повесть* ..... 141

## **Русский мир без границ**

**Анатолий Брусиловский.** Интервью Оксаны Карнович и князя Н.Д. Лобанова-Ростовского с художником Анатолием Брусиловским ..... 157

## **Наши друзья**

**Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»** ..... 165

Требования к авторам

*Фото на обложке Валентины Архиповской*

## Юбилейные даты

Поздравляем Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала) с 30-летием архиерейства и 80-летием создания Восточно-Американской епархии.

*30 июля 2014 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом. Святейший Патриарх Кирилл предложил в ходе встречи обсудить положение Православия в разных странах мира, а также выработать планы дальнейшей координации миссионерской работы. «Самое главное - чтобы наши совместные усилия помогали русскому Православию развиваться во всех тех странах, где оно присутствует, учитывая то, что с каждым годом все больше и больше русских людей живет в дальнем зарубежье», - отметил Его Святейшество.*

### «Куда же выпорхнула европейская душа?»

Беседа Неониллы Пасичник с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом (Капралом)



**- Ваше Высокопреосвященство! Каково Ваше мнение о ситуации, сложившейся в нашей стране - Украине, на родине Ваших родителей?**

- Соборно мы сформулировали точку зрения о войнах в послании Архиерейского Собора РПЦЗ в Сан-Франциско. Да не попустит Господь, чтобы в столетнюю годовщину начала Первой мировой войны, которой явно означилось начало страшных бед не только для России, но и для всего мира, начались сегодня новые губительные страдания и убийства в восточной части Европы. Война всегда ведёт за собой иную новую войну. «Куда же выпорхнула европейская душа?» - вопрошает подвижник XX века, свидетель всех европейских войн нового времени святитель Николай Сербский. На этот вопрос ответила Первая мировая война. Цель этой войны - не разрушить мир, а обнажить нищету Европы и возратить ей её душу. Война эта будет продолжаться до тех пор, пока существует Европа без души, без Бога, без Христа. Она прекратится, когда Европа вернёт свою душу, своего единого Бога и единственное истинное богатство. Никто не был уверен в том, что переживёт катастрофы Европы в XX веке, кроме христианской Церкви. И ни у кого, кто стремился к прочному и справедливому миру, не было идеи обновления мира. Только у Церкви.

Нищета европейской цивилизации обнаружилась в войнах. Отвратительная нагота Европы пристыдила всех, кто поклонялся её фальшивому величию. То была лишь личина блеска и глянца, скрывавшая её внутреннее обнищание. Всё оказалось ложным: и культура, и цивилизация, и прогресс, и модернизация. Когда Европа потеряла душу, остались лишь пустота и разорение. Когда религия ослабла и изнемогла, болезнь распространилась на все области и сферы

человеческой деятельности. Тщеславие маскировалось искусством, эгоизм - политикой, алчность - правами, неверие и сомнения - теологией, духовное опустошение - научно-техническими знаниями, бездарная журналистика - литературой, империализм - цивилизаторскими устремлениями, насилие - борьбой за права человека, самолюбие и гордость - индивидуализмом. И во всём этом мораль стала самым второстепенным делом на земле. Христос стал изгоняемым нищим, ищущим для Себя хоть какого-то пристанища, тогда как в королевских палатах жили и не тужили безбожники и фарисеи. Безбожник Макиавелли и безбожник Наполеон, безбожники Маркс и Ницше по-императорски властвовали над европейскими народами. Дух был растлен. Дух любой цивилизации всегда воодушевляем религией; дух же современной Европы не был вдохновляем европейской религией.

Едва миновали два десятилетия с начала Первой мировой, в 1934 году, 80 лет тому назад, был злодейски убит благочестивый монарх, крестник Императора Александра III - югославский король Александр – друг Православной Руси и защитник русских изгнанников, нашедших приют в его королевстве. С этих-то дней и стала неизбежной Вторая мировая война. Многие сообщества безбожников прилагали огромные усилия к тому, чтобы освободить Европу от духа её религии. Делали они это, забывая об одном: ни одна цивилизация, отрешившаяся от своей религии, не смогла выжить - оставался скабрёзный материализм в городах и суеверия в сёлах. Добро было заменено силой. Насилие и зло истолковывались как естественные биологические потребности. Христианскую Европу затмили новые учения: индивидуализм, национализм, либерализм, консерватизм, империализм и секуляризм. Когда Европа оставила Христа, начались поиски «нового бога». Каждый полагал и хотел стать этим «новым божеством». Так, лишившись истинного Бога, Европа вдруг стала переполнена богами ложными.

Если ваша страна, бывшая некогда родиной моих родителей в составе Европы, а прежде в составе России, сделает «европейский выбор», она повторит тот путь, который прошла Европа столетия назад. У славян свой путь, отличный от европейского, и определяется он, прежде всего, культурой Православия.

**- На Ваш взгляд, почему христианская церковь, просветитель Европы на протяжении XIX столетия, не протестовала против Первой мировой войны?**

- Святоотеческое предание оставило нам об этом свидетельство: потому что она была слишком слабой во всём. И даже если бы она и возвысила голос протеста, никто бы её не послушал. Но почему церковь оказалась столь немощной и безголосой в тот роковой исторический момент? Она оказалась бессильной, потому что была расколота на части и походила на архипелаг малых островков в волнующейся безбрежной пучине. Церковь не была способна к протесту, поэтому была готова уступить любой временной силе. На новом витке события европейской истории столетней давности сейчас повторяются в Восточной Европе.

Но 2014 год не следует связывать исключительно с грозными предзнаменованиями. В этом году мы отметили 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Эта дата имеет особое, промыслительное значение как для основанной преподобным Троице-Сергиевой Лавры, так и для судеб всей исторической России. По слову историка В.О. Ключевского, при имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение государственное. Христианские монахи обыкновенно наказывали сами себя, когда мир посещали великие беды. Себя самих считали они подлинными виновниками несчастий и не обвиняли никого другого. По всей вероятности и церкви должны были бы прибегнуть ныне к этому крайнему методу покаяния - во благо самим себе и всему человечеству.

Живший в самом сердце Европы святитель Николай Сербский свидетельствует о том, что церкви Франции, Италии, Сербии, Румынии, Бельгии и Болгарии находились в распоряжении военных правительств соответствующих стран. Ни одна церковь не воспротивилась позиции своего правительства. Судя по всему, у них не было собственной точки зрения на мировую войну. Словно она вспыхнула впервые и внезапно, как нечто новое в истории! А ведь ещё в Русско-японской войне имело место абсурдное явление: сначала - негодование на японцев за беззастенчивый цинизм в попрании международного права, но сразу же после того - изумление и рукоплескания самураям, одерживающим победы. Не это ли мы замечаем и сейчас в Восточной части Европы, именуемой Украиной?

Поэтому одна из главных задач Русской Православной Церкви, во отечестве и в рассеянии сущей, является сегодня воцерковление русского народа, дабы через этот процесс мы могли бы вернуться к благочестию наших предков Святой Руси, ведущей всех ко спасению.

- Можно ли сказать, что судьба Русской Зарубежной Церкви как бы отразилась в судьбе её главной святыни – Курско-Коренной иконе Божией Матери, именуемой «Знамение»?



- Несомненно. Начиная с 1608 года, икона служит спасению отечества. Тогда она знаменовала приближение к завершению Смуты на Руси. Лжедмитрий I взял икону из Курска в свой лагерь в Путивле, а затем и в Москву, где она пребывала в царских покоях. Когда икону установили в Успенском соборе Кремля, святитель Иов, первый патриарх Московский, ощутил воздействие чудотворного образа и осознал, что не может венчать Лжедмитрия на царство. А первый правитель династии Романовых, избранный на царство на Руси, государь Михаил Феодорович, по просьбе жителей Курска и в знак победы над войском польским вернул им чудотворный образ. Позднее, когда икона вернулась в Курск и Курскую Коренную пустынь, где была обретена в XIII веке при корне дерева, крестные ходы из города в монастырь к концу XIII века увеличились до невероятных масштабов. Крестьяне, купечество, духовенство, вельможи - все почитали своим долгом сопровождать перенесение иконы в Коренную пустынь, где икона находилась всё лето - с пятницы 9-й седмицы по Пасхе и до 12 сентября.

Революционная смута начала XX века отразилась и на Курской иконе. Тогда террористы взорвали Знаменский монастырь, но Господь спас образ Пресвятой Богородицы. Это страшное событие спустя много лет было отражено в книге архиепископа Чикагского и Детройтского Серафима (Иванова) «Одигитрия русского зарубежья». Последний российский царь-страстотерпец Николай II в 1914 году, 100 лет тому назад, по дороге в Галицкую Русь молился перед Курско-Коренной иконой.

В 1918 году святыня была украдена из Знаменского монастыря, но в день памяти преподобного Феодосия Печерского, святого, родившегося в Курске, образ был найден - вопреки отказу безбожной власти искать икону. К концу 1919 года стало понятно, что Белая армия может не удержать Курск. И тогда духовенство приняло тяжёлое решение о вывозе иконы. Начался трудный путь в изгнании. В начале 1920 года на пароходе «Св. Николай» икона отправилась через Константинополь в Салоники, но в сентябре, по просьбе главнокомандующего генерала Врангеля, образ снова возвратился в Крым для поднятия духа горстки воинов-патриотов. 29 октября вместе с остатками Белой армии и гражданским населением икона вновь покинула русскую землю и под её покровом была основана Русская Православная Церковь Заграницей.

В США Курская-Коренная икона, имеющая большое значение для Русского Зарубежья, прибыла 5 февраля 1951 года. Для принятия почитаемого образа в городке Магопак (под Нью-Йорком) годом ранее была основана Ново-Коренная пустынь. Стоит отметить, что имение Магопак нашей Церкви пожертвовал князь Сергей Сергеевич Белосельский-Белозерский, и там по благословению священноначалия был основан дом для иконы Пресвятой Богородицы. За долгие годы строения Ново-Коренной пустыни пришли в упадок. Сейчас обитель реставрируется с целью возрождения духовного центра нашей Церкви.

- Среди почитаемых святынь русского зарубежья - мощи преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Возможно ли выполнение духовного завещания святой о погребении её останков в созданной ею Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве?

- Мощи германской принцессы, своей мученической кровью освятившей нашу Церковь, - почитаемая наша святыня в Гефсиманской обители на Святой Земле. Направляя свои стопы во Святой град Иерусалим, Великая княгиня посетила Киево-Печерскую Лавру, а через три года приняла Православие. Существует предание о том, что, прибыв на Святую Землю, Елисавета Феодоровна в умилении воскликнула: «Как бы я желала быть погребённой здесь!» Но письменное

завещание свидетельствует о её желании быть погребенной в Москве, там, где покоятся останки мужа Её Высочества - первого мученика дома Романовых Великого князя Сергея Александровича, наречённого в память преподобного Сергия Радонежского.

По существу вашего вопроса существуют разные мнения и в России, и в Зарубежье. Профессор Киевской Духовной академии Виктор Чернышев высказал мысль о том, что с юридической и моральной точки зрения завещания следует выполнять. Знаменательно то, что спустя тридцать лет после визита в 1888 году в Киев, Великая княгиня Елисавета Феодоровна приняла мученический венец от рук безбожной «новой власти» в заброшенной шахте близ Алапаевска на Урале.

Незадолго до зверской расправы с благоверной княгиней она была избрана и почётным членом Киевской Духовной академии. Поэтому издание книги австралийского автора Любови Петровны Миллер о житии святой в переводе на украинский язык считаю своевременным. Промыслительно и то, что, не имея потребности переходить в православие из протестантизма, германская принцесса Дармштадтская Элла всё-таки со временем приняла веру своего супруга Великого князя Сергея Александровича, считая православие Истиной.

Поскольку святая Великая княгиня Елисавета Феодоровна является единственной святой, принявшей венец мученичества в шахте, шахтёры считают её своей Небесной покровительницей. Знаю о том, что на родине моих родителей, на Волыни, в день памяти святой 18 июля в прошлом году был отслужен молебен на дне одной из шахт Львовско-Волынского угольного бассейна на глубине 350 метров. Это промыслительно, поскольку сто лет назад во время Первой мировой войны святая благоверная княгиня, будучи уже в иночестве, посетила эти земли вместе с Государем.

**- Род Капралов появился на Волыни в XVII веке, вслед за сражениями киевского воеводы, православного сенатора Речи Посполитой (Польши) Адама Киселя с Пруссией. Капрал - это чин европейской армии (германской, затем прусской, позднее австрийской), соответствующий ныне званию сержанта. Промыслительно ли, что один из Капралов стал воином Христовым?**



- Относительно европейского воинского чина капрал, что в переводе на русский – попросту сержант (до революции 1917 года – прапорщик), хотелось бы упомянуть русского сержанта - князя Алексея Павловича Щербатова из рода Рюриковичей, правивших Русью 700 лет до начала Смутного времени. Князь Алексей Щербатов - потомок предводителя Харьковского дворянства - был профессором истории в США. В прошлом году исполнилось десять лет со дня его кончины. Похоронен Алексей Павлович в Джорданвиле. Князь был нашим прихожанином на Манхэттэне и возглавлял Дворянское собрание. Потомки советских генералов из рассказов помнят, как сержант американской союзнической армии - русский князь Алексей Щербатов - консультировал ирландских генералов армии США после высадки союзников в Европе, в частности в Прибалтике, где у князя было родовое поместье и где родилась его младшая сестра.

А то, что родоначальник моей фамилии Капрал - военачальник - прибыл на Волынь из королевства Пруссия на службу к киевскому воеводе Адаму Киселю - это промыслительно. В родовой усыпальнице Адама Киселя сейчас действует монастырь, а меня Господь призвал в Своё воинство - служить архипастырем.

**- Владыка, кроме духовного образования Вы имеете также и светское. Вы окончили Сиракузский университет со степенью магистра славянских культур и русской литературы. Какое место, на Ваш взгляд, занимает религия в творчестве классиков русской литературы?**

- К русской культуре, называемой ещё славянской (от «славить Бога»), может принадлежать человек вне зависимости от происхождения, который исповедует русскую культуруобразующую религию - Православие. К примеру, писатель Михаил Юрьевич Лермонтов, человек военный, в своём романе «Герой нашего времени» вывел персонажа - доктора с немецкой фамилией Вернер, который был глубоко русским человеком. И, напротив, упоминает о некоем Иванове, который был суший немец. Вопреки взгляду советского внерелигиозного литературоведения на творчество поэта и писателя Лермонтова, служившего на Кавказе в воинском чине прапорщика, существует мнение о богоискательстве поэта, насколько это позволял ему военный мундир. Считалось, что погибший на дуэли Лермонтов был похоронен без отпевания. Это не так! В Пятигорске, где состоялась дуэль, покоится прах священника, отпевавшего писателя и служившего 40 дней по нём панихиды.

Также и наследие Антона Павловича Чехова изучено не всесторонне в силу длительного запрета на религию в СССР. А ведь рассказ Чехова «Убийство» вскрывает не просто ограниченность сектантского сознания, но его преступность, что приводит к убийству не только души, но и к физическому насилию по отношению к православному человеку по причине его верности святоотеческой традиции. В свой рассказ «Студент» Чехов включил проповедь студента Духовной академии о Тайной Вечере и троекратном отречении апостола Петра. Что касается графа Льва Толстого, то, в отличие о Лермонтова, исповедовавшегося перед дуэлью, Толстой умер без покаяния, так и не примирившись с Церковью. Отлучение писателя от Православной церкви было не актом наказания, а констатацией отпадения человека от Православия.

Фактически Лев Толстой стал основателем, по собственному своему признанию, «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле», то есть оккультного учения. Писатель Горький в письме делился с Чеховым: «Я всё не верил, что он атеист, а теперь, когда слышал, как он говорит о Христе, и видел его глаза, знаю, что он именно атеист, и глубокий». Величайшим проповедником Христа считали святые отцы Достоевского. Переосмыслить не только наше историческое прошлое, но и литературное нам ещё предстоит усилиями не столько государства, сколько, быть может, церкви. Сам за себя говорит факт, что если бы митрополиту Филарету (Дроздову) была передана рукопись второго тома поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души», мы бы знали её содержание. Наверняка речь шла о мошенническом, то есть противозаконном по отношению к принятым нормам и правилам страны, сектантском сознании персонажа Чичикова, гораздо раньше, чем об этом решился вслух сказать Антон Павлович Чехов.



## Юбилейные даты

### Валентин Курбатов – широкое определение

Поздравляем с 75-летием Валентина Яковлевича Курбатова, члена редакционного совета и автора нашего журнала, лауреата Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, литературного критика, члена Академии российской словесности, члена Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, действительного члена Академии философии хозяйства, Общественной палаты России, президентского Совета по культуре, лауреата премии им. Л.Н. Толстого, Горьковской и Новой Пушкинской премий.

Поздравляем с 65-летием Владимира Михайловича Тыцких, автора и друга нашего журнала - главного редактора журнала «Сихотэ-Алинь», члена Союза писателей России, общественного деятеля, автора тридцати книг поэзии, прозы, публицистики и литературной критики, Заслуженного работника культуры России, человека большого таланта, широкой души, беззаветно любящего Россию.

*В канун своего 75-летия Валентин Яковлевич Курбатов ответил на вопросы Владимира Тыцких.*

– Валентин Яковлевич, многие самые, на мой взгляд, выдающиеся русские писатели из числа Ваших современников жили не в главных культурных столицах, а в глубинке, порой весьма далёкой от центра: Вологде, Красноярске, Иркутске... Ваша альма-матер – ВГИК. Выпускники этого суперэлитарного вуза – считанные, а такие, как Валентин Курбатов, – просто штучные. Вы, оставив родной Чусовой, со своим дипломом, уникальным статусом и заслуженным именем могли ведь прижиться в Москве или в Питере. Но осели в окраинном, с точки зрения географии – провинциальном, сравнительно небольшом городе Пскове. Почему?

– Как почему? А где ещё должен жить русский человек, родившийся в деревне? Ведь изведёшься потом. Хотя вроде вон сколько их, деревенских-то, по городам, даже и прямо по столичным городам, жили – Александр Яшин, Александр Твардовский, Фёдор Абрамов, Василий Шукшин, Владимир Личутин. А только разве они там «городское» пишут, столичные проблемы решают? Нет, уехать-то уехали, а перо «дома» оставили. Но оттого, что жили по столицам, тем острее родное и чувствовали, и тем смелее и вернее и писали, потому что кто пожил там, да поближе поглядел, так и понял, что столица-то столицей, а человек там всё тот же родной, и именно от этой его сродности его и можно писать, как своего, и отчего потом «деревенских»-то писателей и читали как своих и высококолобые академики, и простосердечные мужики, помнившие, что в самом-то сердце все мы одного рода.

Да ведь и про «комплексы» не забывайте: всё время будешь оглядываться – так ли живёшь и ведёшь себя или уж, как Василий Макарыч, эту деревню в себе ещё подчёркивать и тем как будто ещё и защищать её, держать перед городом.

– Герои литературного критика Курбатова – писатели, составляющие гордость отечественной литературы. Вами о них написаны не отдельные статьи, не серии статей – объёмные книги, основательные исследования, требующие знаний, сил, времени, которые пишущему человеку трудно представить, а непишущему трудно оценить. И сколько ещё другой работы приходится делать – как рецензенту, члену многих редколлежий, жюри, общественному деятелю и так далее! Как всё успеваете?

– Да никак не успеваю. Оттого и кажется, что всё только наброски пишу. И прежде ещё казалось, что однажды соберусь и напишу толстенную книгу, где всё и скажу. А уж теперь сдался. Понял размер своего «дыхания» и так по краткости его и пишу. И уж совсем смешно – боюсь отнимать у читателя много времени. Как и при устных выступлениях – бегу, глотаю буквы, скорей, скорей, наживил мысль и ладно, чего её развозить-то. И поскорее вон! Похоже, что это тоже от деревни – подальше от трибуны.

– Вот ещё интересно: Вы ведь со своими героями не просто общались многие годы и десятилетия, но дружили, крепко дружили. Писатель, в большинстве, для дружбы плохо

*приспособлен, особенно с критиком. В чём тайна Ваших редкостных личностных отношений с собратьями по литературе?*

– А оттого и дружили, что я критиком-то, похоже, по ошибке называюсь. Просто нет более широкого определения – вот и говорят: критик. Научил, слава Богу, старый шекспировед Леонид Ефимович Пинский, спросивший меня, когда я после ВГИКа оставил работу в молодёжной газете: чем же я занимаюсь в Пскове, где ни киностудий, ни журналов? Да вот, – говорю, – нет-нет статьи пишу, а то внутренние рецензии, когда издательства присылают рукописи. – Ну, и сколько прочитали? – спрашивает. – Да, – говорю на тот час, – штук восемьдесят. – А сколько «благословили»? – Да меньше десятка. – А с остальными что? – Забыл, – говорю, – чего сознание-то засорять? – А вот это, – говорит, – не обольщайтесь. Ни одна дурная прочитанная книга никуда из генетики не девается. И она рано или поздно начнёт разрушать Ваше сознание, а ещё хуже – сознание детей и внуков. И Вы не поймёте, отчего Вам трудно с детьми, а это оттого, что Вы повредили душе дурным чтением. И это не они виноваты, а Вы. Лучше умрите под забором.

Ну, я и понял и не тратил времени на книги, которые «грозили душе». На той странице и закрывал, на которой это чувствовал. И «критики», разборов плохих текстов не писал. А с Астафьевым или Распутиным, Георгием Семёновым или Татьяной Глушковой чего было не дружить, когда они сами каждой страницей перед Богом стоят, и ты вместе с ними к небесам поближе.

*– Нам выпало убедиться в верности известной аксиомы о жизни в эпоху перемен. Что это было – то и это время? С чем не соглашалась душа вчера, против чего негодует сегодня?*

– Да уж, поневоле, как долго поживёшь, поймёшь старую молитву: «Не дай, Господи, жить в «интересное время»! Особенно в России, где уж если затевать что-то, так сразу во всю ширь – «раззудись, плечо, размахнись, рука!» Вон что с советской историей сделали, как с врагом, словно нам её на штыках принесли и не кто-нибудь, а отцы и деды.

И вот собираем себя, собираем, и собрать не можем. И чем внешне сытнее живём, тем дальше друг от друга, и тем человек хуже и дальше от небесного замысла. Подлинно земля уходит из-под ног, и без истории повисаешь в воздухе, всё острее ощущая, как говорил один философ, «зияние Бога» на месте Бога и «зияние человека» на месте человека. Всегда у нас на месте «свободы» «воля» стояла – «по своей воле пожить».

Так оно и осталось и, коли Бог не удерживает, то там уж только и останется наркотически тянуться к новым и новым переменам, чтобы не заскучать в повседневности простого человеческого существования, когда надо строить своё сердце, а не переделывать мир под неутолимое потребление.

*– Как живёт писатель Валентин Яковлевич Курбатов в некогда самой читающей стране, на глазах почти катастрофически теряющей интерес к книге?*

– Да нет, не теряется интерес. Только читается другая «часть текста» – информационная. И тут уж ничего не поделаешь с услужливым интернетом, который скоро оставляет в тебе иллюзию стократ более полного знания, чем в прежние годы. «Разогнул» Википедию, и на тебе – получаешь иллюзию знания без всякого усилия. Отчего мы внешне все так умны, но внутренне так поверхностны. Аудио- и электронные книги уже теснят на рынке «бумажные» книги, а как сказать человеку, уже привыкшему к этому способу потребления текста, что в интернете текст «развоплощается», непостижимым образом теряет духовную полноту, начинает «сквозить» и улетучиваться вместе с исчезающей с экрана страницей? Мы уже говорим с новым читателем на разных языках и, боюсь, не услышим друг друга.

*– Литература – что это такое для нас, для русского народа, для отечества нашего?*

– В лучшие времена она была всем – церковью, государством, духовным спасением «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий». Сегодня – интеллектуальный рынок, товар, и первая забота издателя – «как будет продаваться». Ну, а уж за издателем и писатель озабочится той же проблемой – как не исчезнуть с прилавка. Но сижу вот в жюри премии «Ясная Поляна» и на глазах вижу, как слово ме-е-едленно, но возвращается и уже меньше заботится о блеске и всё внимательнее вглядывается в человека и время и, глядишь, и читателя повернёт. Русские же люди – куда наследованную-то память денешь? Тем и утешаешься и за это держишься в своих размышлениях. Нам самим, кто постарше, не надо торопиться сдаваться и уступать место разворотливым молодцам от литературы. Как там у Серафима-то Саровского: спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Удержись в своём понимании духа и смысла, и читатель прочтает этот дух и смысл в самой твоей интонации, и вспомнит своё лучшее.

– *Каким видится Вам будущее России?*

– Ох, лучше не загадывать. Читаю вот в соискателях «Ясной Поляны» Владимира Бутромеева и боюсь согласиться, когда он пишет о «спокойном, разумном осознанном страхе смерти и о том, что эти мысли единственное, что имеет смысл». А от человека-то переходит вон куда: «Особенно сильно это чувство и понимание смерти сегодня, когда очевидно умирание русского народа. И если уж о чём писать сейчас, то конечно только о смерти русского народа. Всё остальное или ложь и обман, или до глупости маловажно, что не стоит и чернил»...

Ну, это он прямо, а другие вроде без философии – о быте, да о жизни, а приглядишься – туда же поворачивают. И только и разницы, что одним эта смерть в злую радость (они хоть и тут живут, а думой-то давно по чужим краям), а другим в печаль.

Но опять же, гляжу на нынешнее неустройство, на скрытое или явное национальное противостояние (одна Украина чего стоит), а вижу, как мы, набегавшись за «цивилизованным платьем», за секонд-хэндовскими поношенными идеями, опять же м-е-е-едленно возвращаемся домой, к ещё, хоть и попорченным, но, слава Богу, живым опорам, одна из которых – родная наша, не изменяющая нам, по-русски терпеливо ожидающая нас великая наша Литература. Как там Фридрих Великий-то про нас говорил, что нас мало убить, нас ещё повалить надо!



## Поэзия

---

---

### Юнна Мориц

*Юнна Петровна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Закончила отделение поэзии Литературного института в Москве в 1961 году. Автор книг: «Мыс Желания», «Лоза», «Суровой нитью», «При свете жизни», «Третий глаз», «Избранное», «Синий огонь», «На этом берегу высоко», «В логове голоса». Книги «Сквозеро», «Лицо», «Таким образом», «По закону - привет почтальону», «Рассказы о чудесном» вышли с включением в содержание страниц графики и живописи, «которые не являются иллюстрациями, это - такие стихи, на таком языке» (Ю.М.). Книги для детей (новые): «Лимон Малинович Компресс», «Крыша ехала домой».*

*Стихи переведены на главные европейские языки, также на японский, турецкий, китайский. Премии: «Золотая роза» (Италия), «Триумф» (Россия), премия имени А.Д. Сахарова (Россия).*

### Противоядие

Есть люди, которые восхищаются, когда Россию называют помойкой, местом, где жить нельзя, откуда «пора валить», потому что Майдан невозможен с такими «белковыми веществами», холопами, насекомыми, пресмыкающимися, как мы, не приветствующие майданский хунтец.

Нам приказано «прогрессивной общественностью» смотреть на себя и ужасаться! Травиться ужасом, глядя на собственное лицо. Ни в коем случае не спасать своих соотечественников, попавших в беду, как журналисты в Украине, а топить их со всей беспощадностью, чтобы в яме сидели, с мешками на голове. Защищать надо исключительно иностранцев, которые пишут, что Россия – оккупант, хуже Гитлера.

Я, безусловно, не принадлежу к такой «прогрессивной общественности», я её антипод, диаметрально противоположность. Пусть она смотрит на себя и ужасается. А мой Читатель ни в коем случае не должен травиться ужасом, глядя на собственное лицо!.. Поэтому всё моё поэтство – противоядие, противозанудное устройство и антидепрессант.

Есть люди, которые возмущаются тем, что я не приветствую майданский хунтец, фашистскую русофобию и отравление России ужасом самоненависти. Очень советую им никогда не читать мои книги, сайты и блоги; это вредно для их психофизического здоровья. Но как раз они читают мои противоядия взахлёб.

Сейчасная мода диктует: надо писать о своём – как о чужом, а о чужом – как о своём. Всё я делаю наоборот!..

Стихи не для печати

### Страна моей любви

Я – странный человек, люблю свою страну,  
Особенно люблю в трагическое время,  
Когда со всех сторон хулят её одну  
И травят клеветой – в эпохоти гареме.

Эпохоть такова, что подлое враньё  
Имеет все права над нами издеваться,  
Бросать в костёр дрова, но я не сдам её –  
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, в любые времена  
Люблю свою страну, и это – внутривенно,  
И невзирая на... когда моя страна  
Меня за невраньё не любит откровенно!

Эпохоть такова, что подлое враньё  
Имеет все права над нами издеваться,  
Но чудом я жива, и я не сдам её –  
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,  
Где Вечное Теперь и вечные повторы.  
Люблю свою страну, и мрак её, и свет.  
Особенно люблю – под лай фашистской своры!

### **Русофобусы** (ужасные стихи)

*Её «Идиот и самолёт» сбивает  
самолёты, военные и пассажирские,  
по наводке из Кремля. (Интернет)*

Контуженные злобой русофобусы,  
Враньё которых – скользкий гололёд,  
Вопят, что я сбиваю аэробусы  
Стихотвореньем «Идиот и самолёт».

Такие бреды и такие вопли  
Рождают русофобусов круги,  
Наевшись мухоморов и конопли  
Безумия, долбящего мозги.

Пылая русофобским озвереньем,  
Способен охунтевший сумасброд  
Вообразить, что я стихотвореньем  
Сбиваю в небесах воздушный флот!

Такой, с ума сошедший, русофобус  
Вполне способен с резвостью блохи  
Скапутить пассажирский аэробус,  
Вину свалив на русские стихи!

С прискачкой в русофобусной горячке  
Безумцы ждут, что мы сойдём с ума  
И вся Россия встанет на карачки,  
Покается и влезет в гроб сама!

Я – не из тех, кто вынул покаяльник  
И, покаянья раскалив паяльник,  
В Россию тычет, ей грозит судом!  
Мой Дом – не русофобусов дурдом.

\*\*\*

Не будь, Россия, ничьей добычей!  
Не следуй правилам тех приличий,  
Какие хищник диктует жертвам, –  
Не будь съедобной!.. Не верь экспертам,  
Чей опыт славен словесным блюдом, –  
Тогда не будешь дежурным блюдом,  
Закуской, жертвой звериной страсти –  
Порвать с восторгом тебя на части!

Не будь безгрешной!.. Из тех, кто живы,  
Никто не ангел, – упрёки лживы.  
Не будь пушистой, а будь зубастой!  
Чисты фашисты, как тубик с пастой,  
Чисты фашисты, как зубик с пломбой,  
Как в небесах санитары с бомбой.  
Не говори, что бывает хуже!..  
Не жди пощады в глобальной луже.

Не будь, Россия, страной-тарелкой,  
Разбитой вдребезги подлой сделкой, –  
Страной осколков, отдельно взятых  
В разъединённых российских штатах.  
Не будь разъёмной!.. Не верь экспертам,  
Не следуй правилам тех приличий,  
Какие хищник диктует жертвам...  
Не будь, Россия, ничьей добычей!

### **С Аполлоном, с музами, с Орфеем**

Это рус.поэтам – не впервые,  
Есть огромный опыт с древних пор,  
Подавляем точки огневые,  
По России бьющие в упор.

Опыт есть у русского поэтства,  
Смотровые башни без вранья –  
Сильные космические средства  
Против русофобской злобы дня.  
С Аполлоном, с музами, с Орфеем  
Есть поэтский у меня союз, –

Я не стану никогда трофеем,  
Я для русофобов – тяжкий груз.  
«Оторопь берёт! Какая злая!» –  
Русофоб вопит, и он не врёт,  
Не для русофобского козла я –  
Огород, где он капусту жрёт.  
Прелесть – если оторопь берёт!

Добреньких одобрить попросили  
Взятие России на живца.  
Я для ненавистников России –  
Не кондитер сдобного словца.

Рус.поэты – те ещё цветочки,  
Тот ещё кладут они прибор,  
подавляя огневые точки,  
По России бьющие в упор!

### Злоба дня

#### 1.

Гомер задолго до меня  
Стихотворил на злобу дня.  
И древнегреческие мифы –  
На злобу дня, и Блока «Скифы»,  
И роль Троянского коня,  
И «Медный всадник» – злоба дня!

И Маугли, и Буратино,  
Шекспир и Данте – злоба дня!  
Кровопролитная резня,  
Её безбожная рутина –  
Библейской древности картина,  
Где всё подряд – на злобу дня!

Заглохни, визготня шалмана,  
И знай, что эпос – до меня  
Увековечил злобу дня,  
Где всё – сейчас и без обмана!  
Струной эпической звеня,  
Он это делал постоянно, –  
Без электричества и газа,  
И даже без воды из крана!

Гляди, Читатель, в оба глаза:  
Гомер задолго до меня,  
Шекспир и «Репка» – злоба дня,  
И это – не пустая фраза,  
А наша близкая родня!..

#### 2.

*Чем либеральней, тем они пошлее...  
Тютчев, май 1867 г.*

Не смог Европу Тютчев изменить,  
Она Россию держит в чёрном теле.  
Но Тютчев нам протягивает нить  
Спасенья в европейском беспределе.

Предупреждённый Тютчевым спасён  
От европейской травмы и обиды, –  
Мне никогда не снится страшный сон  
О том, что мы – Европы инвалиды.

Огромна «Репка», тащится с трудом,  
Должны сплотиться предки и потомки!  
Такую «Репку» в Европейский дом?..  
Нет, Тютчев – против русофобской  
ломки!

Его поэзия – влиятельная связь,  
А злоба дня – она всё злее, злее!  
Но Тютчев пишет, злобы не боясь:  
«Чем либеральней, тем они пошлее...»

### Другая Украина

Украина у меня – другая,  
Вам такой вовеки не видать,  
Там хожу я в школу, полагая,  
Что в живых остаться – благодать!

Кончилась война, иду за хлебом,  
Корка хлеба – счастье, без вранья!  
Всю дорогу я слежу за небом,  
Где бомбили Киев и меня.

Украинским языком владея,  
Вряд ли я сумею той порой  
На вопрос ответить прохиндея:  
Первый он язык или второй?..

Всё известно мне о Бабьем Яре,  
Всё ему известно обо мне.  
Только Киев мой – не эти твари,  
Что прислугой были Сатане!..

Я хожу за книгами к монахам,  
В этих книгах – ижица и ять.  
Книжное дитя способно страхам  
Лучезарно противостоять.

У меня – другая Украина,  
Вам такая – даром не нужна!  
В этом я нисколько не повинна,  
Каяться за это – не должна!

Неповинна памяти лавина,  
Горловина соловья нежна.  
У меня – другая Украина,  
Вам такая – даром не нужна!

У меня – другая Украина,  
И Россия в этом не повинна...

### **Яд уступок**

Не уступай, ты будешь обречён, –  
Как только бандам сделаешь уступки,  
Они тебя объявят палачом,  
Воткнув под винт кровавой мясорубки.

Твою страну задушат, как птенца,  
Уступки, продиктованные сворой.  
Таков урок в Училище Творца,  
Где яд уступок – для расправы скорой.

Училище Творца – оно везде,  
В любой среде оно диктует опыт,  
Оно – в полёте, в беге и в езде,  
И в данный миг оттуда крик и шёпот:

Не уступай, ты будешь обречён,  
Палач в ответ на все твои уступки,  
Смеясь, тебя объявит палачом,  
Воткнув под винт кровавой мясорубки.

Уступки – чистой прелести среда,  
Любви и дружбы нету без которой!..  
Но ни за что, нигде и никогда –  
Уступки, продиктованные сворой!

### **Запад святой**

Слепотой, глухотой, немотой  
Наслаждается запад святой,  
Когда мчится в Россию лавина  
Мирных беженцев, а Украина  
Бьёт по ним, и летящая мина  
Абсолютно чиста и невинна,  
Где распахнута смерти долина.  
И своей глухотой,  
И своей немотой  
Наслаждается запад святой!

Абсолютно невинным и чистым  
Запад выглядит специалистом  
С абсолютно крутой правотой –  
Слепотой, глухотой, немотой!  
Миномётчик и снайпер-молодчик  
Бьют по беженцам, по журналистам,  
Чей язык – Достоевский, Толстой.  
Так в Европу идёт Украина,  
Где невинна летящая мина,  
И летящая пуля невинна, –  
И своей глухотой,  
Немотой, слепотой  
Наслаждается запад святой!

### **Утечка стыда**

Утрачен стыд разбойника и вора,  
Утрачен стыд судьи и прокурора.  
Доносчика, вруна и стукача  
Утрачен стыд, чья подлость горяча!

Утрачен стыд кидалы, афериста,  
Чья древняя профессия игриста.  
Утрачен стыд военного министра,  
Стыд не утрачен графа Монте-Кристо!

Стыд не утрачен Данте Алигьери,  
А стыд властей утрачен в полной мере.  
Огромен стыд, утраченный людьми!..  
И сладок стыд, в котором свет любви.

### **Это касается ВСЕХ**

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ !  
То, что случилось в Одессе, Чудовищный ГРЕХ!  
То, что случилось в Одессе, фашизма разврат,  
Морда фашизма, фашизма пылающий ад.

То, что случилось в Одессе, не битва идей,  
Это – Освенцим, где звери сжигают людей,  
Это – фашистам Права Человека даны,  
Это Права Человека – войскам сатаны!

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!  
То, что случилось в Одессе, фашизма успех,  
Это – фашизма концерт и фашизма гастроль,  
Хохот фашизма, который – свободы король!  
Это – свобода, в которую запад влюблён,  
Запад, состряпавший этой свободы бульон.  
То, что случилось в Одессе, фашистская месть,  
Месть людоедов!.. Россию фашистам не съесть!

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!  
В западной прессе – вранья русофобского цех:  
Это – фашистам Права Человека даны,  
Это Права Человека – войскам сатаны.  
То, что случилось в Одессе, не битва идей,  
Это – Освенцим, где звери сжигают людей.  
Морда фашизма, фашизма пылающий ад –  
Это касается ВСЕХ, и ни шагу назад!

### Орбита

Россия – не сверхдержава. Россия – такая планета.  
Планета, а не империя. Своя у неё орбита.  
Орбита – не карта бита. У Господа нет кабинета.  
Веди себя, как планета, как план Бытия – не быта –

Не спроси: почём орбита? Отвечу без лицемерия,  
Орбита не продаётся, где жадность – не элитарна!  
Россия – не сверхдержава. Планета, а не империя.  
Орбита её магнита мистически планетарна.

Орбита неистребима, элита гребёт монету –  
Элите зачем орбита? Торгует орбитой русской!  
Планета, а не империя (для имени места нету!),  
Россия орбиту держит – с космической перегрузкой.

Россия – не сверхдержава. Но держит свою орбиту,  
Такая она планета, орбиты она держава.  
И план Бытия – огромно, планетно не равен быту,  
Но держит свою орбиту, не лжива она, не ржава.

Орбита – не карта бита, орбита – внутри поэта,  
Который всегда планета, не более и не менее.  
Орбита его магнита – вселенная тьмы и света,  
Где план Бытия – защита и высшее откровение.

# Из книги «Сквозеро» (2014)

\*\*\*

Граница совсем не там, где стоит пограничник с псом.  
Граница – за гранью пропасти, где невесом  
Сизиф и камень, оба невыездные за  
Пределы мифа, который во все глаза  
Следит, чтобы взгляд прямой исчезал в косом.

Когда совсем отключаются тормоза,  
Как стрелки часов, раздавленных колесом, –  
Начинается время, невыездное за  
Пределы мифа, где вечное Всё во Всём,  
И взгляд прямой исчезает во взгляде косом.

\*\*\*

Сложение сил и разложение сил,  
Не вычитанье сил, а разложение, –  
Не просто кто-то что-то откусил  
От территорий, выиграв сражение,  
Не просто переварены куски,  
Как пища, превращённая в отбросы,  
Питающие почву и ростки  
Ответов на проклятые вопросы.

Сложение сил и разложение сил –  
Такая математика событий,  
Такая физика и химия светил,  
Такая пена в историческом корыте,  
Что Афродите мелковат кошмар систем,  
Где разлагаются от шторма, рифа, тифа...  
Сложение мифа отличается лишь тем,  
Что невозможно разложение мифа.

Покончить с мифом!.. Этот возглас мифоват.  
Покончив с мифом, жди его возврата, –  
Его возврат возмездием чреват,  
Сложением сил, чьё бешенство – расплата  
За всё!.. Он возраст свой не износил  
И не износит!.. Всех он безотказней, –  
Миф не подвержен разложению сил  
И только разрастается от казней.

## Дар неотвечанья

Легко ответить. Не ответить трудно.  
Не отвечать трудней, чем отвечать.  
У Леонардо на картине чудно  
Молчит улыбки тайная печать.

Да кто такая?.. И она ли это?..  
Не он ли сам?.. И не оно ли в ней?..  
Молчит с улыбкой облако ответа.  
Легко сказать. А не сказать – трудней.

Я знаю это вещество молчанья,  
Неотвечанья улыбайский свет.  
Да кто такая?.. Дар неотвечанья –  
Твой праздник, Леонардо, твой секрет!

Не ты ли сам?.. И не оно ли в глуби,  
Которая – она, оно и он?..  
Жар отвечанья – мусор самолюбий.  
Неотвечанья дар – блаженства стон.

\*\*\*

И в чёрных списках было мне светло,  
И в одиночестве мне было многодетно,  
В квадрате чёрном Ангела крыло  
Мне выбелило воздух разноцветно.

Глубокие старухи, старики  
Мне виделись не возрастом отвратным,  
А той глубиностью, чьи глубины глубоки –  
Как знание тайное, где свет подобен пятнам.

Из пятен света попадая в пятна тьмы,  
Я покрывалась воздуха глазами,  
Читая незабвенные псалмы  
По книге звёздной, чьи глаза над нами.

Волнами сквозь меня, светясь, текло  
Пространство ритмов, что гораздо глубже  
окон.

И в чёрных списках было мне светло  
И многолюдно – в одиночестве глубоком.

## О чувстве Бога

Как только вам предъявят все улики,  
Все доказательства, таблицы, знаки, звуки, –  
Как только все великие науки  
Дадут потрогать и понюхать, и на вкус  
Попробовать, что Бога нет как нет,  
И человеки – не творенье Божье,  
А складчина молекул и бактерий,

Которые сюда заслала группа  
Товарищей из множества вселенных,  
Чей разум превосходит вас настолько,  
Что человек – не тот научный опыт,  
Который надо продолжать... Тогда

О чувстве Бога вспомните, о чувстве  
Сияющей любви, о благодати  
Божественной, о чистоте блаженства  
В объятиях складчины молекул и бактерий  
Черёмухи, сирени, и жасмина,  
И облаков, плывущих по реке,  
У молодого Пушкина в зрачке,  
В объятиях складчины молекул и бактерий  
«Руслана и Людмилы», «Сказки о...» –  
Речь не о Боге, а о чувстве Бога.

### В стакане вечности

Овидий в ссылке. По утрам, насупясь  
От мрачных мыслей, он глядит на супесь –  
Осадочную горную породу,  
Которая из глины и песка.  
Ему несчастья не дают проходу, –  
Осадок, супесчаная тоска,  
Везде пищит изгнания супесчаник,  
И мраморной империи изгнанник  
Дрожит песчинкой, смотрят свысока  
На это облака, что едут мимо  
И в сотни раз быстрее достигнут Рима,  
Чем письма, скорбные элегии, мольбы  
Отчаянья, где супесь – не словарна,  
А тварна, и пищит песок судьбы,  
Которая осадочно коварна.  
Однако, варвар щедрый принесёт  
Вино младое, ломти пряных сот,  
Историю украсив этой сценой.  
Наивный варвар, трепетный, как лань,  
Лучом чутья расцвечивает грань  
Овидия, песчинки драгоценной  
В стакане вечности, где утренняя рань.

\*\*\*

Всё – к лучшему!.. И луч – в начале слова.  
Всё – луч ему. Кому?.. Тому, кто луч.  
Тому, кто лучезарная основа  
И солнца ключ в дверях чугунных туч.

Всё – к лучшему!.. И луч – в начале слова.  
Всё – луч ему. Кому?.. Тому, кто луч.  
Исчез, как луч. Как луч, явился снова.  
И получилось!.. Этот луч – живуч!

Всё – к лучшему!.. И луч – в начале слова.  
Всё – луч ему. Кому?.. Тому, кто луч.  
Получка света, вечная обнова, –  
Попробуй эту музыку озвучь!

### Прохожий

Он говорит, – такие, брат, дела, –  
Россия столько раз пережила  
Клиническую смерть, что от восторга  
Иные пляшут на её костях,  
Однако в окончательных страстях  
Мы стали выходить живьём из морга!..  
И это видно издали, вблизи,  
В плохих дорогах, в дураках, в грязи,  
В жестоких гениях, востребованных адом,  
Который нам устраивают здесь,  
Забрасывая взрывчатую смесь  
Вражды, чреватой гибельным распадом, –  
С доставкой на дом катят бочку с ядом:  
Во всех, без исключения, новостях  
У нас – клиническая смерть от нефтеторга,  
Посмертно давят нас на всех путях,  
Сопровождая воплями восторга.  
Однако в окончательных страстях  
Мы будем выходить живьём из морга, –  
Никто не может, а для нас – пустяк!..



## Проза

**Николай Иванов**

*Николай Фёдорович Иванов родился в 1956 году в селе Страчево Брянской области.*

*Закончил Московское суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Службу начал в Воздушно-десантных войсках. В 1981 году направлен в Афганистан. Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин»; через семь лет стал его главным редактором. В октябре 1993 года за отказ публиковать материалы в поддержку обстрела Белого дома снят с должности с формулировкой «за низкие моральные качества» уволен из рядов Вооружённых сил. Продолжил службу в органах налоговой полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен в плен боевиками, освобождён через 4 месяца в результате спецоперации. Полковник налоговой полиции. Сопредседатель Правления Союза писателей России. Автор 20 книг прозы и драматургии. В их числе: «Чёрные береты», «Гроза над Гиндукушем», «Наружка», «Вход в плен бесплатный...», «Спецназ, который не вернётся», «Новеллы цвета хаки». В Уссурийске и Брянске по произведениям писателя идут театральные спектакли. Лауреат литературных премий имени Н. Островского, М. Булгакова, премии «Сталинград». Живёт в Москве.*

**Засечная черта**

## Новелла

## 1.

В Россию текла боль.

Она с усилием переваливала своё рваное, длинное тело через кособогоры, глотая пыль с терриконов и собирая для пропитания колоски среди сгоревшей на полях бронетехники. Её из последних сил тащили на костылях, толкали в детских колясках и несли спелёнутой на руках. Везли в набитых нехитрым скарбом машинах. Именно по ним, по машинам, и узналось: а боль-то сама по себе бедна, богатые на таких стареньких «жигулях» не ездят.

Её останавливала, пытала и исподтишка пинала на блок-постах родная украинская армия, обвиняя в предательстве и грозя то ли отлучить от родины, то ли, наоборот, никуда не выпускать. При этом боль сама могла тысячу раз, ломая шею, сорваться с крутых склонов, свалиться с искорёженных пролётов на разрушенных мостах и навеки остаться на домашней земле под наспех сколоченным крестом. Но всякий раз она находила силы двигаться дальше. Её двужилость удивляла. Этого нельзя было ни понять, ни объяснить. Особенно тем, кто не видел, с какими муками она рождалась под минами в посёлке Мирном. Как вдоволь, словно про запас, насыщалась слезами в городе Счастье. Как горела днём и ночью в Металлисте, уродовалась в Роскошном, превращалась в чёрные кровавые сгустки в Радужном, плавилась в Снежном, пряталась в тесных подвалах Просторного ради того, чтобы не померк свет, как в Светличном...

Брела, текла по юго-востоку украинская боль – немая, но оттого легко переводимая на любые языки мира. Порой казалось, что это просто мираж Первой мировой, начавшейся таким же жарким летом 1914 года. Но – ровно сто лет назад. Та война смела с планеты правых и виноватых, разорвала в клочки империи и загнала в небытие целые династии: ей после первого же выстрела становится всё равно, что засыпать в могилы – любовь или ненависть, добро или зло, счастье или боль.

Боли нынешней тоже не гарантировалась безопасность, и потому она вместе со всеми мечтала лишь об одном: побыстрее увидеть засечную черту. С пограничными вышками. С русскими солдатами на них. Там, за их спинами, за их оружием и могли прекратиться все мучения.

Но не торопилась, не спешила открываться граница. Словно оберегая собственный дом от близкой войны, оттягивала и оттягивала засечную черту в глубь России. А может, просто давая людской боли возможность испить свою чашу до дна.

Вот только где оно, дно? Кто его вымерял-выкапывал? Под чей рост и какую силу?

Но ни идти, ни ползти, ни ехать нельзя было, потому что за спиной «градины» от «Града» срезали бритвой деревья. Вспарывали крыши школ и детских садов. Перемалывали в труху бетонные укрытия бомбоубежищ. А смешнее всего войне вдруг оказалось наблюдать за стеклянными ёжиками. Разбиваешь взрывом на мелкие осколки стёкла, и они веером сначала впиваются, а потом шевелятся на людях, когда те начинают ползти. Дети ползут – маленький ёжик, старики – ёжик большой. Летом одежды на людях мало, видно всё очень хорошо...

Однако и на эти остатки живого после артиллерии серебристыми коршунами сваливались с неба «МиГи» и «Сушки». Из-под их крыльев, как из сот, с шипением вырывались гладко отточенные «нурсы» с единственным желанием – доказать свою военную необходимость, своё умение рвать на куски, сжигать, крушить всё без разбору. Роддом и морг – одновременно. Водозабор и подстанцию – можно по очереди. Церковь, пляж, тюрьма – как получится. На то они и неуправляемые реактивные снаряды.

Вольготно на войне металлу.

Территория Новороссии, при любом исходе битвы уже обозначенная историей как Донецкая и Луганская Народные Республики, могла показаться адом, выжженной, потерявшей рассудок земель. Могла, если бы не ополченец «Моторолла», ломавший плоскогубцами гипс на своей правой руке, – ради фронтовой свадьбы, ради того, чтобы могла невеста по всем правилам мирной жизни надеть ему обручальное кольцо. Если бы не черепашка, которую нашли ополченцы в разрушенном детском садике и не поставили на довольствие в одном из своих отрядов самообороны. В конце концов, если бы не врачи, во время обстрелов прикрывавшие в реанимации своими телами малышей, которых нельзя было отключать от медицинских аппаратов и переносить в подвал при бомбёжке. А их, врачей, закрывали собой и расставленными руками, – чтобы захватить как можно большее пространство, – обезумевшие матери этих недвижимых деток...

С усилием, с кровью, но жили, выживали Луганск и Донецк, хотя и сражались в одиночку. Соседние территории, исторически тоже считавшиеся Малороссией или тяготевшие к ней, не подтянулись, не отвлекли врага хотя бы ложным замаскированием. Укрылись в глухое молчание Харьков и Николаев. Да, обезглавили сопротивление, заповили тюрьмы людьми с георгиевскими ленточками, но ведь не на пустом месте родился закон: вчера рано, но завтра – уже поздно!

Отворачивался Днепропетровск. Потеряло удалую казачью шашку под женскими юбками Запорожье.

Одесса? Город-герой оказался городом-героем всего лишь пятидесяти сожжённых заживо в Доме профсоюзов горожан. В других странах из-за одного невинно убиенного вспыхивают народные восстания, мужество же одесситов иссякло вместе с тайными похоронами этих мучеников. Смолчала Одесса. Не произнесли ни звука и её великие дерibasовские сатирики, ещё вчера поучавшие с экранов телевизоров всех нас «достойно жить». Может, ещё потому не встала Одесса, потому распылила великое звание Города-героя, что в нём с помпой открывали памятники портфелю Жванецкого и нарисованной, брошенной на тротуар под ноги прохожих тени Пушкина, но не ветеранам Великой Отечественной?

А может, ещё встанут? Ещё соберут силы и злость?

Но первый, второй, третий, четвёртый месяц Донбасс и Луганск, которые собранная на Майдане в Киеве национальная гвардия вкупе с армией и частными батальонами олигархов обещали раздавить как колорадских жуков за десять дней, бились вопреки всем прогнозам. В соотношении 1 : 50. И тем значимее выглядело мужество одиночек, если даже в семимиллионном шахтёрском крае слишком многие посчитали, что война их не касается. Почувствовав эту слабость, власть в Киеве и взвела курок. Полетели «градины», засветились в ночи начинённые фосфором бомбы, взмыли в небо стальные коршуны. Воевать глаза в глаза с ополченцами украинская армия не смогла, били по площадям, а значит, по невинным, не причастным и отстранённым тоже.

Потому из Счастья, Мирного, Радужного, Славянска, легендарного «молодогвардейского» Краснодона, Шахтёрска, Ясиноватой, Дебальцево вытянулись колонны уходящих от войны людей. В Россию. К «агрессорам», как объявили русских в Украине.

Вместе с беженцами потекла и боль. Никого не спросив, ни с кем не посоветовавшись, она просто проникла в одежды, в глаза, в кожу, в сознание, в слова, в мысли, даже в сны людей, идущих к засечной черте.

## 2.

Я ехал навстречу этой боли на БМП – универсальной, сотворённой для вёрткого, скоротечного боя боевой машине пехоты.

Её тонкие, изящные, словно только что вышедшие из-под педикюра траки легко сдирали мшистый слой дёрна вдоль просеки, ведущей к границе. Но я стучу ногой по левому плечу торчащего из люка механика-водителя: сворачивай в эту сторону! У меня нет погон, камуфляж без опознавательных знаков, но бойцы слушаются, как безоговорочно подчиняются в незнакомой местности проводникам. Собственно, я и вывожу войска на самую удобную, с военной точки зрения, позицию. Сейчас ещё левее, потом рывок через выросший самосевом лесок...

Вообще-то, я ехал в родные края в отпуск, а не водить колонны. Но в очередной раз грустно подтвердилось, что в нашей огромной стране, при её огромной армии воюют, выходят на острие событий одни и те же люди: что в Афгане, что в Чечне, что в Цхинвале я встречал в окопах одних и тех же офицеров. И даже здесь, в медвежьем углу брянского леса (древнее название города Дебрянск произошло как раз из-за непроходимых дебрей) нос к носу столкнулся на просёлочной дороге со знакомым полковником с Урала. Знать, не только Одессу и Донецк победило телевидение, если даже у нашей армии нет длинной скамейки запасных...

- Извини, нам пора, - дёрнул щекой через пару минут после встречи уралец.

Приказ для стоявшей за его спиной войсковой группировки уже знаю: вылезти из капониров, в которые пришедшие из глубины страны бойцы зарывали себя и технику последние три дня. И не просто снять маскировку, а обозначить себя как можно ярче в непосредственной близости от границы. Порадовался: неужели руководству страны наконец-то надоело прятаться на собственной территории и делать перед границей вид, что не ведаем о перемещениях своих войск?

- Свои тапки в своей хате ставлю хоть под лавкой, хоть на печку, – перевёл дипломатию и военный приказ на житейский язык уралец.

А я успеваю увидеть на его карте отметку около своего родного села. И хотя держал в уме и дальнюю, а потому, скорее всего, более верную причину проснувшейся активности – оттянуть от Новороссии на этот участок границы войска украинской армии, помочь мужикам из ополчения хотя бы таким, косвенным образом – встаю перед другом-полковником по стойке «смирно». Отдаю честь: готов быть рядом. Слов в данном случае не требуется, и командир кивает на головной «тапок»: залезай и рули!

Лишнего шлема со связью нет, рулю колонной по-афгански – ногами. Впереди до размеров солдат вырастают из-под земли боровички в зелёных касках и с оружием, перевязанным пропитанными зелёнкой бинтами – чтобы не блестели стволы среди зелёнки. Снимают с рогатин перегородившую нам дорогу длинную осину со срезанной через равные промежутки корой – чем не шлагбаум? На скорости начинают хлестать нависшие над дорогой ветки, и приходит осознание полной зависимости нашего мира от случайностей: когда-то кого-то не отхлестали розгами по заднице, мальчики выросли, стали никудышными политиками, и вот теперь ветки бьют нас. Уже по лицу.

Благо, наша «гусанка» быстроходна, и грудью вперёд, урча от скрытой мощи, вырывается из самосевки на простор. Под бинокли замерших на сопредельной стороне украинских пограничников.

Цыганочка с выходом.

Мазурка.

Барыня.

Гопак, в конце концов!

А лучше всего вальс. Но – севастопольский! Он только что, этой весной, прозвучал для России, и весь мир в оцепенении осознал её величие и силу: когда возродилась «Рашка», когда вышла из послушания немытая Рассея? Ведь к слабым целыми полуостровами не уходят!

И вот эта сила здесь. И я первым, помня о Новороссии, готов показать припавшим к окулярам украинским пограничникам, что сила эта сумасшедшая и могу ударить механика-водителя и правой ногой, направляя колонну на границу. Через засечную черту. Горючки – почти до Киева! На стволах пушек – чехлы, но они, скорее, от пыли: стомиллиметровые снаряды со скорострельностью 15 выстрелов в минуту прошьют ткань, не заметив этого. А рядышком – автоматическая пушка на 330 выстрелов в минуту. Под локтем гранатомёт «Балкан» со скорострельностью уже 400-500 выстрелов в те же 60 секунд. Если в бинокль вдруг не видно,

добавляйте на веру ещё два комплекса – для уничтожения вертолётов и выноса мозгов танкам. Вместе с экипажами. Ну, и куда без родных крупнокалиберных танковых пулемётов? Они – классика жанра. И всё это подо мной, под башней, на которой я восседаю царём на троне. В чреве только одной «гусянки». А их пылит сзади с десантом на броне... Бр-р-р-р! Бойтесь, ребята! Или хотя бы просто доложите наверх про наш демарш. Войной, конечно, не пойдём, но вдруг наш откровенный танец хоть немного заставит Киев задуматься о безнаказанности. Поможет притушить вашу же, украинскую боль, текущую в Россию за сотни километров отсюда. А может, как в былые времена, станцует вместе? Ради будущего. Оно ведь всё равно настанет, на Луну друг от друга не улетим. А вот Америка останется за океаном, его не выпьешь. Так что приглашаем! Пройдём по острию каната, как шутят в армии. Училища-то заканчивали одни и те же, ещё пока есть за что зацепиться в общем прошлом. В нём не называли презрительно фронтовиков «колорадами», портрет приспешника фашистов Бандеры не висел образцом нации в государственных кабинетах, от русской речи скулы не сводило...

Проносимся мимо заброшенного колхозного сада, больше похожего на недоенное стадо коров, стоящее по колено в бурьяне. Десанту хочется яблок. Ведь лето с зеленью, ягодами и фруктами проходит мимо ребят, но скользят, елозят по броне малые сапёрные лопатки, притороченные к солдатским ремням. Для бойца неизменно правило – окоп раньше еды. Обустроимся, а потом можно и яблочек, даже молодильных, поискать.

Рывок на скорости не долгий – пошли рытвины от плугов. Они перед нашим сельским кладбищем и, словно тормозят ретивых, – к нам торопиться не надо. Не будем. Там уже лежат моя бабушка, первая учительница, облучившийся в Чернобыле друг. Стволы синхронно, как на плац-параде, кланяются их могилам, и вслед за оружием, вроде бы просто потому, что качка, кланяюсь и я. Вот, привёл защиту. Теперь можете лежать спокойно. Может, и хорошо, что не дожили до таких времён...

Кладбище – самое высокое место в округе, в кустарнике рядом с ним можно укрыться, а вот обзор – на все 360 градусов. Прекрасна и связь, из села народ сюда ходит звонить и в Москву, и в Киев: оказавшись практически на равных расстояниях от столиц, мы и разъезжались в них за лучшей долей тоже почти поровну...

Командиру неведомы мои переживания, он привычно отдаёт распоряжения. Солдаты, то ли дурачась, то ли потому что по-иному не получалось, повернули бэмпешки к границе задом, в охотку погазовали и юркнули нашкодившими котятками в тень от деревьев.

Но не котята, конечно. Украина зазывает к себе всех, кто мог бы наказать, проучить, просто укусить Россию. Она готова стать плацдармом, подносить спички, снаряды, чтобы заполыхало и у нас. В конце концов, выколоть самой себе глаз только ради того, чтобы у России был кривой сосед.

Потому и замерли на сельском кладбище БМП, по-китайски прищуривая от пыли глаза-триплексы. Целые и невредимые.

Командирам прищуриваться некогда.

- Это, случаем, не ваши? – полковник кивает на дубки, редкой стёжкой отделявшей наши деревенские поля от украинских наделов.

К ним на всех порах неслась запряжённая в телегу лошадка. То, что в селе занимались контрабандой, не видела только полиция, но с приходом армейцев ситуация, конечно, изменится. Надо предупредить земляков, чтобы зачехляли свой «контрабас» от греха подальше.

Командир понимает, что даже спрятанных под бронёй 660 «лошадей» не хватит догнать телегу из контрабанды, дёргает щекой: хорошо, но это последняя. Потому как он теперь главный на этом клочке России и отвечает за всё происходящее здесь. А точнее, за то, чтобы на нём ничего не происходило.

### 3.

- Вроде пронесло.

Стёпка Палаш притормозил Орлика, вывернул шею. Танки не гнались, и он подмигнул лежавшему в телеге Кольке Трояку: вот так мы их, по-партизански.

Но тут же затушеввал мысли, вновь вскинув вожжи. Трояк в войну, пусть и по малолетству, но числился в полициях, и хотя отсидел за свою белую повязку сполна, при нём прошлое в селе старались не ворошить, щадили самолюбие.

Да только не объехать сегодня прошлое ни на Орлике, ни на кривой козе – вспомнится. Потому что ехали за сватом Трояка – Федькой, умершим вчера на Украине. Последним сельским партизаном. Кто теперь будет красить в селе памятник серебрянкой перед 9 мая? Когда по приходе немцев Кольку записали в полицию, Фёдор подался в лес. Жалел-завидовал потом Степан, что в это время совсем пацаном был, а то бы тоже, конечно, взял в руки оружие. И тоже имел бы потом все льготы ветерана и почести.

А вот Победа одного и тюремный срок другого так и не примирили бывших друзей-одноклассников. Даже свадьба старшего сына Фёдора Максимыча с девкой Трояка не посадила их за один стол.

- Ты что творишь?! Хочешь, чтобы внуки были полицейскими?! – метал громы и молнии Фёдор перед свадьбой.

- Люблю я её! А внуки будут партизанские! – не отступился сын.

Характером вылился весь в батю. А потому и первым из района поехал закрывать Чернобыль...

- Хороший человек был Федька. Замысловатый, но не вредный, – опять нарушил молчание Степан.

Трояк согласно кивнул головой, хотя отношения сватьёв секретом ни для кого не являлись. А может, поддакнул всего лишь одному слову – «замысловатый»: кто узнает мысли соседа, даже если ехать с ним в одной телеге?

- А от чего они, тромбы, отрываются? – не отпускали Степана мысли о покойном.

- Всё в организме от нервов, – пожал свободным плечом Трояк из своего лежбища в сене.

- Ещё хорошо, что позвонили оттуда. А то по нынешним временам могли просто в яму скинуть.

- Главное, вывезти.

- Вывезем. Давай, Орлик, давай, милый, – подхлестнул Степан коня, вставшего перед крутой насыпью украинской трассы.

Четырёхметровый ров, как в других местах, здесь хватило ума не рыть, колючую проволоку не натянули, а пограничников к каждому кусту не приставишь. Так что если не шуметь, то проскочить можно, контрабанду так и перекидывают, не спрашивая национальности.

Но Орлик скосил сливовый глаз, перебрал перед препятствием в неуверенности ногами, и мужикам пришлось спрыгнуть с телеги. Палаш взял коня за уздцы, потащил за собой наверх, Трояк упёрся в телегу сзади. Внатяг, все трое припадая на колени, но взяли пограничный рубеж. Повторить такой же подвиг с телом Фёдора вряд ли получится, сами свалят его в яму. А это грех несусветный, чтобы живые роняли мёртвых. Так что возвращаться придётся официально, длинной дорогой через пограничный пост.

Город знали, как собственное село: чай, пожилы без границ, а поскольку Украина была значительно ближе собственного райцентра, то и в магазины, на поезда, в больницы ходили-ездили сюда. Без подсказок разыскали и морг. Там их заставили расписаться в какой-то бумажке и впустили в прохладный, матово освещённый барак: забирайте, который ваш.

Фёдор лежал на крайнем топчане. Заострившийся нос, выступивший вперёд подбородок и впавший рот изменили его облик, но не настолько, чтобы не узнать или засомневаться. На пиджаке висели колодки от медалей, но без самих кругляшей. На правой стороне, где по праздникам всегда красовался орден Отечественной войны, раной зияла рваная дыра.

- Как поступил, так всё и есть, – толстенький санитар, не дождавшийся подношения, демонстративно отвернулся и наседкой замер над остальными топчанами. Авось на каком-то и снесётся золотое яичко на обед...

Деды затоптались вокруг топчана, примеряясь, как подступиться к покойному.

- Бери за ноги, – скомандовал Степан.

Стараясь не смотреть на лицо свата, Трояк взялся за туфли. Они скользили, одеревеневшие ноги Фёдора норовили хотя бы ещё раз коснуться земли. На телеге порядок заранее не навели, и пришлось расправлять сбитую попону уже под умершим, чтобы ехалось ему домой мягко, без неудобств. От любопытных глаз прикрыли тело предусмотрительно прихваченной простынкой и тихонько тронулись.

Покрывало отбросили пограничники. Сверили Фёдора с фотографией на паспорте, бдительно ощупали сено под покойным, долго созванивались по телефону, и, в конце концов, дали от ворот поворот:

- Вы нигде не переходили границу официально, а этот, – кивнули на телегу с умиротворённо лежащим Фёдором Максимовичем, – должен идти уже как груз. Через таможеню. Надо декларировать.

- Да вы что, ребята? Домой же везём. Человек умер, – опешил Степан, взявший на себя роль переговорщика.

- А откуда мы знаем, где и как умер? Может, возите специально, выведывая секреты.

- Какие секреты? – простодушно не понял Степан.

- Ну, железная дорога рядом. Да мало ли что задумали. Вон, мотаетесь на танках вдоль границы. Что у вас на уме, откуда нам знать. Давайте назад, пока лошадь не конфисковали. Или ищите какие хотите справки. Назад!

Из машин, стоявших в очереди на пересечение границы, недовольно засигналили. Орлик нервно загарцевал, пытаясь развернуться с оглоблями в узеньком, огороженном бетонными блоками, коридоре.

- Сейчас, сейчас, – бормотал Степан, стыдясь своей нерасторопности при всеобщем внимании.

Трояк тоже прятал глаза. А вот с лица Фёдора Максимовича покрывало на разбитой дороге сползло раз за разом, позволяя ветерку легонько перебирать его седые волосы.

- Слава Украине!

- Героям слава! – вдруг раздалась из узкой полосы парка, тянувшегося вдоль дороги, знакомая по телевизору речёвка.

- Кто не скаче, той москаль.

- Про нас, Колька, – с грустной усмешкой посмотрел на попутчика Палаш. На телегу пока не садились, шли рядом с покойным. Но ускорили шаг, подстегнув вожжами Орлика – от греха подальше.

- Москаляку на гиляку.

- Что такое гиляка? – уже не без тревоги любопытствовал Степан. Трояк сидел на Украине, за столько-то лет язык поневоле выучишь.

- Виселица.

Степан проворно вспрыгнул на телегу, кивнул напарнику – поехали отсюда.

- Хотя правильнее – шибеница, – попытался успокоить Трояк, словно на ней, шибенице, висеть было приятнее, чем на гиляке.

А шум митинга нарастал, впереди, через низенькую ограду, стали перепрыгивать люди, пробуя останавливать машины. Первые успели увернуться, но толпа густела, и перед Орликом улицу, наконец, закупили.

- Кто не скаче, той москаль, кто не скаче, той москаль, – запрыгала вокруг машин молодёжь.

Орлик задёргался, не понимая шума, а тут и к экзотическому транспортному средству подскочило несколько человек.

- Хлопці, кінь не скаче. Москалюка. Треба конфіскувати. На донецький фронт.

- Або нехай за него скачуть діди.

Степана и Трояка оторвали от телеги, задёргали, вовлекая в общий ритм скачки. Палаш несколько раз подпрыгнул, лишь бы отстали и не принялись потешаться над телом соседа. Да и с какого рожна отдавать им лошадь.

Его дряблых скачков оказалось достаточно, чтобы сойти за своего, а вот Трояк встал, как вкопанный. Как Орлик. Но тому нельзя падать на колени, на них у него с рождения белые звёздочки, сразу замарают...

- Слава Украине! – принялись кричать в лицо деду пацаны, требуя ответа.

«Фёдору слава», – вдруг произнёс про себя Трояк.

Наверное, ему ничего не стоило, как Палаш, два раза подпрыгнуть и уехать восвояси. Но жизнь, прожитая после войны на задворках, без права голоса, сейчас словно давала ему шанс начать её последний остаток с чистого листа. Да-да, здесь, сейчас его не просто заставляли скакать бараном посреди улицы. Через семьдесят пять лет после начала войны ему вновь предстоял выбор. Возможность исправить трагическую ошибку юности. Обрести хотя бы на старости лет собственное достоинство. Пожить днём, с людьми, а не прятаться от их взглядов десятилетиями в ночных сторожах. А Фёдор, даже мёртвый, завернутый в попону, был судьёй, он из своего

небесного далека словно готов был поверить, что тогда, после седьмого класса, произошла нелепая ошибка...

- Скачи! – нетерпеливо толкали Трояка. – Скачи, москаляка!

Из-за прыгающих тел строил страдальческую мину Степан – да прыгни ты, что взять с идиотов. Но Колька Трояк словно застыл. Его уже толкали в спину, сбили картуз, и центр сборища, предчувствуя жертву, стал перемещаться к телеге, а он оставался нем и недвижим. Стало понятно, в какую катавасию попал перед смертью и Фёдор, как сорвали у него ордена...

- Да хлопцы, хлопцы, – порывался защитить односельчанина Степан. – Он же глухонемой. Немой и глухой.

И как последнее спасение, сорвал простынь: не глумитесь над покойником, не берите грех на душу. Простынь висела в поднятой руке белым флагом, он мог развести стороны, но в эту секунду Трояк вдруг запел. Он помнил, когда пел на людях последний раз – в школьном хоре на Первомай, перед самой войной. Потом миллионы раз про себя в тюрьме и длинными ночами при работе сторожем в колхозе. А сейчас на удивление толпе, самому себе, а более всего – Степану, вдруг негромко напел:

- Ой у гаю, при Дунаю  
Соловей щебече.  
Він же свою всю пташину  
До гніздечка кличе...

- Да какой же он глухонемой? – замерла толпа, сама наполовину говорившая по-русски.

Однако песня звучала украинская, на телеге лежал покойник, и постепенно, отвлекаясь на другое, люди стали отходить. Слух о почившем достиг передних рядов, и не сразу, по одной машине, но затор стал рассасываться. Вслед Орлику свистнули, не без этого. Но именно лошади, а не умершему, – даже молодёжь озверела не до конца. В глазах Трояка стояли слёзы, он вытирал их истоптанным в пыли картузом, и Палаш сочувственно тронул попутчика, готовый разделить его боль от ударов.

Только дед Коля Троячный не мог сдержать слёз не от боли, а от опустошившей его гордости. От забытой радости. Ибо выстоял, не запрыгал старым козлом. Что не сдался даже при поднятом белом флаге. И что теперь мог впервые за семь десятилетий долго, не отводя взгляд, смотреть в лицо свату: «Здравствуй, Фёдор. Вот так оно получилось. Спасибо тебе».

- Как ты их! – поднял зажатую в кулаке вожжу Степан. – А я того... чтоб быстрее вырваться, – оправдался за себя, хотя деду Коле чужого не требовалось. – Запрыгивай. Но, милый! Домой, Орлик! А мы ещё побачим, хто и как будет скакать на морозе без газа. У нас цыплят по осени считают...

Подъехав к месту, где утром выбирались с русского поля на украинскую дорогу, остановились. Степан стал поправлять сбрую на лошади, а на деле выжидая, когда освободится от машин трасса. Хотя следовало поторопиться: над лесом нахлобучивалась туча, потянул свежий ветерок, будоража лошадь. Они такие, они грозу ноздрями чувствуют.

Дед Коля тоже спрыгнул с телеги, вдвоём оглядели место спуска. Степан на правах возницы вздохнул:

- Можем перевернуть. Придётся переносить на руках.

Замешкались, не помня, головой или ногами нести тело с насыпи. Попробовали боком. Заскользили, путаясь в будылях старой травы. Как ни старались удержать Фёдора на весу, уронили. На трассе заурчала машина, и мужикам пришлось лечь, прикрывая покойного собой.

Подняли головы, лишь дождавшись тишины на дороге.

- За нас умер, - вдруг произнёс Степан. И хотя Николай не спорил, упрямо кивнул:

- За нас. Мы жили, а он работал. Горел. Не было лучше соседа...

Степан словно тоже просил прощения у покойного за все споры и насмешки, случившиеся на долгом соседском пути-житии. А может, и за невольный белый флаг перед теми, кто убил Фёдора Максимовича. Легче было промолчать, никто не требовал оценок и подведения итогов, но это на похоронах, при стечении народа есть возможность укрыться за спинами других, а когда остаёшься один на один с умершим, совесть беспощадна и заставляет каяться.

- От совести умер, – подытожил Степан.

Троячный согласно примерил услышанное к свату. Глаза и рот у того от тряски приоткрылись, и он наложил ладонь на веки свату. Затем оторвал по кругу, лентой низ у своей рубахи, подвязал покойному челюсть, закрывая рот. Дела скорбные, но житейские, и кому-то требовалось заниматься и этим. Он, Николай Иванович Троячный, проводит в последний путь истрепавшего ему все нервы родственника с честью и достоинством. А памятник ко Дню Победы покрасят внуки. Может, конечно, и сам, но как посмотрят люди? А вот внукам скажет, чтобы приехали. На Украине, вон, похоже, этого не сделали...

4.

- Опять они? – полковник недоумённо оглядывается на меня.

Если ему отвечать за безопасность границы, то за безумие на ней жителей близлежащих сёл объясняться, видать, мне. Щека у друга снова дёргается, это нервный тик и, скорее всего, от контузии. Где успел поймать её?

Около дубков угадывалась понурая лошадка. К телеге, оглядываясь, тащили по траве туюк двое мужиков.

Бинокль приближает границу до вытянутой руки, и по белым звёздочкам на коленях легко узнаю Орлика, едва ли не последнего из оставшегося в селе коня. Его погоняют веткой Стёпка Палаш и Колька Трояк, бывшие уже дедами даже в моём детстве. Странно, на границу моталась обычно молодёжь...

- Проверить, – отдаёт команду для головной машины полковник.

Остаюсь на броне и единственное, чем помогаю землякам – «рулю» так, чтобы пыль уходила в сторону от телеги. Только бы не везли ничего запрещённого.

Везли... мёртвого. Из старой попоны, свёрнутой туюком, торчали ноги, и командир оглянулся на меня: ты что-нибудь понимаешь?

- Дед Федя того... песня спелась, – начал доклад Стёпка Палаш, выделив из всего десанта в командиры человека с биноклем. И это правильно. У кого бинокль, тот главнее всех.

- Тромб оторвался, – не забыл диагноз дед Коля. – На Украине.

Он перевёл взгляд на меня, на лице мелькнуло удивление, он недоверчиво обернулся за подтверждением догадки к напарнику. Я это, дед Коля, я. Между прочим, везу приветы и фотокарточку от Вашего внука-курсанта. Через месяц ему на погоны упадут лейтенантские звёзды, и он займёт место в одной из таких же боевых машин. Только вот имя покойного...

Спрыгиваю с брони. Непроизвольно задерживая себя, трогаю мокрые бока лошади. Из детства всплывает отцовское предостережение: потных лошадей не поить, прежде надо давать им остыть. Тем более, тянет прохладным ветерком. Чересседельник совсем истончился, а вот ступицы в колёсах можно было бы и смазать. Или солидола теперь днём с огнём? И, кстати, совсем необязательно, что это «мой» дед Федя. Человека два-три с этим именем в селе точно ещё есть...

- С мамкой твоей... – первой же фразой рассеивает надежды Стёпка Палаш, и я трогаю под пыльной простыней торчавшее острое плечо. Дед Коля, заглядывая под покрывало, развязывает какой-то узел около лица покойного, словно не желая открывать и показывать его лицо в неприглядном виде. Вытаскивает повязку, приоткрывает простынь.

Он.

- Как? Почему оказался там?

- Командир его умер, поехал к нему на похороны. Да при наградах, как положено. А там, видать, это как раз и не положено. Налетели скачущие. Может и не тромб – сердце оборвалось...

Он ещё что-то говорил, а я всматривался в знакомое, хотя и небритое, осунувшееся лицо старого партизана. Он воевал вместе с моей мамой в отряде, которым командовал её отец. Однажды в окружении, когда не осталось надежд вырваться, дедушка свою дочь и самого юного из разведчиков Федю вместе с ранеными отправил через болото. А сам повёл отряд на прорыв в другом месте, отвлекая на себя немцев. Погиб, когда поднимал партизан в атаку и закричал «ура». Пуля попала в горло, она словно хотела остановить этот клич – клич отваги и победы...

Когда я оказался в плену в Чечне, и за меня затребовали миллион долларов выкупа, и люди понесли родителям деньги – кто сто рублей, кто пятьдесят, дед Федя вместо живых денег принёс баночку краски:

- Вот, хотел бабке своей крест на могиле обновить, но пусть полежит под старым. А тут, ежели краску продать, какая-никакая, а копейка появится. Вдруг её-то как раз и не будет хватать на освобождение...

И вот дед Федя лежит передо мной на старой скрипучей телеге с вырванными медалями. Живой, он не только хранил память о войне и погибших односельчанах. Он, как тогда при прорыве, словно прикрывал собой ещё и маму. Теперь, выходит, она осталась крайней, последней из отряда...

Господи, как всё вдруг сошлось около деревенской телеги. И боль, что текла из Украины в Россию далеко-далеко отсюда и, казалось, не затронет меня вживую, вдруг выщелила острием в самое сердце. Дотянулась через сотни километров, отыскала меня среди перелесков, пронзила, заставила бессильно замереть. И я со своей-не своей колонной, опоздавший на какие-то сутки. Авось бы наш проезд утихомирил горячие головы там, за дубками, вдруг непреодолимой стеной разделившими всех, кроме контрабандистов.

Зашелестела в голос трава у колен. Ветер от дубков, легко разогнавшись по чистому полю, упруго ударил в спины. Вихрю они препятствием не послужили, ему бы мчаться дальше, но он почему-то закрутился юлой вокруг нас, психом расшвыривая из телеги соломенную подстилку. Орлик тревожно зафыркал, и Степан, преодолевая сопротивление, продавился к нему, обнял за шею, унимая и свою, и его дрожь. Дед Коля навалился на телегу, вцепился в свата, – то ли как в последнюю опору на земле, то ли не позволяя ветру вознести умершего сразу на небеса, без погребения на земле. Сечкой полоснул дождь, захромыхало, потемнело вокруг, завывало.

- Давайте к нам, – позвал полковник в десантный люк.

Но я остался со стариками. Повторяя Трояка, навалился на телегу, закрывая собой деда Федю. Что уже натворил смерч на украинской стороне, нам было неизвестно, требовалось сберечь своё – живых и мёртвых.

Сколько продолжалось светопреставление, осознать, наверное, мог только Орлик. И то потому, что стоял на земле четырьмя ногами. Нам время в любом случае показалось в два раза дольше...

Первым и пришёл в себя он – зафыркал, словно очищая забитый пылью рот. Унялась у ног омытая трава. И солнце вновь заластилось с неба: «Ничего не помню, ничего не знаю, не при мне было». Подняли головы на меня и старики: что это было? Американский торнадо, подчиняющий себе всё? Не знаем, как на Украине, а вот мы выстояли! И никого не сдали...

Спрыгнул с БМП, удерживая от тика щеку, полковник. Неожиданно сделал то, что обязано было исходить, наверное, от меня – перекрестился. Знать, повидал и прочувствовал за время нашей разлуки что-то более значимое в этой жизни.

- Я уведу броню в другое место, – прошептал затем только для моих ушей.

Зачем?

Но он уже подтолкнул меня плечом – ещё наверняка увидимся. Вспрыгнул с разбега на острую грудь машины, отдал команду, и та осторожно, чтобы не испугать лошадь, развернулась, ушла виражом к кладбищу. За ней, как за вожак, начала вылетать из засады и выстраиваться журавлиным клином остальная «гусьянка». Не закурлыкала – ревела моторами на грешной земле. Оно и правильно: что бы ни летало в небе, земля остаётся у тех, чей стоит на ней пехотинец. А я для них всё же лучшее в округе место выбрал. И какая защита была родному селу!

Но бронеколонна истончалась, исчезала в самосевке, и вдруг меня пронзило: а ведь командир уводил не просто свой клин. Он уводил от могил моих родных и близких, к которым я ненароком, думая только о военной выгоде, привёл войну. Словно заглянув в неведомые мне глубины, полковник распознал какую-то неправильность сделанного мной, и теперь прикрывал не только страну, выделенный ему участок границы с моим селом, но и лично меня. Уралец оказался мудрее на ту самую контузию, которую заполучил без меня на одной из войн.

И как совсем недавно я кивал могилам родных с брони БМП, кланяюсь незаметно вслед исчезающей колонне. Спасибо! И... и тем не менее, всё равно! - танцуйте, мужики. Танго!

Лезгинку.

Краковяк.

Жемжурку!

Танцуйте без усталости, с полной отдачей, пусть даже ради других – как только и может русский солдат. Потому что наша телега с дедом Федей – она тоже из той, общей боли, что течёт к нам с юго-востока. И как желал командир, но как пока не будет на самом деле – пусть окажется последней.

- Но, милый, - тронул Орлика Палаш...

---

---

Поэзия

---

---

## Сергей Кривонос

### Я принёс тебе небо...

*Сергей Кривонос – член Национального и Межрегионального союзов писателей Украины, Международного сообщества писательских союзов. Работает главным редактором газеты «Новини Сватівщини» (г.Сватово, Луганская область). Его перу принадлежат 13 поэтических сборников, он победитель и призёр многих литературных фестивалей и конкурсов, лауреат Международной литературной премии имени Сергея Есенина (Союз писателей России), литературной премии Национального союза писателей Украины имени Николая Ушакова. Живёт в Луганской области*

\*\*\*

Дворы в огне. Пожарищная хмарь.  
И снова полный хаос в нашем стане.  
На то, как в страхе мечутся славяне,  
Глядит самодовольно хан Мамай.

И лики опечаленных святых  
Скривились на задымленных иконах.  
В полоне честь, и мужество в полоне,  
И ждёт аркан славянок молодых.

Мы убегаем. Про себя клянём  
Врага сплочённость и ожесточённость,  
И нашу вечную разъединённость,  
И «хаты с краю», где всегда живём.

Над нами - стрел калёных косяки,  
Но замер я меж топота людского,  
Чтоб вдруг увидеть Дмитрия Донского,  
Ведущего на правый бой полки.

И показалось - вместе мы давно.  
Вот полк один татар обходит с края,  
И заболело сердце у Мамаю,  
Предощущений гибельных полно.

Победный крик заполнил пустыри,  
Встряхнув замшелые устои ханства,  
И двигалось сплочённое славянство,  
Неся на шлемах отблески Зари.

\*\*\*

Григорий жизнь невесело прожил.  
Война. Послевоенная разруха.  
«Прожил, а ничего не накопил», —  
Ворчала иногда жена-старуха.

Он понимал, что время умирать,  
Да всё дела... дела не позволяли.  
И сыновей хотел уже позвать,  
Да где там — забрались в глухие дали.

Но стало всё-таки немогоду,  
За горло взяли старые болячки,  
И жизнь упрямо подвела черту,  
Последний день Григорию назначив.

Вот так — когда Григорий тихо спал  
И слышал, как негромко сердце бьётся,  
Какой-то странный голос прошептал,  
Что всё... что день последний остаётся.

Дед встал. Печально скрипнула кровать.  
Взглянул в окно — земли сухие груды.  
Подумал вдруг: «Кто ж для меня копать  
Такую твердь суглинистую будет?»

Как ни крути, а некому. Ну, что ж,  
Прокашлялся. Погрел у печки спину. —  
«Возможно завтра разразится дождь,  
Промочит грунт. Тогда и опочину».

Прошёл неторопливо к образам,  
Посапывая и слегка хромая.  
«Моложе был бы, выпил бы сто грамм,  
А так, пожалуй, похлебаю чаю».

Порой казалось — нету больше сил,  
Ни капельки уже их не осталось,  
А он, крестясь, у Господа просил,  
Чтоб тучи поскорее собирались.

«Куда моей старухе яму рыть —  
Ей жизнь давным-давно пора итожить.  
А если б дождь прошёл, то, может быть,  
Управился б сосед — он чуть моложе».

И дед терпел, хоть было всё трудней.  
В груди давило. Губы сжал до боли.  
Как будто был не в мазанке своей,  
А там, под Оршею, на поле боя.

Хотелось показаться, уходя,  
Таким, как был, — и крепким, и удалым...  
Он умер через день, после дождя,  
Когда земля сырой и мягкой стала.

\*\*\*

Нынче молчалив и светел сад,  
Нынче осень щедро золотится.  
Кажется, дома — большие птицы:  
Ставнями взмахнут и полетят.

Вздрагнет удивлённо мир кругом,  
Потому, что над пожухлой далью  
Поплывёт посёлок косяком  
С тихой журавлиною печалью.

Он покинет край не навсегда,  
Полетит к теплу, вздыхая тихо,  
Здесь ведь укрепились холода,  
Холода сплошной неразберихи.

И над вечными Добром и Злом  
Небо разрезая безрассудно,  
Устремится вдаль за домом дом,  
Унося встревоженные судьбы.

На покинутой земле мороз  
К многоцветию добавит сини,  
Тихо ляжет на поляны иней  
Жгучим сгустком непролитых слёз.

И земля, не зарыдав навзрыд,  
А любя и грея, и жалея,  
Ветками деревьев заслонит  
Тех, кто зимовать остался с нею.

\*\*\*

Хотя его победы впереди  
И впереди рекордные поправки,  
Прыгун взлетает над упрямой планкой,  
Земное притяжение победив.

Есть в жизни благородный дух борьбы,  
Он в том, чтоб, никому не потакая,  
Высоты брать, отчаянно взлетая,  
Над планкой неподатливой судьбы.

А рубежи высоки у мечты,  
Не оттого ли сердце к небу рвётся.  
Но каждая попытка нам даётся  
Для покоренья большей высоты.

Будь нам, земля, опорой, чтоб могли  
Мы брать высоты, силу обретая.  
Ведь над землёю выше тот взлетает,  
Кто крепче оттолкнулся от земли.

\*\*\*

Вот опять по-осеннему  
хмурится день постаревший,  
На аллеях пустых —  
октября листопадная власть.  
Я тревожно в палату вхожу,  
где болезнь тебя держит  
И не хочет, чтоб ты поднялась.

Тонкий лучик дрожит  
на прозрачной ладони заката,  
Словно линия жизни  
и в завтра ведущая нить.  
Кто-то мудрый сказал,  
что давно стал безмерно богатым,  
Потому, что не смог разлюбить.

Ну, а я... ну, а мы  
не всегда осознать успевали,  
Обживая вдвоём  
так по-доброму сблизивший дом, —  
Чтоб не холодно было сердцам,  
нужно, в общем-то, мало —  
Двум свечам стать единым огнём.

Я принёс тебе небо,  
оно, облака выдыхая,  
Осветило палату лучами  
и сумрак исчез.  
Я сегодня тебя воскрешу  
к новой жизни стихами  
И туманистой синью небес.

Жаль торопит судьба,  
ускоряя свои повороты.  
Но что было, то было.

Судьбу не браню, не хую.  
Относительно чувств  
я не знаю законов природы,  
Может быть, потому и люблю.

И роняю слова  
непродуманно и бестолково,  
А когда возвратишься домой,  
ничего не скажу.  
Убегу на луга,  
небеса принесу тебе снова  
И к ногам их твоим положу.

\*\*\*

В час, когда дожди шагами шаткими  
Скучно-скучно ходят у порога,  
Я хочу быть доброю лошадкою,  
Чтобы с сыном поиграть немного.

На спине возить его по комнатам,  
Оживляя всех захожих взгляды.  
Мне не надо бить о пол подковами  
И овса, конечно же, не надо.

Отложив до вечера поэзию,  
Словно конь по полю командира,  
Повезу весёлого наездника  
По полу двухкомнатной квартиры.

И в атаку кинемся бесстрашно мы,  
Зарумянятся в азарте лица.  
А потом наездник мне, уставшему,  
Из ладошек даст воды напиться.

\*\*\*

Бежали звезды - вспугнутые кони -  
Цепляясь гривами за облака,  
И голубые искры беспокойно  
Гасила торопливая река.

А люди думали: ветра вздымая,  
Весенний гром над крышами гремит,  
Не зная, что над тихими домами  
Пронёсся стук стремительных копыт.

Когда же день стал подниматься новый,  
То над землей, уткнувшись в край села,  
Сияла отлетевшая подкова,  
А всем казалось — радуга взошла.

\*\*\*

Когда приходит зрелость к сентябрю  
И бродит осень по лугам, не прячась,  
В душе восходит нежная прозрачность,  
Похожая на тихую зарю.

Как выпавший весной ненужный снег,  
Усталость исчезает виновато,  
И верится, что всё-таки когда-то  
К тебе придёт желаемый успех.

Степного солнца тёплые шаги  
Расплёскивают синь. И быстротечно  
Расходятся сомненья, словно в речке  
От камешка упавшего круга.

\*\*\*

*"...Легче там, где поле и цветы"  
Николай Рубцов*

Цветы и поле, поле и цветы.  
Река. И вздох проснувшейся планеты.  
И нету никого. Лишь я и ты,  
И тишина на сотни километров.

Вот так бы и ходить среди полей,  
Не чувствуя былой обидной боли,  
Влюбляясь каждый раз ещё сильнее  
В зарю и это небо голубое.

Прерывисто дыша, спешит вода  
За горизонт, куда скатился Млечный.  
И дремлет одинокая скирда,  
Рассветной дымкой прикрывая плечи.

Спасибо, Мир, за поле и цветы,  
С которыми душа моя навеки,  
Непогрешимо оживляешь ты  
Всё то, что человечно в человеке.

Здесь неизменно умирает ложь,  
А ковыли к ногам бегут, встречая.  
Светлеет день. Он тем уже хорош,  
Что в глубь полей запрятал все печали.

Я тихо стану на краю мечты,  
Поймаю на лету случайный ветер...  
Среди рассвета — только я и ты,  
И тишина на сотни километров.

## Проза

**Александр Проханов**

*Александр Андреевич Проханов – писатель, публицист, общественный деятель. Родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси. Член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер орденов Красного Знамени, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», Красной звезды. Автор свыше тридцати книг, переведённых на многие языки, к самым известным из которых следует отнести «Семикнижие», «Господин Гексоген», книгу из четырёх частей «Поступь русской победы». Лауреат премии «Национальный бестселлер», Международной Шолоховской премии, Бунинской премии, премии имени Н.С. Лескова, премии «Белые журавли России», премии «Золотой Дельвиг» и многих других*

**Крым***Роман***Часть первая****ГЛАВА ПЕРВАЯ**

Евгений Константинович Лемехов, вице-премьер, курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс. Статный, с упитанным сильным телом, упрямой большой головой, с блестящими, чуть навывкат, глазами, он неутомимо поглощал впечатления, жадно усваивал опыт, который откладывался в нём, как древесные кольца. В свои сорок пять он был преисполнен энергии, которая, как плотный бестелесный порыв, раздвигала перед ним жизненное пространство. Он входил в это пространство, как входят в распахнутые гостеприимно двери. После четвёртого класса школьная учительница подарила ему томик Пушкина с надписью: «Женя, будь всегда и во всём первый». С тех пор Пушкин для него был поводом, тайным покровителем, и множество пушкинских стихов, отрывков, случайных строк хранила его память. Он следовал напутствию учительницы, одолевая возрастные рубежи радостно и легко, оставляя позади своих менее удачливых сверстников. Ему казалось, что перед ним ступает невидимый проводник, переводя его через провалы и рытвины. Он шёл, веря своему тайному предводителю, который поворачивал к нему свою кудрявую пушкинскую голову и вёл по таинственным дорогам. Но собственная воля и страсть определяли его успех, его несокрушимое восхождение. Эта страсть была подобна раскалённому языку, прожигающему танковую броню. Подобна воздушному сгустку, летящему впереди истребителя. Подобна бестелесному лучу, указывающему путь ракете. Баловень и счастливец, Лемехов был выбран чьей-то неведомой волей, влекущей его к загадочному предназначению.

Лемехов был любимцем Президента Лабазова. Президент поручил Лемехову крошечную работу по обновлению оборонной промышленности, которая умирала, подобно выброшенному на отмель киту. Когда отхлынули воды советской эры, обнажилось дно, на котором беспомощно, как обитатели подводного царства, корчились заводы, конструкторские бюро и научные центры. Как пар улетучивались под раскалёнными лучами великие открытия и замыслы, неосуществлённые проекты, непроверенные гипотезы. И над этой гибнущей, высокоорганизованной жизнью вились тучи мелких стервятников, крылатых насекомых и трупоедов. Жадно поедали они беззащитные организмы, поражая воображение фантастическими формами распада. Так из огромного, разбухшего на припёке кита вылезают разноцветные черви, радужные жуки, течёт перламутровая слизь. В фиолетовый, ещё живой глаз бьёт клювом жирная, испачканная помётом чайка.

Президент Лабазов был утомлён долгими годами правления. Он восстанавливал доставшуюся ему в управление руину. Строил государство. Создавал банки, корпорации, нефтепроводы, олимпийские стадионы. Вдруг обнаружил, что на страну надвигаются тучи военных угроз. Эти угрозы множатся, сливаются, превращаясь в опасность большой войны. Эта война приближалась со всех направлений. Из арктических льдов и среднеазиатских пустынь. От

европейских и китайских границ. Из космоса и мирового океана. Как в пушкинской сказке о Золотом петушке, оповещавшем царя о всё новых вторжениях.

Президент Лабазов обнародовал программу вооружений. Создание новейших танков и самолётов, ракет и космических лазеров, модернизация старых заводов и строительство новых. Он поручил этот грандиозный проект Лемехову, и тот, как лемех, стал вспаривать омертвелую, усыпанную камнями пустошь.

Совещания, на которых кричали до хрипоты, ссорились представители армии и оборонных заводов. Космодромы, откуда поднимались окружённые плазмой тяжёлые ракеты. Полигоны, где установки залпового огня превращали барханы в слитки раскалённого кварца. Танкодромы, где крутился, взлетал, плыл и нырял под воду танк. Встречи с академиками, предлагавшими оружие на новых физических принципах. Доклады Президенту, где нервный и мнительный Лабазов торопил с пуском заводов по производству антиракет.

Лемехов появлялся везде, пронося своё большое, с медвежьей грацией, тело, сквозь цеха и лаборатории. Садился в салон самолёта, где шло совещание, и внизу, среди ночной Сибири, краснели факелы нефтяных месторождений. И среди этой крошечной работы иногда, на грани яви и сна, в душе открывалось таинственное пространство, где веяли неясные, пугающие своей странностью переживания. Они говорили о существовании иной жизни, иного предназначения. Того, о котором он, скорее всего, никогда не узнает. Так смотришь в звёздное небо, в бездонные колодцы с туманностями, к которым стремится душа, и начинаешь сходить с ума, и отводишь глаза, чтобы сохраниться.

Теперь Лемехов находился на заводе ракетных двигателей, на московской окраине, когда-то заводской и рабочей. Теперь вокруг завода толпились супермаркеты и развлекательные центры, похожие на фантастические грибы и разноцветные пузыри. Люди наполняли эти храмы торговли, неутолимо и алчно вкушая, приобретая и поглощая. Уже не стремились в космос. Уже не изумлялись космическому чуду Гагарина. К чуду можно было прикоснуться руками, купить за деньги, положить в нарядный пакет, в душистом салоне иномарки увезти в особняк.

Лемехов на заводе созерцал не мнимую, целлулоидную красоту, а подлинную мощь и величие. В окружении свиты, министерских чиновников, конструкторов, инженеров, среди огромного цеха с лучистыми стальными пролётами, он осматривал двигатель для новой сверхмощной ракеты. Ракета создавалась для «Лунного проекта», который после долгого перерыва возобновляла Россия. На подмосковных заводах уже был изготовлен «лунный город», состоящий из жилых, боевых и исследовательских модулей. Уже прошли испытания дальнобойные лазеры, способные поражать атакующие ракеты противника, испепелять морские и наземные цели. Уже был построен телескоп, фиксирующий метеориты, и пусковая установка, отправляющая к опасному болиду ядерный заряд. «Лунный проект» создавался сотнями заводов, конструкторских бюро и научных центров. Всё громадное множество предприятий, полигонов и академических институтов взбухало в конвульсиях. Задышалось, вырывалось из графиков, распадалось. Лемехов, намотав на запястья ременные вожжи, управлял этой бешеной квадригой, сплетал с ремнями свои рвущиеся сухожилия.

- Какая красота, Денис Митрофанович, - обращался Лемехов к директору завода, любуясь двигателем, - это просто Шедевр!

Директор польщённо улыбался. Двигатель возвышался на подиуме, словно это была скульптура. Составленный из множества деталей, в изгибах, цилиндрах, трубках, он, как и всё совершенное, достигал удивительной простоты. Так поэтическая мысль сочетает нерасторжимо множество переживаний и чувств.

Тело двигателя, созданное из тугоплавких металлов, напоминало сияющее светило. Трубы, большие и малые, свивались в жгуты и были похожи на аорты, окружавшие сердце. Хрупкие, сложно изогнутые сосуды, оплетавшие цилиндры и сферы, были подобны лианам, выющим по стальному дереву. Поворотные сопла были как чаши и кубки для бесцветной кипящей плазмы. В голубоватых отливах, безмолвный и неподвижный, двигатель таил в себе чудовищную силу. Ревущий огонь. Свист газа. Дрожанье земли и неба. Когда ракета на слепящих лучах, словно громадная колокольня, покидает старт и уходит в пустоту, развесив над лесами невесомые звоны.

Двигатель, стоящий в цеху, был подготовлен к испытаниям. Другой, подобный, уже погрузили в бетонный бункер. Команда инженеров на испытательном стенде ждала Лемехова, чтобы начать испытание.

- Через полгода мы должны иметь шесть двигателей, Денис Митрофанович. Будем иметь? – обратился Лемехов к директору, который ревниво и трепетно демонстрировал своё детище.

- Будем, Евгений Константинович, - директор был невысокий, плотный, с упрямым бобриком, с расстёгнутым воротом и неловко повязанным галстуком. Он чем-то напоминал дрессировщика, измотанного непокорным зверем. Этот зверь стоял перед ним, послушный, смиренный, но в любую минуту мог взъяриться, ринуться с рыком на своего повелителя. - Будет трудно, Евгений Константинович, но двигатели построим.

Они стояли в белых халатах и бахилах в стерильном цеху. Свита Лемехова состояла из чиновников министерства и космического ведомства, из офицеров космических войск. Ему сопутствовал неизменный заместитель

Леонид Яковлевич Двумлистиков. Он держал записную книжку. Делал пометки, преданно заглядывая в глаза начальника. Завод представляли директор, начальник цеха, конструкторы КБ. Чуть поодаль стояли рабочие, с любопытством поглядывая на высоких руководителей.

Среди заводских представителей Лемехов обратил внимание на худого, стройного человека с увядающим красивым лицом. На лице лежала тень утомления, какая бывает у тех, кто одержим тайной, снедавшей страстью. Прямой тонкий нос, мягкие, чуть капризные губы, яркие голубые глаза неправдоподобного василькового цвета. Будто на зрачки наложили синие линзы. Лемехов обратил на него мимолётное внимание, как на нечто чужеродное и тревожащее. Но тут же забыл, повернувшись к директору:

- Американцы успешно испытали дальнобойный лазер для размещения на орбите. Этот лазер станет держать под прицелом наши лунные установки. Но мы их разместим под лунной поверхностью, и они будут неуязвимы.

- Чтобы успеть с шестью двигателями, нам нужна помощь, Евгений Константинович. Самарский завод задерживает узлы, а Воронеж поставил бракованные комплектующие. Нам нужна ещё одна станочная линия. Мы нашли в Японии подходящие станки, но нам отказали в дополнительном финансировании.

- Это кто отказал? Опять Саватеев? Он что, саботирует?! – возмутился Лемехов. - Он что, американский агент?! Напомните мне, Леонид Яковлевич, - обратился он к Двумлистикову, - пора ему башку оторвать.

- Оторвите, Евгений Константинович, - заместитель ударял в книжку золочёной ручкой, делая пометку, преданно глядя на Лемехова.

А тот опять любовался двигателем. Сияющее диво, детище интеллекта, двигатель являлся продуктом высшего знания. Был прекрасен. Напоминал статую, сотворённую великим скульптором. Его пропорции подчинялись «золотому сечению». В его стальных переливах чудилась волшебная женственность. Литые формы, упругие мускулы роднили его с образами античных богов. Тех, что Лемехов видел в музеях Греции и картинных галереях Италии.

Двигатель, стальной и недвижимый, был живой и одухотворенный. Лемехов коснулся его, и тот отозвался легчайшей вспышкой света.

- За Вашей работой, Денис Митрофанович, лично следит Президент. Сейчас, когда мы испытаем двигатель, я доложу ему о результатах. Он просил сделать всё, чтобы серия из шести двигателей вышла с завода в срок. Это имеет не только оборонное, но и политическое значение. Когда Президент поедет в Лондон на совещание «восьмёрки», продвижение «лунного проекта» будет козырем на переговорах с американцами.

- Передайте Президенту, что мы чувствуем его заботу. Заказ государства не будет сорван.

- Спасибо.

Лемехов с благодарностью взглянул на директора. Этот коренастый, небрежно одетый человек был из плеяды новых директоров, сменивших утомлённых старцев, тех, по которым прошёлся чудовищный удар перемен. Разрушенные заводы, разворованные станки, разбегающиеся и проклинающие начальство рабочие – всё это постигло директорский корпус, руководивший индустрией Советов. «Красные директора» ошалело взирали на убийство страны. Но быстро опомнились после её насильственной смерти. Набросились на бесхозное богатство. Прибирали к рукам, продавали за бесценок, расхищали запасы драгоценных металлов. Кто строил особняки в реликтовых подмосковных лесах. Кто навсегда укатил за границу. Когда мало-помалу стала подниматься промышленность, им на смену, Бог весть, откуда, появились дееспособные люди. Стали оживлять мертвеца. Так сбегаются к захлебнувшемуся в воде умельцы, делают «искусственное дыхание», вдувают в слипшиеся лёгкие воздух, бьют в грудь, сгибают, что есть

мочи, конечности. Пока утопленник не сделает булькающий вздох, и его не начнёт рвать мутной жижей.

Таким был этот директор, создающий уникальный двигатель. Лемехов и сам был из тех, кто за волосы тянул из омута утонувшую индустрию, ставил на ноги рухнувшую страну.

- Наш Президент дал нам задание. Не только нам, оборонщикам, но и всему народу. В кратчайший срок преодолеть двадцатилетнее отставание. Перепрыгнуть яму, которую вырыли нам либералы. Успеть до начала крупного военного конфликта восстановить оборону, оснастить армию сверхсовременным оружием. Если нет, то нас сомнут, как сказал Сталин. Он-то знал, что до начала войны остаются считанные годы. Тогда Советский Союз дни и ночи строил танки, отливал орудия, запускал самолёты. Это был гигантский рывок, ведущий к Победе. Сейчас мы должны повторить этот тигриный бросок. Не догонять Запад, а как тигр, срезать угол. Выйти наперез и оказаться впереди.

Лемехов сделал резкий взмах рукой, и ему показалось, что двигатель, как стальной тигр, готов к броску.

- Президент делает всё для восстановления оборонного комплекса. Лучшие станки – пожалуйста! Финансирование научных разработок – пожалуйста! Зарплаты рабочим – пожалуйста! Мы должны оправдать доверие Президента. Опасность велика. Враг силен. Его военная техника превосходна. Она грозит нам уничтожением. Сейчас, здесь, в этом цеху, решается исход будущей войны. Этот двигатель – двигатель Победы!

Лемехов желал вознаградить создателей двигателя. Вознести на вершину государственных почестей. Причислить к самым лучшим и героическим людям, драгоценным для государства.

Ему внимали. Директор потупил глаза, наморщил лоб и, желая скрыть благодарность, слушал высокого руководителя. Заместитель Двустиков бил ручкой в блокнот, словно конспектировал бесценные слова. Рабочие в белых халатах приблизились, сняли пластмассовые каски, которые мешали слушать. Человек с васильковыми глазами сжал губы, словно стискивал трубочку, сквозь которую пил коктейль.

Двигатель, сияющий и безмолвный, отражал яркие лампы, и, казалось, он весь покрыт множеством глаз, которые, не мигая, смотрят на Лемехова. Так идол в своём величии воспринимает жреческие восхваления.

- Кончилось время, когда музыку в стране заказывали банковские менялы и адвокатишки, едкие журналистишки и телевизионные куртизанки. Теперь марши играем мы, технократы. У нас миллиарды рублей, интеллект, понимание мировых проблем, судьбы Отечества. Нам Президент доверил самое драгоценное - государство, народную судьбу, суть русской цивилизации. Мы – его гвардия, его боевой авангард. Для нас это высокая честь. Мы служим ему не за страх, а за совесть. Мы посвящаем стране свои таланты, свою творческую волю. Вверяем Президенту нашу судьбу, как он вверил нам судьбу России. Мы видели, как его предали те, кто называет себя «креативным классом». Все эти конторские служащие и мальчишки из пиар-агентств. Длинноногие секретарши и горбатые правозащитники. Все эти телевизионные стилисты из гей-клубов. Они собрались на своём бесовском болоте и проклинали Президента, угрожали ему смертью. Мы – гвардия Президента Лабазова, его «креативный класс». Мы изобретаем и строим невиданные машины. Мы создаём новые технологии. Мы сооружаем грандиозную машину нового российского государства. Будем достойны своей исторической миссии. Здесь, на вашем великолепном заводе, запуская этот чудесный двигатель, мы утверждаем нашу историческую волю, нашу гвардейскую непобедимость.

Лемехова вдохновлял этот драгоценный двигатель. Вдохновляли сосредоточенные рабочие и инженеры – творцы этого дивного изделия. Двигатель возвышался над ними, властвовал, царил. Он был творением рук человеческих, но люди, его окружавшие, были созданы им, вскормлены, собраны воедино, подчинялись его молчаливой воле. Двигатель, подобно божеству, был смыслом их существования, управлял их судьбой. Лемехову казалось, что он угадывает волю божества, воплощает эту волю в слова:

- У стратегического рывка, который мы предприняли, есть противники. У русского оружия, которое мы хотим вложить в руки народа, есть яростные враги. Это либеральные агенты Запада. Они в ужасе от мысли, что Россия опять становится сильной, выходит из-под контроля Америки. Они уверяют народ, что России никто не угрожает. И это в то самое время, когда Америка планирует против нас превентивный удар сверхточным оружием. Мы станем громить их.

Его слушали с одобрением. Лицо директора стало суровым. Рабочие кивали.

- Но главный наш враг – это апатия, поселившееся в народе уныние. Это глубокая печаль, которую переживает русский народ. Удар, который ему нанесли, оглушил, и по сей день народ в обмороке. Его руки отвыкли работать. Его слух не воспринимает проповеди. Его душа омертвела. Он равнодушен к оскорблениям, которыми его осыпают. Как разбудить народ? Как вернуть ему веру? Как вдохновить его на великие труды и свершения?

Лемехов оглядывался, словно ожидал услышать ответное слово, которым можно разбудить опоенный зельями народ.

Все молчали. В этой тишине прозвучал тихий, спокойный голос:

- Русский народ, как спящая царевна. Её нужно поцеловать, и она проснётся. Русский народ нужно поцеловать.

Это произнёс худой человек с бледным красивым лицом, на котором сияли глаза, яркие, как васильки. Этот цвет полевого цветка на усталом мужском лице казался неестественным. Тревожил и пугал Лемехова.

- Народу надо читать Пушкина, и он проснётся.

- В самом деле? – Лемехов усмехнулся, - А Маяковского не надо читать?

- Это Философ Игорь Петрович Верхоустин, - директор почувствовал раздражение Лемехова.

- Вы что тут, ищите «философский камень»? – насмешливо спросил Лемехов.

- Вместе с Игорем Петровичем мы разработали программу привлечения на завод молодых специалистов. Мы вывезли на городскую площадь двигатель, не этот, конечно, а тот, с которого снят гриф секретности. Установили его на постамент и устроили чтение пушкинских стихов. Сначала стихи читали театральные актеры. Потом несколько наших пожилых ветеранов. Потом дети, которые пришли на площадь. Потом какая-то молодая женщина. Ещё и ещё. И получился настоящий праздник поэзии. Люди не хотели уходить, украсили двигатель цветами и лентами. И что удивительно, на завод пришли устраиваться сразу пять молодых рабочих и два инженера. Мы этот двигатель теперь называем «Пушкин».

Директор радовался, улыбался. Философ Верхоустин спокойно и доброжелательно смотрел на Лемехова. А тот вдруг вспомнил книжечку Пушкина, подаренную школьной учительницей, дарственную надпись, сделанную каллиграфическим почерком. Испытал к философу двойственное чувство. Отчуждения и неясной опасности. И любопытство, желание выслушать его размышления. Но в цеху появился главный инженер и сообщил:

- К испытаниям всё готово. Вас ждут, Евгений Константинович.

Они покинули цех и переместились в испытательный центр, где в бункере находился двигатель.

Испытательный центр – саркофаг из бетона и стали, способный удержать в своей оболочке огненный взрыв. В озарённом зале, перед мониторами, в белых халатах – испытатели. Следят за разноцветными всплесками, электронными синусоидами. Двигатель, помещённый в бункер, закупорен в бетонный кокон. Его изображение туманится на экране. Голубовато-белый, перевитый сосудами, с волнистой пуповиной, напоминает эмбрион, притихший в утробе. Окружён сиянием, в чуть заметном трепете, в легчайших дрожаниях.

Лемехова усадили перед экраном, и он смотрел, как тихо дышит нерождённый младенец. Испытание должно было подтвердить возможность двигателя выводить в космос тяжёлые ракеты. Способность титановых и стальных сочленений выдержать чудовищное давление и адское пламя. Готовность развивать тягу, достаточную для стратегического превосходства. «Лунный проект», дальнобойные лазеры, громадные телескопы, углублённые в лунный грунт лаборатории, - всё зависело от испытания двигателя. Новый пояс космической обороны, неуязвимый для ракет и лазерных пушек врага, разрушал агрессивные планы противника, сберегал для России ещё одно десятилетие мира.

Маткой, в которой созревала сияющий эмбрион, был не бетонный бункер, не завод, не город, а громадный клокочущий мир, перепаханный войнами и «цветными революциями». Его рождения ожидали американские авианосцы в Тирренском море, арабские толпы, заливающие кровью площадь Тахрир, китайские дивизии, проводящие манёвры у берегов Амура. Его ожидали вражеские разведки, следящие с орбит за русскими космодромами, внедряющие агентов в российские КБ и заводы. Его ждали генералы Генштаба, строители лунных городов и расчёты лазерных орудий. Его ждал Президент Лабазов, включённый в мучительное, с неясным исходом

состязание, поражение в котором означало его личную смерть и смерть государства. Его рождения ждал Лемехов. Своей жаркой, животворной энергией он взращивал этот стальной эмбрион.

- Евгений Константинович, прикажете начинать? – наклонился к нему директор. Бледный от волнения, он был акушер, ожидавший трудные роды.

Лемехов кивнул. В динамике металлический голос начал обратный отсчёт:

- Десять, девять, восемь...

Чуть слышный толчок ударил в стены и пол. Изображение на экране дрогнуло. Белые ступки вздулись в титановых соплах. Превратились в яростные языки, в отточенные жаркие клинья. На мониторах заиграли разноцветные нити. Стены и пол дрожали. Бушевало белое пламя. Бункер накалялся, как тигель. Двигатель был похож на небесное тело, окружённое белым огнём. Сотни датчиков, помещённые в слепящий факел, отображали на мониторах состояние патрубков, давление в трубопроводах, температуру металлических стенок. Двигатель рвался из бункера, но его удерживали бетонные блоки, сжимали стальные обручи. Вода гасила пламя и охлаждала бетон. Насосы нагнетали горючее. На мониторах плясали импульсы, свивались в жгуты разноцветные линии. Шли роды...

Лемехов жадно следил. Рождался не просто двигатель. Рождалась новая космическая эра России. Остановленная злой волей, опрокинутая в хаос, Россия вновь подтверждала своё космическое бытие. Рвалась в беспредельность, в которой народ угадывал своё ослепительное будущее, свою несказанную мечту.

Автоматика выводила двигатель на предельный режим. Бункер казался мартеном, в котором кипела сталь. В белой плазме возникали радужные кольца. Словно расцветал волшебный цветок. Лепестки опадали, вновь кипел огонь, и двигатель казался метеоритом, заключённым в пылающую сферу.

Лемехов всей своей напряжённой волей, страстным сердцем чувствовал работу двигателя. Это он, Лемехов, находился в бетонном бункере. В буре огня и света старался сдвинуть тяжкие блоки, одолеть гравитацию, прыгнуть грохочущей молнией и умчаться в лучистую даль. Туда, где ожидало его небесное будущее, таинственная, уготованная Богом судьба. Он беззвучно молился, вымаливал эту судьбу, вымаливал Победу.

- Есть! Параметры в норме! Тяга в норме! – воскликнул директор. И все повскакали с мест, обнимались, целовали друг друга. Пламя в бункере меркло. Краснел раскалённый бетон. Двигатель остывал, серебряный, нежный, словно младенец в купели.

Лемехов пожимал испытателям руки. Поздравлял директора, инженеров, конструкторов. Глаза у директора были в слезах.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Машина Лемехова в сопровождении джипа охраны покинула завод, погрузилась в гул переполненной трассы. Громадные супермаркеты светились в осеннем дожде, как ядовитые грибы. Автомобили Двulistикова и других министерских чиновников исчезли в круговоротах и пробках. Лемехов приказал шофёру свернуть с переполненного шоссе и ехать в глубь жилых кварталов. Здесь, на краю парка с последней жёлтой листвой, стояла церковь, ажурная и высокая, какие строились в старинных дворянских усадьбах. От усадьбы сохранился парк с худосочной аллеей и храм с кирпичной оградой. У ворот, под дождём сидели нищие, накрывшись клеёнками. В церкви находилась икона «Державная Божья мать», сложенная из драгоценной мозаики. Лемехов однажды заглянул в этот храм, восхитился иконой, пережил подле неё благодатное чувство. Теперь ему вновь захотелось увидеть икону.

Охранник раскрыл над Лемеховым зонтик. Провёл сквозь ворота. Лемехов заметил, как выглянуло из-под клеёнки лицо в неопрятной щетине, слюнявые губы в беззубой улыбке, глаз с лопнувшим кровавым сосудом. Лемехов сунул под клеёнку купюру, и сухая, с грязными ногтями рука цепко схватила бумажку.

Церковь была пустынной и сумрачной. Несколько прихожан стояли в сумраке, безмолвно молились. Тускло золотился иконостас. Огоньки свечей редко отражались в подсвечниках. Лемехов перекрестился, ступил в храм. Из тёмной стены, из мрака брызнули на него бриллиантовые лучи, драгоценно сверкнула икона. Богородица в алом облачении, среди золота и лазури, царственно восседала на троне. Младенец словно парил перед ней. Икона переливалась и

трепетала. В ней блуждали разноцветные волны света. Казалось, она была обрызгана волшебной росой.

Лемехов потянулся к иконе. Бесшумно подошёл охранник, протянул свечу. Лемехов выбрал на подсвечнике догоравший огарок, зажёл от него свечу и вставил черенок в тесное гнездо. Нежное пламя отразилось в иконе, и казалось, Богородица приняла в свою руку зажжённую свечку.

Лемехов приблизился к иконе, поцеловал, прижался лбом. Почувствовал, как икона благоухает. Такое душистое тепло исходит из палисадника, где цветёт сирень. Казалось, за иконой существует таинственное пространство, полное цветов. Если совершать молитвенное усилие, можно войти и оказаться в райском саду.

«Державная» была хранительницей государства, попечительницей русских государственных, к которым причислял себя Лемехов. Целуя бриллиантовые лучи, он помолился о судьбе страны, как это делают во время богослужений. Помолится об инженерах и конструкторах и оборонной мощи, которую они возводили. Об успешных испытаниях двигателей, о которых надлежало доложить Президенту. О «Лунном проекте», непомерном в своей сложности и величии. О стратегической подводной лодке, которая скоро сойдёт на воду в Северодвинске. О «подводном старте», откуда прянет ввысь новая баллистическая ракета, способная прорывать американскую оборону.

Постепенно моления его отвлеклись от этих грозных и тревожных забот. Бриллиантовые лучи напомнили бриллиантик в мамином золотом кольце, и он в детстве брал в свои маленькие руки её большую тёплую руку и рассматривал кольцо. Теперь её рука, её милое дорогое лицо, её каштановые волосы были покрыты землёй, из которой вырастал тихий могильный цветок. Чувствуя нежную печаль, Лемехов думал о маме, молился о ней. Хотел, чтобы она его услышала в тех небесных аллеях, по которым сейчас гуляла.

Он подумал об отце, о его пиджаке с орденом, о шёлковом галстуке, о вкусном запахе одеколона. Специалист по Африке, отец пропал без вести то ли в ангольских саваннах, то ли в Мозамбике, на берегах Лимпопо. Теперь его безвестная могила среди африканских холмов томила Лемехова своей недоступностью, мучительной сыновей нежностью.

Свеча отражалась в иконе, словно Богородица держала её в перстах. Отражение свечи напоминало золотую дорожку на озёрной ночной воде. С женой в Карелии, в свой медовый месяц, смотрели в оконце. Прекрасная луна, - «царица ночи» - говорила жена, - пылала над туманными лесами. Рыбачий челнок чёрной стрелкой пересёк лунную дорожку. Теперь жена, после нервного потрясения, несколько лет находилась в психиатрической клинике. Навещая жену, он видел седую голову, пустые глаза, голые ноги в синих венозных узорах. Лемехов молился о жене, каялся перед ней, посылал ей в больницу отражённую в иконе свечу.

Его блуждающие мысли, исполненные любви и печали, вдруг собрались в страстный молитвенный порыв. В этом порыве не было просьбы, жалобы или мольбы о собственном благе. Была благодарность и любовь к Богу, ведающему о нём, знающему каждую его мысль, сотворившему его для какой-то, Ему Одному ведомой цели. Эта молитва была как стремительный взлёт. Душа взмыла в беспредельную высь, коснулась пылающей белизны, слилась с ней, а потом вернулась на землю, принеся ликующее счастье.

Лемехов отступал от иконы, но она не отпускала его из своих бриллиантовых объятий.

Он уже направлялся к выходу, когда из полумрака вышел навстречу ему человек.

- Простите, Евгений Константинович...

Лемехов удивлённо остановился. Лицо человека было плохо различимо в сумраке. Но ярко цвели синие, цвета полевых васильков, глаза. Это был философ, кажется, Верхоустин, с которым Лемехов мельком познакомился на заводе и тут же забыл о нём. – Я видел, как Вы молились. Мне пришла мысль, что каждая молитва – это выход в открытый Космос. Душа молящегося несётся к Богу. Если она достигает Его, то возвращается обратно преображённой, неся несметные богатства. Одаривает этими богатствами землю. Если же не достигает Бога, если молитва слаба и не искренна, душа, подобно взорванной ракете, падает на голову молящегося обломками.

Появление Верхоустина в храме было неприятно Лемехову. Оказывается, когда он молился, за ним наблюдали. Быть может, стремились угадать, о чём он молился.

- Иногда ракета не достигает цели, потому что её сбивает чужая ракета, - Лемехов шагнул, желая избавиться от незваного соглядатая.

- Моя ракета, Евгений Константинович, не чужая. Я только что молился у той же иконы. Две наши души летели к Господу рядом.

Глаза Верхоустина искренне и чисто сияли. Лемехов раскаялся в своей неприязни. Стоящий перед ним человек только что вместе с ним совершил чудесное вознесение. Их соединяло волшебное странствие, роднила бриллиантовая икона.

- Вы на машине? – спросил Лемехов, выходя на церковное крыльцо.

- Нет, - ответил Верхоустин.

- Могу подвезти до центра.

- Буду признателен.

Дождь кончился. На церковном дворе ветер рябил лужи. Нищие прятались под своими клеёнками и плёночными плащами. Из-под синей накидки вдруг выскочил нищий в красной засаленной куртке, в башмаках, из которых торчали тощие грязные ноги. В клочковатой бороде открывался слюнявый рот. Один глаз был залит белой мутью, другой дико светился рубином. Он кинулся наперерез Лемехову, вцепился в его пальто:

- Ты, Женька, который женится! Ты на России женишься, она от тебя родит! Ты Россию в постель уложи и помни хорошенько! Она поорёт, дура, а потом полюбит! У тебя в одной руке крест, в другой сабля! О тебе в Боголюбском монастыре молятся! Тебя батюшка Серафим предсказывал! Ты царём станешь, меня не забудь! Я Колька Кривой, псами травленный! Меня мамка на помойку снесла! Россию, Женька, на помойку снесли! А ты её подбери, отмой, губки ей покрась, бусы купи. Красивей её не найти! Ты Кольку Кривого в Кремль с собой заberi! Перед тобой все преклонятся. Ты первый человек на Руси!

Он упал, пополз, целуя перед Лемеховым землю. Охранники оттаскивали его, а он хохотал слюнявым ртом, выкрикивая:

- Ты, Женька, будешь царём на Руси!

Они сели в машину. «Мерседес» рванулся, расплёскивая фиолетовые вспышки. Джип охраны мчался следом, и когда встречался затор, начинала истошно крикать сирена, словно металлическая утка.

- Есть Россия заводов и университетов, - произнёс Верхоустин, - А есть Россия монастырских подворий. Есть футурологи, предсказывающие завтрашний день. А есть юродивые, которые видят на сто лет вперёд.

Лемехов не ответил. Ему было неприятно, что этот мало ему знакомый человек стал свидетелем нелепой сцены.

- К русским кликушам надо прислушиваться, - сказал Верхоустин, не замечая раздражения Лемехова.

- Чушь какая-то! Похоже на оперу «Борис Годунов», - нелюбезно ответил Лемехов. - Может, начитался Пушкина? Это Вы говорили, что спящему народу нужно читать Пушкина, и он проснётся. Может, он, как представитель народа, спал, спал и проснулся? Простите, напомните, как Вас зовут?

- Игорь Петрович.

- Нет, Игорь Петрович, не Пушкина надо читать народу, чтобы он проснулся. Не «Буря мглою небо кроет». И не «Как ныне сбирается вещий Олег». Народу надо дать большую работу. Пусть пашет землю и возводит заводы. Пусть строит города на Луне. Пусть готовится к полёту на Марс. И ему будет не до сна.

Лемехов чувствовал своё превосходство над странным человеком, именующим себя философом. Этот чудака случайно появился на его пути, чтобы через полчаса покинуть салон машины и навсегда исчезнуть в бегущей московской толпе.

- Немецкий народ после Версальского мира был народ-подранок, - произнёс Верхоустин как терпеливый и настойчивый педагог. – Народ был унижен, разгромлен, раздавлен страшным поражением. Его точили разные жучки-короеды, глумились жестокие победители. Внушали немцам, что они - тупиковый народ. Отсекали от таинственных высот, где витал сумрачный германский гений. Отрывали от глубин, где коренилось великое немецкое мессианство. И, казалось, этот народ больше не способен воевать, не способен творить, не способен строить. Уснул дурным сном.

Голубые глаза Верхоустина переливались хрустальным светом, как венецианское стекло. Лемехов заворожённо смотрел на эту синеву, которая вызывала в нём сладкое воспоминание, - в

детстве он идёт по меже вдоль белесого ржаного поля, и в колосьях, на жаркой земле, расцвёл лазурный василёк.

- Гитлер разбудил немецкий народ. Он основал тайную лабораторию «Аненербе». Немецкие лингвисты и культурологи, археологи и маги, поэты и историки, астрологи и обладатели тайных знаний стали коллекционировать волшебные приёмы, которые воздействовали на народ. Немцы вновь подключались к первоисточкам. К бездонным копилкам энергии, питавшим великих полководцев, художников, духовидцев. Была вновь прочитана «Старшая Эдда». Вновь прослушан Вагнер и Бах. Вновь осмыслен Дюрер и Грюневальд. Экспедиции «Аненербе» отправлялись на Гималаи и в Тибет, тайно проникали на Волгу и Южный Урал, где, укрытые прахом, таились древние города Аркаима, - родина праарийских народов. Эти волшебные эликсиры были впрыснуты в школу, в политические институты, в военную и экономическую теорию. Немецкий народ проснулся. Восстал из духовной смерти и приступил к великому созиданию. В считанные годы Германия совершила небывалый взлёт. Были сделаны грандиозные открытия в науке и технике. Построены ракеты, реактивные самолёты, «летающие тарелки», телеметрические системы, ядерные реакторы. Немецкие психологи проникли в тайну мозга, пробуждая к творчеству его запечатанные участки. Ясновидение, телекинез, телепортация рождали новый тип цивилизации. Открытия генетики и евгеники вели к сотворению идеальной человеческой расы. К великому горю, эти судьбоносные открытия немцев Гитлер направил на покорение других народов. Он не захотел штурмовать небо, не стал покорять Космос, разгадывая тайны «тёмной материи». Он стал штурмовать столицы мировых государств: Варшаву, Париж, Москву. Израсходовал волшебные силы проснувшегося народа в этих кровавых бессмысленных штурмах.

Лемехов слушал. В салоне «Мерседеса» царил бархатный сумрак. Сладко пахло лакированное дерево, замшевая кожа. Проносились за тонированными стёклами сверкающие фасады, туннели с гирляндами фонарей. Лемехов слушал спокойный, как у лектора, голос Верхоустина, испытывая странное оцепенение, которое мешало улавливать смысл произносимых речей. Глаза Верхоустина обладали завораживающей силой. Их голубые лучи переливались. Лоб Лемехова чувствовал их невесомое прикосновение, и возникали галлюцинации. Тёплая рожь с васильками. Веночек из васильков, который деревенская девочка надевала ему на голову. Чудный синий букет, который мама ставила в хрустальную вазочку.

Эти мимолётные видения были драгоценны. Они продолжались, пока говорил Верхоустин. Лемехову хотелось, чтобы тот продолжал говорить.

- Другое дело – Сталин. Ему достался народ, окровавленный в войне и революции. В братоубийственной бойне народ утратил своё единство, потерял Бога, отпал от сокровенных основ, которые сделали его народом. Народ подвергся страшному насилию, когда из него удаляли глубинные коды, как это делают угонщики автомобиля, зубилом скалывая номер двигателя. Другая культура, другая музыка, другая живопись - всё это отрезало народ от донных ключей, которые питают святой водой народный дух. Сталин начинал индустриализацию и готовился к войне. Он понимал, что с таким народом не построишь заводы-гиганты, не создашь боеспособные самолёты и танки. Не построишь победоносную армию. Для этого нужен другой народ. Народ, разбуженный для великой Победы. И Сталин вернул в культуру Пушкина, которого «сбросили с корабля современности». Он сделал Пушкина главным советским поэтом. Рабочие строили танковые заводы и слушали по радио стихи Пушкина. Инженеры испытывали новые истребители и штурмовики и слушали романсы Глинки на стихи Пушкина. Генералы и маршалы проводили учения, а потом шли в Большой театр, в золочёные ложи, и слушали оперу Чайковского «Евгений Онегин» и оперу Мусоргского «Борис Годунов». Народ, который встретил войну, был народ, осенённый Пушкиным. Пушкин сражался под Москвой вместе с панфиловцами. Пушкин под Сталинградом защищал Мамаев курган. Пушкин на Курской дуге шёл на таран «Тигров», сидя за штурвалом «Т-34». Пушкин вместе с Егоровым и Кантарией воздвигал над Рейхстагом знамя Победы. Пушкин стоял на мавзолее рядом со Сталиным во время победного парада, когда падали на брусчатку гитлеровские знамёна. Пушкин одолел «Аненербе». Пушкин вернул народу его сокровенные коды. Советский народ, одержавший Победу и полетевший в космос – это народ Пушкина. Вот, что я имел в виду, Евгений Константинович, когда на заводе сказал несколько слов о Пушкине.

Верхоустин умолк, опустил глаза. Их колдовское воздействие прекратилось. Лемехову было не по себе. Он снова испытал отчуждение к человеку, которого пригласил в машину к

неудовольствию охранника, который сидел рядом с водителем и тревожно наблюдал в зеркало заднего вида.

- Вы предлагаете мне на заводе антиракет читать «Сказку о попе и его работнике Балде»? – вяло пошутил Лемехов.

- Рано или поздно придётся произнести сокровенное слово, которое разбудит народ. Такое слово слетает к поэту с небес. Такое слово должно явиться народному лидеру, который берёт на себя ответственность за судьбу государства.

- Но я, слава Богу, не являюсь народным лидером.

- Никто не знает, что нас ждёт впереди.

Они подъезжали к Дому Правительства, где Лемехова ожидала встреча с Военно-промышленной комиссией. Пора было прощаться. Но что-то важное, недосказанное померещилось Лемехову в последних словах Верхоустина. Удивляясь своей странной прихоти, Лемехов произнёс:

- Через несколько дней я улетаю в Северодвинск. Там спускают на воду стратегическую лодку. Хотите полететь со мной? Прочитаете пушкинский стих, посвящённый встрече с подводной лодкой: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты».

- Прочитаю, - спокойно улыбнулся Верхоустин. Вышел из машины, исчезая в дожде.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лемехов был приглашён в Кремль, на приём к Президенту. Машина вырвалась из туманных, в тусклых блесках, городских улиц. Свернула с Каменного моста к Троицкой башне. Мимо постового, отдавшего честь, скользнула в ворота и оказалась среди синих елей, золотых куполов и белых соборов. Шёл дождь. Брусчатка Ивановской площади блестела, словно площадь помазали чёрной икрой. Дворцы с отложными воротниками наличников мутно желтели. Купола Успенского собора были похожи на мокрые золотые облака.

Каждый раз, с самого детства, Кремль вызывал у Лемехова робость и благоговение. Словно здесь скопились загадочные сказочные силы, волновавшие и возвышавшие душу. И теперь, выходя из машины, он чувствовал эту незримую силу, которая сладко влекла и одновременно пугала. Кремлёвские соборы и башни присутствовали в его глубинной памяти, словно достались ему от рождения. Были переданы по наследству.

Аудиенция предполагалась в библиотеке. При входе Лемехова встретил генерал ФСО Дробинник, из числа особо приближённых, кому Президент Лабазов доверял самые деликатные поручения. Генерал был сух, с бледным узким лицом, которое пересекал шрам, словно полоснули клинком. Глаза генерала были светлые и прозрачные, с тёмными точками жестокости, какие бывают у снайперов. Дробинник вошёл в доверие к Президенту, когда в период Второй Чеченской предотвратил покушение на Лабазова. Сам участвовал в ликвидации заговорщиков и был ранен.

Он относился к Лемехову с внешней симпатией, за которой скрывалось холодное недоверие. Он и с другими соблюдал дистанцию, позволявшую молниеносно применять холодное и огнестрельное оружие.

Они пожали друг другу руки, и Дробинник проводил Лемехова в библиотеку.

- Какое настроение у Президента, Пётр Тихонович? – Лемехов оглядывал овальную комнату, уставленную шкафами, где за стёклами блестели золотом кожаные переплеты подарочных изданий. На шкафах стояли фарфоровые и стеклянные вазы. Ещё одна дверь с тёмным, непрозрачным стеклом вела в соседнюю комнату. – В каком расположении духа пребывает Юрий

Ильич?

Вопрос был не простой данью вежливости. Ходили слухи, что Президент нездоров. Он долго не появлялся на людях. Множились кривотолки о его серьёзном недуге. О преемнике, которого пора показать общественности.

- Президент бодр. Мы сегодня долго тренировались в спортивном зале. И даже схватились в борьбе. Его броску позавидовал бы олимпийский чемпион.

- Его броски и подсечки хорошо известны мировым политикам. Особенно в Госдепе.

Лемехов и Дробинник послали друг другу два зашифрованных сообщения. Запрос Лемехова о здоровье Президента Лабазова. И ответ Дробинника, в котором тот просил не беспокоиться по этому поводу.

- А Вы, Евгений Константинович, ездили на охоту? – спросил Дробинник, зная об охотничьей страсти Лемехова. Он и сам был ружейный охотник.

- Да нет, не пришлось. Всё дела, дела. Вот сейчас лечу на север. Там обещали медведя. А Вы поохотились?

- Вы же знаете, Юрий Ильич не любит охоту. Не то, что первый Президент. Юрий Ильич любит рыбалку. А какой я рыбак? Так, из вежливости спиннинг бросаю.

- Благодарите Бога, что Юрий Ильич не коллекционирует бабочек. А то бы вам пришлось завести сачок.

Они посмотрели один на другого, рассмеялись. Прозрачные глаза генерала дрожали от смеха, но чёрные точки оставались неподвижными.

Генерал чутко замер, как обладающий повышенным слухом зверь, словно уловил скрытый шорох. Поспешно вышел. И через минуту в библиотеке появился Президент Юрий Ильич Лабазов.

Он двигался своей строевой офицерской походкой, выражавшей целеустремлённость и неколебимую волю. Эту походку он демонстрировал в публичных местах, будь то кремлёвский дворец или дипломатический раут. Это был своеобразный балет, за которым следили обожающие дамы, мнительные чиновники и проницательные журналисты.

Однако теперь эта бодрость и лёгкость шага давалась Президенту с трудом. Лемехов видел, как при каждом шаге Лабазов чуть стискивает глаза, словно преодолевает боль. Его лицо было бледным, виски ввалились, и на них проступили болезненные синие жилки. Он протянул Лемехову узкую ладонь, и тут же её отдернул, словно боялся, что Лемехов, касаясь руки, как хиромант, догадается о его нездоровье.

- Как прошли испытания двигателя? – раздражённо, словно ожидая дурную весть, спросил Лабазов.

- Отлично, Юрий Ильич. По всем параметрам превзошёл американцев. Теперь у России есть лучшая в мире тяжёлая ракета. Считайте, что мы на Луне.

- Рад, - глаза Лабазова торжествующе блеснули. - Передайте коллективу мои поздравления. Скажите, будут ордена, будут премии.

На скулах Лабазова выступили маленькие розовые пятна, как райские яблочки.

- «Лунный проект» переводит Россию на новый цивилизационный уровень. «Лунный проект» - это обещание, которое я дал народу, и сдержу его. Противники меня упрекают, что будто бы я остановил русское развитие, оставил Россию на обочине мирового процесса. Это злые языки. Теперь все увидят, что Россия остаётся лидером мирового развития. Луна, если угодно, становится окраиной Москвы, и я назначу префекта Луны. Хотите, Евгений Константинович, стать префектом Луны? – Лабазов добродушно, и совсем по-детски рассмеялся. Добрая весть вернула ему весёлость, помогла забыть о недуге.

- Мне нужно будет заняться озеленением Луны? Благоустройством лунных дворов и детских площадок? Эти вечные хлопоты о лунных дорогах, о лунных детских садах, о лунных школах. Боюсь, Юрий Ильич, что я с этим не справлюсь.

- Вы справитесь. Вы справляетесь с делом, которое другие давно бы уже завалили. Но Вы правы, Вы нужны здесь, на земле. Как мало полноценных людей! Как мало тех, на кого я могу опереться!

- Мы, в оборонном комплексе, работаем на Россию, работаем на своего Президента, - скромно ответил Лемехов.

- На минувшей неделе к нам прилетал Госсекретарь, замшевый, мягкий, как ножны, в которых спрятан отравленный клинок. Мы говорили о Сирии, о наших поставках в район боев зенитно-ракетных комплексов. Он сказал, что они, американцы, обладают сверхточным оружием, способным преодолевать любую противовоздушную оборону. Он сказал, что американцы создали компьютерную модель, которая показывает, как, в случае войны с Россией, американские гиперзвуковые ракеты при первом же ударе уничтожат девяносто пять процентов наших баллистических ракет. А остаток во время ответного удара будет перехвачен системой американской ПРО. Этот наглец, как ковбой, приставил мне к виску пистолет и потребовал, чтобы я сдал ему Сирию. Я рассказал ему о русских дальнобойных лазерах на Луне, способных сжечь один за другим все американские штаты, и пистолет в его руке задрожал.

- Сейчас, Юрий Ильич, мы спустим на воду ещё одну лодку и проведём испытания «подводного старта». Тогда в Вашингтоне сменят тон.

- Поезжайте на спуск лодки и на ракетные стрельбы. Мне нужны хорошие новости. Вы, Евгений Константинович, всегда приносите хорошие новости.

Бесшумно, как кошка, возник Дробинник:

- Юрий Ильич, художник Распевцев, как Вы просили, принёс картину. Прикажете ему подождать?

- Пусть несёт картину. Вы, Евгений Константинович, подождите рядом. Художник не займёт много времени.

Дробинник проводил Лемехова сквозь тёмную стеклянную дверь, и Лемехов оказался в кабинете с письменным столом и камином. И стол, и камин были отделаны малахитом и золотом. На камине под стеклянным колпаком трепетали стрелками и колёсиками золочёные часы. На диване лежали удобные, шитые серебром подушки.

Лемехов, обойдя кабинет, обнаружил, что застеклённая дверь, тёмная с одной стороны, была прозрачной с другой. Всё, что происходило в библиотеке, было доступно наблюдателю, находящемуся в кабинете.

Лемехов видел, как в библиотеку вошёл художник Распевцев, знаменитость, писавшая портреты самых знатных и влиятельных персон государства. Баловень всех прежних правителей, считавших за честь позировать этому несравненному мастеру.

Распевцев был стар, мастит, благороден, с породистым, оплывшим лицом. Гордый нос, прямая осанка, чопорно сжатые губы делали его похожим на камергера, утомлённого придворным служением. На нём была бархатная темная блуза, рубаха с белым отложным воротником. На пальце сверкал тёмный перстень. Вслед за ним в библиотеку двое служителей внесли картину, задрапированную малиновой тканью. Поставили на диван, так чтобы на неё падал свет из окна, и скрылись.

- Дорогой Юрий Ильич, я счастлив, что завершил мой многодневный труд. Поверьте, никогда ещё я не работал с таким вдохновением. И теперь волнуюсь, выставляя картину на Ваш высокий суд. - Распевцев говорил, склоняясь перед Лабазовым в поклоне. И в этом степенном поклоне, в тихом рокочущем голосе присутствовали благородная величавость и придворный аристократизм.

- Для меня большая честь позировать Вам, Филипп Аркадьевич. Все, на кого падал Ваш выбор, все, кого изображала Ваша кисть, сразу же, как только выходили из Вашей студии, сразу же попадали в историю. - Лабазов произнёс это с лёгкой иронией, которая касалась, скорей, не художника, а его самого. - Я в нетерпении, Филипп Аркадьевич.

Распевцев приблизился к картине. Широким взмахом сбросил малиновый покров. И предстал холст, заключённый в пышную золотую раму. На холсте был изображён Лабазов во весь рост, в тёмном костюме и синем галстуке, каким его привыкли видеть на торжественных приёмах. Он стоял рядом с большим голубым глобусом, на котором были видны Европа и Россия. Его ноги упирались в паркет, инкрустированный дорогими породами дерева. Его лицо было спокойным и властным, в нём отразилась глубокая дума, требующая духовной тишины и гармонии. За его спиной светилось высокое окно с откинутой шторой. В окне янтарно желтел дворец с белыми колоннами, на гранитном постаменте, напоминавшем окаменелую волну, скакал на бронзовом коне Пётр. Царственный интерьер, драгоценный паркет, глобус с мировым пространством и, главное, Медный всадник, - всё говорило о великой роли Лабазова, о его воздействии на мир, на его державную связь с Петром.

- Вы мне польстили, - Лабазов рассматривал портрет, приближал и отстранял лицо. Было видно, что картина нравится. - Вы угадали, я люблю Петербург, и больше всего Сенатскую площадь.

- Я дал понять, что Вы, Юрий Ильич, восстановили великую имперскую традицию. При Вас Россия снова стала мировой державой. У меня предполагается выставка в Манеже. Прошу у Вас позволения выставить портрет, как самую дорогую для меня картину.

- Не знаю, стоит ли это делать. И так говорят, что я насаждаю «культ Лабазова». Обвиняют меня в сталинизме.

- Так говорят Ваши враги и враги России. А это одно и то же. Россия сосредотачивается, и сосредотачивается в лидере, в предводителе. В Вас, Юрий Ильич. Русский народ нашёл, наконец, в Вашем лице традиционного имперского государя. Если хотите, некоронованного царя. Но всё в руках Божьих. Как знать, не протянет ли России Господь с небес долгожданную корону?

- В Вашем лице, Филипп Аркадьевич, Россия имеет непревзойдённого художника, мыслителя, патриота.

- Мы должны вернуть народу классическое искусство. Все эти либеральные рисовальщики, пакостники, осквернители святынь наводнили музеи, выставочные залы, художественные галереи. Гнать их метлой! У меня есть мечта написать серию портретов сегодняшних русских государственных деятелей. Тех, кто окружает Вас, как преданные гвардейцы. Быть может, если такая «гвардейская серия» будет создана, мы найдём для неё помещение. В каком-нибудь торжественном здании, где происходят конгрессы, чествования. Как в Зимнем дворце галерея героев двенадцатого года. Лучшие люди России. Сыны Отчества.

- Хорошая мысль. Я подумаю, как лучше её осуществить. Среди первых картин может быть портрет Евгения Константиновича Лемехова. Он настоящий государственный деятель, настоящий «гвардеец».

Лемехов из-за стеклянной стены слышал разговор и понял, что последние слова Президента были сказаны для него.

- О, да! – воскликнул Распевцев. - Лемехов возрождает священное русское оружие. В его руке сверкает копьё Пересвета. Стану писать его портрет.

- Благодарю за Сенатскую площадь и Медного всадника. Вы получите достойное вознаграждение.

Они простились. Художник ушёл, и служители вслед за ним вынесли помпезную картину.

Лемехов собирался вернуться в библиотеку, но появился Дробинник и доложил:

- Пришёл Семён Владимирович Братков. Вы ему назначали. Пусть подождёт или может войти?

- Пусть войдёт, - Лабазов махнул рукой в сторону стеклянной двери, делая останавливающий жест.

Братков был владельцем нескольких крупнейших холдингов, которые добывали нефть, варили сталь, строили олимпийские стадионы, скупали землю в чернозёмной зоне. Он слыл загадочным другом Президента с тех пор, когда тот, ещё никому не известный военный, возводил неказистый домик в садовом товариществе. Братков помогал ему строиться, ловил с ним рыбу в озере, давал в долг. Сопутствовал Лабазову в его стремительном возвышении, получая от друга привилегии, которые сделали его одним из самых богатых людей России.

Братков влетел в библиотеку, как упругий, туго надутый мяч. Маленький, плотный, с коротким седым «бобриком», весёлыми глазками на коричневом от океанского загара лице. Казалось, его кто-то крепко пнул. Пробив дверь, он внёс в комнату звон удара и сейчас станет отскакивать от стен, потолка, пока ни иссякнет энергия толчка.

- Здравствуй, Юра, - кинулся он обниматься с Лабазовым. - Ну, как самочувствие? Ничего, ничего, молодцом. Сколько можно тебя уговаривать? Плюнь ты на всё, поедem со мной на Карибы. Остров назвал твоим именем - Юрьев остров. Дворец, порт, яхта. Поймаем тунца на полцентнера. Мулатки. Отдохнёшь недельку от своих чумных забот, - он обнимал Лабазова за плечи, заглядывал в глаза, словно хотел убедиться, здоров ли тот, в силе ли их дружба.

- Ты что хотел? – сухо спросил Лабазов, освобождаясь от объятий друга.

- К тебе не пробьёшься. Твой Дробинник, как овчарка. Ты ему скажи, чтобы своих пропускал и не лаял.

- Много работы. Времени нет совсем. Ты что хотел?

- Смотри-ка, что я тебе подарю, - Братков полез в карман и вытащил большое золотое яйцо, усыпанное алмазами. Протянул Лабазову. Тот принял и небрежно рассматривал. Казалось, подарок был ему неприятен.

- А ты раскрой, раскрой яичко! Вот здесь кнопочка.

Он помог Лабазову найти кнопочку, нажал. Яйцо растворилось, превращаясь в цветок лилии. В сердцевине цветка открылась изящная танцовщица, золотая балерина, которая стала кружиться, плескать ногами.

- Узнаёшь? – радостно хохотал Братков, - Специально для тебя изготовил.

Лабазов поморщился. Это был намёк на его затянувшуюся связь с красавицей балериной, о чём судачил весь интернет, упрекая Президента в распутстве.

Лабазов закрыл яйцо и небрежно положил на стол:

- О чём ты пришёл просить?

- Пустяк, не стал бы тебя беспокоить. Хочу купить нефтеперегонный завод в Беларуси. С «батькой» договорился, уломал. Он упёртый, цену заламывал, но вроде бы сговорились. И вдруг отбой. Что такое? Оказывается, наш-то друг закадычный, Вещий Олег, Олежка наш лупоглазый, у которого зенки алюминиевые, договорился за моей спиной с «батькой». За ту же цену. Но на тебя ссылаясь, дескать, ты заинтересован в покупке. И «батька», который, от тебя очередной кредит ожидает, переиграл сделку в пользу Олежки. Так я о чём прошу. Ты цыкни на Лупоглазого, чтобы не щеголял твоим именем. Он, где надо, дружбой твоей щеголяет, а в других местах кроет тебя почём зря, - Братков возмущался вероломством бывшего друга, старался заразить Лабазова своим возмущением. – Он ведь, знаешь, о чём, подлец, говорит? Что ты его избрал своим преемником. Что, дескать, ты устал, хочешь уйти из Кремля. Уехать со своей балериной куда-нибудь в Альпы. И там кататься на лыжах, любоваться ледниками, озёрами. Балерина будет танцевать для тебя босиком на альпийских цветах.

Братков воздел руку, изображая танцовщицу, но не подпрыгнул, не ударил ножкой о ножку, а тронул Лабазова за рукав:

- Юра, поговори с лупоглазым. Он ведь предатель. Мне этот заводик позарез нужен, а ему соликамского калия хватит. Он – Иуда, а я твой верный друг.

Лабазов сбросил с рукава пятак Браткова, отряхнул пиджак, словно на нём оставалось пятно.

- Он предатель, а ты, Семён, мой верный друг? – глаза Лабазова стиснулись, превратились в узкие щели, в которых исчезли зрачки. Губы растянулись в волчьей улыбке, предвещая вспышку гнева. И Братков, зная эти приступы бешенства, повернулся к Лабазову боком, подставляя плечо под жестокий укус.

- Ты говоришь, что безмерно мне предан? Но разве не ты тайно финансируешь этот жидовский телеканал «Золотой дождь», где меня называют фашистом и людоедом?

- Побойся Бога, Юра! Это клевета! Это лупоглазый марает меня, вбивает клин в нашу дружбу.

- Молчать! – тихо, с сильным свистом в горле, произнёс Лабазов, - А разве не ты тайно посылаешь деньги всей этой болотной сволочи, и они устраивают свои собачьи марши и вешают моё чучело, будто я – нюрнбергский преступник?

- Да что ты! Да Господи! Да это враги! Если не Лупоглазый, то Железнодорожник! Он на своих «Сапсанах» совсем очумел. Он говорит, что ты его выбрал преемником.

- Молчать! – губы Лабазова побелели, и его длинная улыбка стала ещё страшнее. - А разве не ты подкармливаешь сайты, на которых распространяются обо мне всякие гадости. Что будто бы я зазываю к себе в резиденцию балерин, и они танцуют передо мною голые. Что я держу в клетках маленьких птичек, ощипываю их живыми и наслаждаюсь их писком, их мучениями. Что у меня рак в последней стадии, я едва хожу, и скоро уйду из Кремля. Не твоих рук дело?

- Юра, клянусь! На иконе клянусь! Наговор! Хотят нас посорить! Это Узбек ненасытный, которому шашлыки продавать, а ты ему всю русскую сталь подарил! Или Торговец оружием, у которого из жопы ворованный ствол торчит! Или этот Иудей с тройным гражданством, который всё русское золото под себя подобрал! Они тебя ненавидят, метят на твоё место. Знают, что я тебе настоящий друг, и хотят нас посорить. Чтобы ты остался один! – глаза Браткова трусливо скакали, как у раненного зайца, который ожидает выстрела. И одновременно зло и безумно блестели, как перед последним предсмертным броском. Но выстрела не последовало. Гнев Лабазова вдруг иссяк и свернулся, как сворачивается молоко. Сменился больной усталостью, жалобной укоризной:

- Как вы меня обманули! Вы были мелкими офицерами, жалкими цеховиками, жуликоватыми клерками. Я дал вам всё. Русскую нефть и газ. Русский никель и алюминий. Русскую сталь и чернозём. Я передал вам русские железные дороги и порты. Русское золото и алмазы. Я хотел, чтобы вы стали опорой государства, руководили промышленностью, определяли политический процесс. Вместо этого вы вывезли все ценности за границу, вывели свои миллиарды в офшоры, купили острова на Карибах, дворцы в Эмиратах, футбольные клубы в Испании и Англии. И теперь интригуете против меня, примериваете на себя Кремль, рвётесь каждый стать наследником. Вы дикие и алчные ничтожества, разорвёте Россию на части. Если я исчезну, вы устроите гигантскую бойню, потопите Россию в крови. Вы привозите в Россию то Благодатный огонь из Иерусалима, то Пояс Богородицы с Афона, но вы несёте в Россию гибель. И некому вам сказать: «Покайтесь, ехидны!» Некому отрубить ваши ядовитые щупальца! – Лабазов осунулся,

пожелтел. Лицо усохло и постарело. Виски ввалились, и на них мучительно запульсировали синие жилки. Он выглядел больным и беспомощным. И это приободрило Браткова, вернуло ему смелость и упрямую наглость:

- Ты ведь тоже хорош, не белым пушком покрыт. Каждая третья капелька нефти, которая из России течёт, кому она в карман капает? С каждого самолёта, с каждой ракеты и пушки кому «оборонный процент» поступает? Мы по твоему приказу самых козырных тузов из нашей колоды выкинули. Один в Лондоне под камнем лежит, другой в зоне баланды всласть нахлебался. А их-то бизнес к кому перешёл? Так что пока ехиднам не время каяться!

Братков блестел белыми вставными зубами. Наслаждался видом немощного Лабазова, из которого, казалось, истекает жизнь.

- Вон! – прошептал Лабазов, хватая себя за кадык. Набрал в грудь воздух и шумным, свистящим шепотом повторил: - Вон! – Жадно хлебнул воздух, проталкивая сквозь горло мешающий кляп, и дико, выпучивая глаза, краснея от хлынувшего гнева, закричал: - Вон отсюда!

Братков сжался, превратился в упругий мяч и вынесся из комнаты. Вслед ему полетело, ударилось о дверь яйцо с бриллиантами. Из расколотого яйца выпала золотая балерина. Шевелилась на полу, дёргала ногами, тянула руки, похожая на раздавленную жужелицу.

Лемехов тайлся в укрытии, не понимая, зачем Лабазов делал его свидетелем этих безобразных пререканий. Открывал подноготную своих отношений с ближним кругом.

Уже собирался вернуться в библиотеку, но вновь возник генерал Дробинник и доложил:

- Юрий Ильич, в приёмной ждёт Орех Владлен Леонидович. Прикажете подождать?

- Зови, - Лабазов ногой заталкивал под диван шевелящуюся балерину.

Орех появился в туго застёгнутом чёрном пиджаке, в тёмном галстуке, с аккуратной папочкой в руках. Он был лыс, с тонкими белёсыми волосами, зачёсанными от уха до уха, не скрывавшими розовую кожу черепа. В его движениях была осторожность и зыбкость, позволявшая мгновенно откликаться на волю руководителя. Так чуткая морская водоросль реагирует на проплывающую рыбу.

Орех был заместителем главы администрации, отвечал за внутреннюю политику, за общественные проекты и избирательные компании. Сейчас ему поручили создать новое общественное движение в поддержку Президента. Популярность Лабазова заметно таяла, а правящая партия всё больше теряла у народа доверие.

- Ну, как, Владлен Леонидович, идёт созидание нового храма? Какая архитектура? Какой строительный материал? – Лабазов не без труда сбросил личину гнева и казался приветливым и весёлым. - Ведь Вы знаменитый каменщик, не так ли?

- Уж Вы скажете, Юрий Ильич! Разве я масон какой-нибудь? - живо откликнулся на шутку Орех.

- Я имел в виду, что Вы каменщик, который не разбрасывает камни, а собирает. И что Вы там насобирали? – Лабазов усадил Ореха за овальный стол из карельской березы, сам присел рядом. - Что Вы там надумали?

Орех раскрыл заветную папку, извлёк несколько листов.

- Вот, Юрий Ильич, план мероприятия, - Орех робел, предъявляя на суд начальника своё творение.

- Во-первых, мы решили назвать наше общественное движение «Народным ополчением». Ополчение в защиту Президента. Как Минин и Пожарский. Идём освобождать Москву, да и всю Россию, от либеральных захватчиков. Как Вы, Юрий Ильич, утверждаете «Народное ополчение»?

- А что, хорошее название, - одобрительно кивнул Лабазов.

- Тогда пункт второй, - Орех осмелел, расправил плечи, голос зазвучал твёрже. - Народ собирается на Красной площади, у памятника Минину и Пожарскому, и пятью колоннами идёт к Манежу. У каждой колонны свой лидер. Ну, там, известный артист или врач, или олимпийский чемпион, или телеведущий. Все идут к Манежу, несут гербы городов. Как воинство со щитами и знамёнами. Изображения львов, орлов, горностаев, оленей, и прочее.

- Орех не изображён? – мило пошутил Лабазов.

- Ну, нет, на гербах нет ореха, - Орех совсем осмелел от шутки Президента, - Рассказываю дальше. С песнями, скандируя: «Лабазов! Лабазов!» все приближаются к Манежу.

- Неплохо, неплохо, - поощрял Лабазов.

- А разве у нас может быть плохо? – весело, с долей развязности, хохотнул Орех, - Итак, колонны входят в Манеж и выстраиваются перед трибуной. У каждой колонны есть свой поэт,

который читает стихи. Стихов ещё нет, но что-нибудь вроде этого. «От Байкала, от Урала // Мы прогоним либерала». Или такое: «И солдаты, и студенты // Защищаем Президента». Но это, конечно, «рыба». Стихи напишут настоящие поэты.

- Да и это неплохо, - Лабазов одобрял творчество старательного Ореха.

- И, наконец, кульминация! – Орех приподнялся, взмахнул рукой, как это делает конференсье, приглашая на сцену артиста. - Появляетесь Вы, Юрий Ильич. Может быть, в кольчуге и шлеме. Или, если это слишком театрально, в обычном строгом костюме. И кто-нибудь из колонн, может быть, седобородый старик или женщина, символизирующая Родину-мать, вручает Вам меч. Символ защиты государства.

Орех торжественно посмотрел на Лабазова, как если бы уже теперь вручал ему меч-кладенец.

Лицо Лабазова, минуту назад выражавшее снисходительное одобрение, вдруг сморщилось. Его перекосила гримаса брезгливости и отвращения.

- Какая пошлость! Какая тупая безвкусица! Прокисший борщ! Протухшая рыба! За что мне такое?

Он отпихнул папку, и листки посыпались на пол. Орех растерянно, с дрожащими руками, стал подбирать листки.

- О чём я вам говорил при нашей последней встрече? Мне не нужны бутафорские представления, какие устраивают в провинции на «День города». Мне не нужна организация всё из тех же, перебегающих из партии в партию наёмников. Мне нужна «партия нового типа»! Мне нужен «орден меченосцев»! Мне нужны опричники и гвардейцы, - Лабазов метался по комнате, давя разбросанные по полу листки, едва не наступая на пальцы Ореху. – Мне нужна партия-топор, которая отрубит щупальца у осьминога коррупции! Мне нужна партия-копё, которая вонзит острие в ядовитые языки либералов! Мне нужна партия-ракета, которая унесёт нас в новую Русскую Цивилизацию! Мне нужна партия-лазер, которая выжжет глаза врагам России, откуда бы эти глаза ни смотрели! Мне нужен человек, который создаст такую партию! А всякие жёлуди, орехи и тыквенные семечки мне не нужны! Ступайте и больше не приходите ко мне со своими дурацкими проектами! Ненавижу козьи орехи! – Лабазов произнёс это вслед убежавшему «ополченцу», затаптывая лежащий на полу листок, - Евгений Константинович, выходите из своего зазеркалья.

Лемехов вернулся в библиотеку, ошеломлённый тем, что видел и слышал. Лабазов умышленно сделал его свидетелем трёх аудиенций.

- Теперь Вы видели, кто меня окружает. Лъстецы, предатели и идиоты. Нет людей! Пустыня! Вы один. Вы делаете дело, от которого зависит судьба государства. Я верю Вам. Не обманите меня!

- Я Вас не обману, не предаю, Юрий Ильич.

- Вы моложе меня, сильнее. Я отношусь к Вам, как к сыну.

- Надейтесь на меня, - взволнованно произнёс Лемехов, испытав к Лабазову внезапное обожание.

- Я Вас вызову позже!

Лемехов шёл через Ивановскую площадь, среди белизны и туманного золота.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

В Северодвинске, на заводе «Севмаш» готовились к торжеству. Спускали на воду стратегическую подводную лодку новейшего класса «Борей», которая резко усиливала мощь военно-морского флота, ослабленного в годы разрухи. Эта лодка несла в своих шахтах шестнадцать баллистических ракет. Была способна пускать их из-под воды. Проталкивать в огненную полынью сквозь полярные льды. Посылать шестнадцать чудовищных взрывов американским городам, преодолевая заслон враждебных антиракет.

Эта лодка была аргументом на переговорах с Америкой, касались ли эти переговоры проблемы Сирии или соблюдения прав человека в России. Эта лодка убеждала соперников в том, что права человека в России соблюдаются, и что Сирия и впредь может чувствовать поддержку России. Спуск лодки отслеживали все разведки мира, освещали военные аналитики всех крупных держав. Лемехов летел принимать это грозное оружие, плод непомерных усилий промышленности, науки и флота.

Он вылетал из «Внуково», с правительственного терминала, где его поджидала свита чиновников, пул журналистов. Персональный самолёт был готов к взлёту. Заместитель Двустиков делал краткий доклад, пока Лемехов в зале ожидания пил чашечку кофе.

- Академики, командующий флотом, представители Генерального штаба уже на верфи. Они вылетели из Петербурга своим бортом. У нас почти все в сборе. Не хватает одного человека.

Двустиков стоял у столика, слегка склонившись, и Лемехов не предлагал ему сесть. У Двустикова было вытянутое лицо с утиным носом, близко посаженные, пугливые глаза, хрящевидные, плотно прижатые уши. Иногда, в моменты возбуждения, от него начинал исходить острый уксусный запах. Зная за собой эту неприятность, он душился одеколоном. Двустиков был сокурсником Лемехова, когда оба учились в Дипломатической академии на факультете геополитики. Двустиков, провинциальный абитуриент из Самары, ещё на вступительных экзаменах преисполнился обожания к Лемехову, который помог ему написать сочинение. С тех пор он следовал за Лемеховым, как тень.

Обожал в нём ум, великолепную внешность, лёгкость таланта, неизменность успеха, с которым тот преодолевал одну препону за другой. Лемехов позволял себя обожать, пользовался преданностью Двустикова, увлекал за собой в стремительный карьерный полёт. Так стальная игла прокалывает твёрдую ткань, продёргивая мягкую нить. Их отношения не являлись дружбой, как не являются дружбой отношения берёзы и подберезовика. Двустиков, как правило, называл Лемехова по имени-отчеству, и лишь в редкие минуты воодушевления, во время фуршетов, чокаясь с ним, говорил ему: «Женя».

- Все готовы, Евгений Константинович. Нет лишь одного человека.

- Кого?

- Верхоустина Игоря Петровича.

- Кстати, я просил Вас, Леонид Яковлевич, навести о нём справки.

- Я навёл. Могу зачитать резюме.

Двустиков извлёк свой неизменный блокнотик с золотой ручкой, вставленной в кожаную петельку.

- Верхоустин Игорь Петрович. 1963 года рождения. Русский. Имеет в роду священников. Кончил филологический факультет Университета. Участвовал в фольклорных экспедициях на Север, где записывал русские песни. Работал на археологических раскопках в Новгороде, где искал берестяные грамоты. Уехал в Америку и стажировался в Йельском университете на факультете социальной психологии. Вернувшись в Москву, работал в аппарате ЦК КПСС в идеологическом отделе. Участвовал в написании «Слова к народу», которое называли манифестом ГКЧП. После ареста путчистов уехал в Мексику, где участвовал в конгрессе колдунов. Вернувшись в Россию, работал в пиар-агентстве, выполняя задания банков и корпораций. Прочитал несколько лекций в Академии ФСБ и в МИДе. Сейчас вольный художник, помогает устроителям выставок современного искусства.

Двустиков кончил читать, сохраняя позу полупоклона.

- Станный пушкинист, - произнёс Лемехов, поднося ко рту чашечку кофе. И в этот момент в зал ожидания вошёл Верхоустин, в плаще со следами дождя, с кожаным баулом на колёсиках. На бледном лице странно, неправдоподобно светились васильковые глаза.

- Слава Богу, не опоздал. Шофёр такси не сразу нашёл дорогу. Нечасто летаю правительственными рейсами. - Он пожимал Лемехову руку, и пожатие его было мягким, осторожным, словно он боялся боли.

Пригласили на посадку. Щеголеватый командир корабля перед трапом рапортовал Лемехову. Журналисты с аппаратурой и чиновники с портфелями разместились в основном салоне. А Лемехов и Верхоустин заняли место в переднем отсеке, украшенном кожей и дорогим деревом. Милая стюардесса постелила на столик крахмальную скатерть. Самолёт разбежался, звонко взлетел. Аэродром отпрянул вниз, и открылись тёмно-золотые осенние леса с затуманенными синими елями, тусклый блеск воды. Всё померкло, погрузилось в клубящиеся тучи, плеснувшие в иллюминатор длинные брызги. А потом сверкнуло солнце, и вся угрюмая холодная осень и гнетущий сумрак остались внизу, за непроглядной пеленой. Самолёт летел в прозрачном звоне, окружённый лазурью. На белом крыле переливался лучистый свет.

Стюардесса расставляла тарелки и хрусталь. Раскладывала приборы. Ставила блюда с чёрной и красной икрой, с ломтями рыбы и балыка. Наливала французский коньяк в хрустальные рюмки.

- Ну, что ж, за Александра Сергеевича Пушкина? – шутливо произнёс Лемехов, чокаясь с Верхоустиным.

- «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» - ответил в тон ему Верхоустин.

Они молчали, наслаждаясь легчайшим опьянением, будто кто-то провёл перед глазами нежной рукой, и всё стало ярче, отчётливей.

- Мы сейчас взлетали, и я подумал, какая мучительная красота в этих осенних русских лесах, в сырых полях, - произнёс Верхоустин. - Словно твоя душа навеки покидает любимую землю. У нашего знаменитого художника Распевцева есть портрет Раушенбаха в период его болезни. Великий физик в больничном халате, с огромными измученными глазами летит над осенними рощами, седыми озёрами, вьющимися дорогами. Расстаётся навек с этой прекрасной землёй. Распевцев словно знал, что Раушенбах скоро умрёт, и сделал его прощальный портрет.

Васильковые глаза Верхоустина были мечтательны и печальны. А Лемехов вдруг вспомнил свой недавний визит к Президенту. Как в библиотеку служителя внесли портрет в золотой раме, где Лабазов красовался на фоне Медного всадника. И его лицо было исполнено надменного величия.

- Я только что видел картину Распевцева, на которой изображён Президент. Слава Богу, его глаза не были измученными и больными.

- Я тоже не верю слухам о его нездоровье. Хотя в одной компании, в узком кругу, я слышал, что будто бы по воле Президента создаётся тайный проект под названием «Бессмертие». Президент якобы серьёзно болен, и ищет эликсир долголетия и бальзам бессмертия. К проекту привлечены лучшие биохимики, врачи, генетики, молекулярные биологи, специалисты по пересадке органов. Там работают создатели искусственного интеллекта, психологи, специалисты по образам. В проект приглашены богословы, шаманы, последователи Николая Фёдорова, знатоки волшебных технологий. Финансируют проект наши виднейшие олигархи. Кстати, об этом проекте рассказывал Семён Владимирович Братков, который, похоже, и сам участвует в его финансировании.

У Лемехова дрогнуло сердце. Верхоустин со своими младенчески синими глазами опять назвал человека, побывавшего в кремлёвской библиотеке. Это могло быть совпадением, но это совпадение испугало.

- Бессмертие нужно человеку, который осуществляет какой-нибудь громадный, длящийся бесконечно замысел, - Лемехов не обнаружил испуга. - Одной жизни такому человеку не хватит. И второй тоже не хватит. Такой, рассчитанный на вечность, замысел осуществляет, должно быть, только Господь Бог. А наши олигархи, такие, как Братков, хотят бесконечно вкушать экзотические яства, наслаждаться без усталости женщинами, обзаводиться всё большим количеством яхт, машин, самолётов. Но для этого не стоит жить вечно. Президент Лабазов имеет большой проект. Для его реализации не хватит одной жизни. И поэтому он ищет себе преемника. Но уж, конечно, не

Браткова.

Верхоустин смотрел в иллюминатор, вёл глазами, и, казалось, солнце перемещается за его взглядом. Проникло в салон и засверкало в хрустальной рюмке. Лемехову было больно смотреть на это сверкание.

- Мало кто из людей способен на большие проекты. Казалось бы, судьба даёт им такую возможность. Но они уклоняются, бегут, занимаются пустяками. Один видный чиновник из Администрации Президента, кому поручено заниматься внутренней политикой, признался мне, что его не интересует политика, а он всю жизнь, с самого детства, коллекционирует фантики от конфет. И у него, должно быть, самая большая в мире коллекция фантиков.

- Как имя чиновника? – замирая, спросил Лемехов.

- Валентин Леонидович Орех.

Они молчали. Солнце ушло из рюмки, и Верхоустин не пытался вернуть его обратно в хрусталь. Лемехов был подавлен. Странная связь обнаружилась между ним и сидящим напротив человеком. Эта связь была неявной, проявилась в трёх странных совпадениях, словно Верхоустин каким-то чудесным образом присутствовал в той кремлёвской библиотеке. Или имел дар ясновидения. О чём говорили его странно-голубые глаза, которыми он проникал в глубину чужого сознания.

- Россия тоскует по Большому проекту, - сказал Верхоустин. - Она заждалась Большого проекта. Русская история ищет для себя просторное русло, а её заталкивают в мутную заводь. Русская история попала в мутную заводь и ходит в ней по кругу. В этой заводи, где нет протоки,

вода застоялась и заболотилась. В ней появилась тина и сине-зелёные водоросли. Уже три десятилетия Россия опутана сине-зелёными водорослями. В неё вцепились раки, жуки-плавунцы, ядовитые личинки. Россия ждёт, когда хлынет вольный поток. Русская история стремится найти широкое русло, – Верхоустин говорил спокойно, и его бледное сухое лицо казалось застенчивым, словно ему было неловко выступать в роли проповедника.

- Повторяю, Президент Лабазов имеет Большой проект, – Лемехов изумлялся тому, что сидящий перед ним человек угадывает его скрытые мысли. Что его пронизательные голубые глаза разглядели неясные тревоги и разочарования, которые Лемехов гасил в крошечных трудах. – Через час мы увидим, как на воду спускают изделие, переводящее Россию в новую цивилизацию.

- Россия сама – грандиозный корабль, севший на мель. Нужен огромный прилив, непомерная волна, чудовищный удар океана, чтобы Россия сошла с мели. Президент Лабазов чувствует необходимость Большого проекта. Но у него не хватает воли. Слишком много душевных и физических сил он потратил на сиюминутные нужды. Слишком часто он упивался властью, играл в неё, использовал власть для утоления личных капризов. Властью невозможно играть. Она не терпит игры. Она ускользает из рук тех, кто в неё играет. И тогда незадачливый игрок слышит, как в кремлёвские ворота ломаются заговорщики. Он слышит ропот бунта. На него со всех сторон смотрят глаза предателей. И эти глаза ищут, где у него на шее бьётся синяя жилка, чтобы легче её перерезать.

- Вы говорите так, словно всю жизнь изучали природу власти, – Лемехов чувствовал исходящую от Верхоустина опасность. Эта опасность таилась в синих глазах, одиноко сиявших на бесцветном лице. Эти глаза только что водили солнцем, заманили светило в салон самолёта, заключили в хрустальную ловушку. Теперь эти глаза вели его, Лемехова, и он слабо сопротивлялся.

- У меня был в жизни период, когда краткое время я работал референтом идеологического отдела ЦК. С этого скромного места мне открывалась вся картина последней советской схватки. Я видел людей, которые участвовали в ней. Я помогал тем, кто старался сохранить государство. Я написал им бумагу, которую потом называли историческим манифестом, предвестником путча. Это был переломный момент. Кончился один Большой проект, и Россия нуждалась в другом, не менее великом, чем прежний. Русская история упёрлась в плотину и искала для себя свободное русло. Искала человека, который вместил бы в себя всю мощь исторического потока. Мне казалось, что среди членов ГКЧП есть такой человек, обладающий исторической волей. Что его избрала история в качестве нового русла. Но я ошибся. Среди последних советских вождей не нашлось такого, в ком история обрела бы свой путь к океану. И она хлынула в мелкие протоки, которые вели в болото. Горбачёв и Ельцин – это мнимые русла русской истории, которые привели её в гнилую заводь.

- А Президент Лабазов?

- Казалось, что в нём русский поток обрёл, наконец, свой выход в океан. Но и он оказался мнимым. История отхлынула от него, и мы видим, как на высохшем дне поблёскивают мелкие ракушки его суетливых дел.

Опасность нарастала. Лемехов чувствовал гипнотизм васильковых глаз. Чувствовал, как в его сознание бросают таинственные семена, и они начинают прорастать. Грозят превратиться в ядовитый цветок, от которого яд расточится по всей его жизни, отравит его бытие.

- Кто же может стать руслом русской истории? – невнятно спросил Лемехов.

- Быть может, Вы.

- Мне кажется, теперь, как и четверть века назад, Вам свойственно заблуждаться, – нервно засмеялся Лемехов.

- Тот нищий у входа в храм. Тот юродивый, как в пушкинском «Борисе Годунове». Быть может, в его безумном рассудке открылась истина?

Верхоустин повернул лицо к иллюминатору. Устремил взор вниз, где тянулся серый рыхлый покров облаков. Лемехов следил за его зрачками. И вдруг, под воздействием этих зрачков, серый покров распался. И открылась земля, в золотых необъятных лесах, с тёмными, похожими на синие тени, еловыми борами, лазурными озёрами. Солнце сквозь тучи посылало на землю пышные снопы лучей. И там, где лучи касались земли, всё переливалось, дышало, сверкало. Душа Лемехова вдруг восхитилась, словно там, на земле, ему была уготована небывалая, исполненная красоты и величия доля. Это прозрение в небесах, продолжалось мгновение. Облака сомкнулись. Золотая земля пропала. Только в душе продолжалось ликование, звучала чудесная музыка.

Самолёт пошёл на снижение, опускался на дождливый бетон среди жёлтого мелкокося.

С аэродрома колонной машин отправились на завод. Цех - огромное потное чрево, в котором, как громадные зародыши, зреют подводные лодки. Закопчённое стальное нутро, в ядовитых отсветах, с конвульсиями бегущих огней. Запах горелой стали, газа, сладких лаков, едкой сукрови, выступающей на бетонных стенах. На стапелях – лодки. Присосались к дышащей матке, наращивают плоть, пульсируют, как ненасытные эмбрионы. Одна, ржаво-красная, покрытая суриком, в сварных пухлых швах, с тёмными пустыми провалами. У другой – белый титановый корпус с пуповинами кабелей, труб. Жадно пьёт электричество, газ, сжатый воздух. Третья, чёрная, смоляная, покрыта вязкой резиной, с горбатой рубкой, в которой шипит синее пламя сварки. Винт в корме похож на латунный цветок.

Готовая к спуску лодка – непомерно огромная, как чёрная гора, с горбами и выступами. Живая, угрюмая, в устрашающей неподвижности, она похожа на гигантский мускул, способный сдвинуть с места планету. На чёрной бортовине бело-красная, славянскими буквами, надпись: «Державная», и драгоценная, как бриллиант на тёмном сафьяне, икона. Люди, собравшиеся у борта, кажутся песчинками, прилипшими к глянцевиной коже кита.

Лемехов, в пластмассовой каске, стоял в окружении адмиралов, конструкторов, представителей министерств и ведомств. Главнокомандующий флотом, седеющий, с бронзовым лицом, взволнованно смотрел на атомную громаду, поступающую в распоряжение флота. Старый академик, автор проекта, бессильный и немощный, опирался на трость. Преодолев недуг, прилетел полюбоваться на любимое детище. Губернатор, бородатый, лобастый, похожий на медведя, горделиво оглядывался, давая понять, что такое изделие могло быть создано только в его вотчине. Директор завода, утомлённый бессонными ночами, выглядел счастливым и торжествующим в этот победный час. Владыка был в золотом облачении, которое казалось солнечным слитком на фоне чёрной, как вар, лодки. Оркестр приготовился дуть в медные трубы, грохотать тарелками, стучать в барабаны. Тут же телеоператоры готовили свои камеры, репортёры мерцали вспышками. Поодаль, в белых касках и робах, стояли рабочие, изготовившие эту лодку, которая мрачно, забыв о своих творцах, была готова порвать пуповину.

Лемехов уже побывал на лодке, на всех её уровнях, во всех отсеках. Был пропитан запахами краски, лаков, холодной стали. Он прошагал по палубе, где круглились шестнадцать люков, закрывавших пусковые шахты. Люки напоминали клапаны чудовищной флейты, под звуки которой мир закроет свои опалённые глаза. Лемехов касался ладонью стальной плиты, за которой таились пусковые шахты, ожидавшие шестнадцать ракет, громадных, как колокольни. Реактор, ещё без топлива, окружённый поясами защиты, уже испускал таинственное излучение, и Лемехов, заглядывая в тугоплавкое смотровое стекло, чувствовал сверхплотный сгусток энергии, который толкнёт громаду во тьму подводных течений.

Он чувствовал лодку, как вместилище огромных знаний, скопление небывалых открытий, воплощение чудесных прозрений. Каждый прибор, каждая клавиша, каждый мотор и компьютер были итогом великих трудов, неповторимых умений. И он, Лемехов, своей волей и страстью сводил воедино работу тысяч заводов, усилия бесчисленных институтов и лабораторий. Сжимал в кулаке разбегающуюся галактику производственных конфликтов, ведомственных распри. Одолевал хаос, своеволие и беспомощность. Это была и его лодка. Триумф его организационных дерзаний, государственных представлений. Лодка, в своей стомерной сложности и могуществе, и была государством. Имя «Державная» с бриллиантовой иконой делало лодку священной опорой Государства Российского.

Он первым подошёл к микрофону, и его слова, металлически-чёткие и звенящие, улетали в даль цеха, сливаясь с туманным эхом.

- Я поздравляю великий коллектив великого завода. Лодки и корабли, уходившие с этой северной верфи в мировой океан, обеспечивали свободу и независимость России среди бурь мировой истории. Эта лодка всеми тысячами своих деталей и элементов - ракетами и компьютерами, бесшумными винтами и системой космической связи, реактором и лопатками турбин - подтверждает способность России создавать изделия двадцать первого века. Подтверждает, что наш народ – по-прежнему самый талантливый и трудолюбивый народ в мире. Я передаю вам поздравления нашего Президента, который внимательно следил за строительством лодки, и для которого её спуск на воду является личным праздником. Спасибо, братья! – эти слова он произнёс, воздев вверх кулак. Ему аплодировали. Вспыхивали блицы, мерцали окуляры. Лодка

слушала его. Казалось, хотела запомнить речь своей угрюмой памятью, чтобы унести в чёрные глубины.

Вторым говорил академик. Он опирался на палку. Руки его тряслись. В голосе дребезжало множество трещинок.

- Такой лодки нет у американцев. В этом я вас уверяю. Построив эту лодку, мы обеспечили мир нашим детям и внукам. А я уже дед восьми внуков. Может быть, она всплывёт ненадолго у Калифорнии и передаст американцам наш пламенный привет. Эту лодку мы продолжали строить в самые чёрные годы, чернее не бывало. Строили бесплатно, натошак. Многие не дожили. Они бы сейчас порадовались. Порадовались бы и наши великие флотоводцы, такие, как адмирал Горшков. Жизнь кончается, а замыслы продолжают рождаться. Хорошо, что в науку идут молодые. Очень хорошо, - академик закашлялся, из старческих глаз потекли слёзы, и он отошёл, опираясь на трость.

Лодка слушала его, и казалось, на её черных бортах, как барельефы проступают лица учёных, инженеров, адмиралов, и среди них – тяжёлое, с насупленными бровями, лицо адмирала Горшкова.

Говорил Главком флота. Его бронзовое лицо было властным и торжественным. Лодка поступала в его распоряжение, резко наращивая мощь военно-морских сил. Она пополняла стадо, которое паслось в мировом океане. Он знал, в какие районы мира уйдёт стратегический крейсер, невидимый для спутников и самолётов противника, не оставляя среди течений ни звука, ни тепловой борозды, ни следов радиации. Лодка была воплощением войны и гарантом мира, и эта двойственность странно присутствовала в лице Главкома.

- Флот благодарен заводу, товарищи! Благодарен рабочим и инженерам! Благодарен великому ученому! - он поклонился академику, который отирал платком слёзы. - Вы должны быть уверены, товарищи, что экипаж будет беречь лодку, как драгоценность. А в час «Ч» выполнит свой долг до конца. Евгений Константинович, прошу передать Президенту, - он поклонился Лемехову, - что флот чувствует его заботу, его вклад в обороноспособность Родины.

Выступал губернатор. Его короткая борода упрямо торчала. Ноги, когда он подходил к микрофону, слегка косолапили, и это ещё больше усиливало его сходство с медведем.

- Мы северные люди, и ближе всех к Полярной звезде. Здесь были созданы прекрасные песни и сказы. Здесь родился великий Михайло Ломоносов. Здесь поморы ходили на ладьях к Северному полюсу. Эта лодка прекрасна, как северная песня и северный сказ. А вы, мои дорогие, - он поклонился рабочим, - наши песенники и сказители!

- А мы, заводчане, говорим Вам, Евгений Константинович, - обращался директор к Лемехову, - давайте нам больше заказов. Мы их все примем и выполним во славу Отечества!

Владыка, сияя облачением, приступил к освящению лодки. Его иконописное лицо было строгим и благоговейным. Голос рокотал, взлетая к стальным перекрытиям цеха. Чёрная машина молча внимала.

- Господи Боже наш, седяй на Серафимах и ездая на Херувимах, мудростью украсивый человека, ниспосли благословение Твое на судно сие и Ангела Твоего к нему пристави, да шествующие в нём им хранимы и наставляеми, в мире и благополучии путь свой совершивши.

Владыка принимал из рук священника кропило, окунал в чашу с водой, кропил лодку. Брызги летели в собравшихся. Лемехов, чувствуя на лице холодные капли, думал, что молитва уплывёт вместе с лодкой в пучину, сбережёт экипаж среди смертоносных стихий.

Директор завода замахал руками, подавая знаки рабочим в касках. Сразу три бутылки шампанского разбились о корму, нос и борт лодки, брызнули стеклом, белой пеной, под крики «ура». Сверкали вспышки, операторы сновали вдоль борта.

Заместитель Двulistиков подал Лемехову кусок мела. Лемехов подошёл к чёрному, нависшему борту и старательно, крупными буквами, как школьный учитель на доске, вывел надпись: «Не валяй дурака, Америка!» И все вокруг ликовали, хлопали. Операторы и фотографии снимали эту хлесткую имперскую надпись.

Оркестр грянул государственный гимн, и над лодкой стал подниматься трёхцветный флаг. Чтобы потом, когда лодка, пройдя все испытания, поступит на вооружение флота, над ней вознёсся, заструился своим синим крестом Андреевский стяг.

Медленно растворялись ворота цеха. В тёмный металлический воздух ворвался ветер и свет. Осеннее солнце играло на далёких водах, и в тусклом серебре металась чайки. Лодка дрогнула, словно почуяла стихию, которая ждала её в свои сокровенные глубины. Заскрипели

невидимые катки, задрожали железные фермы, и под медный гул, звяк тарелок, бой барабана, лодка пошла из цеха.

Лемехов заворожённо смотрел на движение выпуклого бархатно-чёрного борта, на драгоценную надпись: «Державная». Непомерная тяжесть, слепая мощь перемещались под воздействием неведомой воли. Чтобы наполнить мир своим чудовищным механизмом, передвинуть ось, вокруг которой вращается шар земной.

Лемехов вдруг увидел Верхоустина. Его лицо было пугающе белым, исполнено великого напряжения. На этом белом, с серебристым оттенком, лице пламенели синие глаза. Он поводил взглядом вдоль борта, усилием зрачков толкал лодку, и она, повинувшись этому иступлённому взгляду, двигалась, ускоряла скольжение. Верхоустин выводил лодку из цеха. Его взгляд был способен двигать солнце в небе, перемещать непомерные массы земной материи, вторгаться в глубины чужого сознания. Лемехов прогнал наваждение. Повернулся к директору, чьё утомленное лицо помолодело.

Лодка, покинув цех, переместилась в док, чтобы вместе с доком уйти на глубину и в пене и грохоте, в зелёных водоворотах, всплыть, покачивая чёрными глазированными бортами. Два неторопливых буксира потянут её на водную ширь, и она, облизанная водой и солнцем, затемнеет, как рукотворный остров.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

После торжественной церемонии состоялся фуршет. В здании заводоуправления были накрыты столы. Расставлены мясные и рыбные закуски, фрукты, бутылки. Толпились инженеры, конструкторы, начальники цехов, мастера. Среди пиджаков и галстуков виднелись морские мундиры. Батюшка, служивший в заводском храме, блестел золотым крестом. Разливали напитки, чокались, преодолевали смущение, шумели, гомонили. Раздавался смех, здравицы.

Один из столов был сдвинут в сторону, и подле него стояли Лемехов, руководство завода, губернское и городское начальство, приехавшие гости. Лемехов выделялся своим ростом, вольными движениями, элегантным костюмом, шёлковым, небрежно повязанным галстуком. Он источал благодушие, был приветлив, доступен. Чувствовал, как все исподволь за ним наблюдают. Делал вид, что не замечает этих испытующих, ищущих взглядов. Он уделял внимание всякому, кто к нему подходил. Прикасался своим бокалом к протянутой рюмке.

Директор порозовел от выпитой водки, воодушевлённый и осмелевший. Был человеком, который прорвался сквозь громаду непосильных трудов, опасных рисков, непреодолимых препятствий. Теперь он был победитель:

- А всё-таки мы сделали это, Евгений Константинович, - его рюмка расплёскивала водку, а в хрустальном бокале Лемехова золотилось шампанское. - Я свечи в храме ставил, Богу молился. Но не Бог помог, а Вы, Евгений Константинович. Вы на себя эту лодку замкнули. Минфин Вы напрягли. «Северсталь» Вы на место поставили. Корпорацию Вы вразумили. Ну, конечно, и нам досталось. И правильно, что на ковёр вызывали, ногами на нас стучали. Я не обижен, а благодарен. Нам жёсткая, военная дисциплина нужна. Как при Сталине. Вы с Президентом общаетесь, подскажите ему, что народу нужно жёсткие рамки поставить. Нам без жёстких рамок новое оружие не создать. Вы это понимаете, Евгений Константинович. Промышленность Вас уважает. С Вами программу Президента мы выполним.

- Следующую лодку станете спускать, Президент приедет. Уговорю его, - Лемехов любил этого захмелевшего директора, который множество дней и ночей провёл возле лодки, так что его тяжёлое, с седыми бровями лицо странным образом запечатлело лодку. Её выступления, сумрачную рубку, грубую мощь и таинственное свечение.

Академик шаркающей походкой приблизился к Лемехову. В его руке с хрупким запястьем дрожала коньячная рюмочка. Сухое, с запавшими щеками лицо, седина, сеть склеротических сосудов на носу, как фиолетовые разветвлённые корешки. И серые сияющие глаза с весёлым молодым блеском.

- Примите мои искренние поздравления, - Лемехов склонился в поклоне перед именитым старцем, - Вы снова подарили России шедевр.

- Шедевр, не шедевр, а лодка, скажу я Вам, получилась. На американских верфях такую ещё не построили.

- Я вспомнил афоризм Паскаля: «Камень, брошенный в море, меняет всё море». Ваша лодка, спущенная в океан, меняет весь океан.

- Но это уже дело прошлого. В голове-то уже другое крутится. Тело дряхлеет, а ум не желает стареть. Всё примеряет, продумывает, фантазирует. Такие интересные идеи рождаются.

- Над чем Вы работаете?

- Одну лодочку маленькую придумал. Такую миниатюрную, как дюймовочка. Вот мы газопроводы по морскому дну протягиваем на тысячи километров. А защищать их некому. Эта лодочка вдоль газопроводов сможет ходить и их прикрывать от вредителей. А ещё может гидрофоны супостата выводить из строя. А ещё может спецзаряды у берегов супостата устанавливать, чтобы поднимать цунами. Много чего ещё может.

- Вы бы эту лодочку нам показали.

- Я и хочу, Евгений Константинович. Пришлю документацию, а Вы на Военно-промышленной комиссии обсудите.

- Жду документацию, - он чокнулся с академиком, видя, как на впалом виске пульсирует, питая мозг, синяя жилка.

Главкомандующий флотом выпил не одну рюмку водки, и его широкоскулое лицо было фиолетово-красным, словно его обожгли ветры всех широт.

- А я Вам говорил, Евгений Константинович, и опять говорю. Для полноценных военноморских операций каждый наш флот должен иметь палубный авианосец. Подсчитано, что в акваториях Чёрного, Средиземного, Балтийского, Баренцева морей, в районах Тихого Океана Россию ждёт десяток локальных конфликтов. Без авианосцев эти конфликты не выиграть. Я очень прошу убедить Президента включить в программу перевооружения строительство авианосцев.

- Я говорил об этом с Президентом. Он понимает проблему. Он распорядился искать верфи для размещения подобных заказов.

Их рюмки звякнули, и главком выпил, высоко, по-офицерски, подняв локоть.

Губернатор, косолапая, сутулясь, подошёл, похожий на матёрого медведя.

- Конечно, Евгений Константинович, нашему Президенту виднее, но я бы на его месте сделал Вас Председателем правительства. Оно бы заработало без пробуксовок. России нужен разбег, а то мы застоялись. Когда Россия стоит, в ней всякая муть заводится, народ начинает дурить. Всякие Болотные площади. Вот Вы бы России дали разбег, пнули её хорошенько, и она от этого пинка снова станет великой державой.

- А Вы не боитесь, что от этого пинка многие губернаторы полетят кувырком?

- А и правильно, пусть летят. Пусть и я полечу, если не справляюсь. Как раньше пели: «Была бы только Родина богатой да счастливою». Нужен, нужен пинок, а иначе начнём дурить. Об этом и Президент говорит. За здоровье нашего Президента! – он выпил водку и отошёл, покачиваясь, обходя невидимые препятствия, как, должно быть, медведь обредает лесные кочки.

К Лемехову подошёл его заместитель Двустиков, держа в руках рюмку с водкой. Было видно, что это не первая рюмка. Маленькие глазки, окружённые красными веками, возбуждённо блестели. Утиный нос порозовел, и на нём выступили микроскопические капли пота. Плотные прижатые хрящевидные уши были белые, словно отмороженные, а мочки налились пунцовым жаром. Он был возбуждён, и, как всегда в такие минуты, от него пахло едким уксусом, запахом которого был бессилён перебить дорогой одеколон.

- Жень! – Двустиков обратился к Лемехову по имени, ибо это был тот редкий случай, когда Двустиков пренебрегал субординацией. Ему хотелось вспомнить их студенческие отношения, - Жень, ты великий человек! Как ты мог догадаться и написать на лодке: «Не валий дурака, Америка»? Теперь эта наша «Державная» всплывет где-нибудь у Флориды, и американцы сбегутся на набережную Майами, чтобы прочесть этот привет из России! Подумают, что это предупреждение самого Президента Лабазова! – глаза Двустикова с обожанием смотрели на Лемехова, и это был взгляд не друга молодости, не сослуживца, взирающего на начальника, а верующего язычника, припадающего к стопам кумира. - Как я тебе благодарен, Жень. За всё, за всё! И за то сочинение, которое ты мне помог написать. В слове «удовлетворён» я сделал три ошибки, а ты их исправил. Без тебя мне бы не попасть в институт. И за то, что взял меня после института в политику, и мы с тобой создавали русские организации в Казахстане, в Молдавии, на Украине. И за то, что сделал меня своим помощником, когда избирался в Думу. И за то, что захватил с собой в Академию Генерального штаба. И за работу в корпорации и в министерстве, и

теперь, когда так высоко взлетел! Ты мой настоящий друг, настоящий благодетель, настоящий командир!

В словах Двустикова не было подобострастия или желания польстить и угодить. А было истинное восхищение, потребность иметь предмет обожания и бескорыстной любви. Сотворить божество, которому можно поклоняться. Лемехов привык к этим изъяснениям преданности, которые лишь иногда принимали открытые формы. А в обычное время проявлялись в предельной исполнительности и трудоспособности, делавшей Двустикова незаменимым.

- Ну, что ты, Лёня. Что бы я делал без тебя? Наш тандем нерасчленим! – Лемехов благосклонно улыбался, а сам чуть сторонился Двустикова, от которого пахло летучей мышью.

- Нет, Женя, ты не понимаешь! – Двустикову казалось, что он не нашёл достаточных слов, чтобы выразить свою преданность. - Ты пойми, ты для меня цель, ориентир, лидер, статуя на носу корабля. Я всю жизнь иду за тобой, зная, что ты не ошибёшься. Что, следуя за тобой, я следую правильным курсом, Что моя судьба повторяет твою судьбу. Я иду за тобой след в след. Читаю книги, которые ты читаешь. Покупаю костюмы в тех же бутиках, что и ты. Люблю, как и ты, золотистых блондинок. Занялся охотой, потому что и ты охотник.

Лемехову были приятны эти изъяснения преданности. Он позволял Двустикову эту страстную исповедь, которая была для того наградой за тяжкие изнурительные труды. За бесчисленные поездки, склоки между армией и промышленностью, кадровые конфликты, встречи с директорами и испытателями, лоббирование думских депутатов, ангажирование журналистов. Двустиков был незаменим, неутомим, знал все тонкости управления, все ухищрения политики.

- Ты, Лёня, моя опора. Пока ты рядом, я несокрушим, - Лемехов смотрел на хрящевидные уши Двустикова, которые шевелились, как отдельно живущие существа. Казалось, что они сейчас поползут, перемещая белые хрящи и пунцовые, налитые кровью мочки.

- Спасибо, Женя, за тёплые слова. У нас с тобой всё всегда получалось. Тебя любит Боженька, он тебя по жизни ведёт. А за тобой и меня. Тебя Боженька высоко посадит, с собою рядом. Ты, Женя, станешь Президентом. У тебя нет соперников, потому что тебя Боженька любит. А значит, и меня. Мне за тобой вверх взлетать, а крылья есть у меня? Взлечу ли? Ты меня с собой заведи, я тебе и там пригожусь. Заберёшь, Женя?

Двустиков страшно разволновался, на глазах заблестели слёзы, водка выплёскивалась из рюмки. Лемехову были неприятны капельки пота на утином носу, шевелящиеся уши, запах возбуждённого зверька. Но эти физиологические недостатки искупались искренней преданностью, которая находила себе подтверждение в бесчисленных перипетиях каждодневной борьбы.

- Много рисков, Лёня, - усмехнулся Лемехов, - много опасностей. Чем выше взлетаем, тем больше падать. Давай не думать, куда нас Боженька вознесёт. Давай его молить, чтобы он нас отсюда не сбросил.

- Я тебе говорю, ты идёшь в Президенты. А насчёт опасностей и рисков, положишься на меня. Я тебя не предаю. Пулю, которая в тебя полетит, на себя возьму. Вместо тебя хоть в тюрьму, хоть под пулю. Ты великий человек. Тебе служить – Боженьке служить. Люблю тебя! – Двустиков потянулся, было, желая поцеловать Лемехова. Вытягивал губы для поцелуя, но Лемехов отстранился, вынес вперёд бокал. Двустиков поцеловал бокал, а потом залпом выпил свою водку. Отошёл, покачиваясь и блаженно улыбаясь.

На Лемехова смотрели васильковые глаза Верхоустина, и Лемехов вдруг подумал, что всё это время ему хотелось заглянуть в глубину этих колдовских васильков.

- Я заметил, как Вы провожали взглядом скользящую лодку. Казалось, что Ваш взгляд сообщает ей движение. Это походило на телекинез. Вы способны перемещать зрачками тысячи тонн, - Лемехов благодушно улыбался, шутил, но сам старался понять, какая сила исходит из этих глаз, синева которых напоминала небо в мартовских берёзах, - Может быть, Вас пригласить для участия в каком-нибудь оборонном проекте? Скоро будем сдавать вторую, подобную лодку. «Казанскую Божью мать».

- Поверьте, лодку построят и спустят на воду без меня. Обойдутся. А вот без Вас не обойдутся, - лицо Верхоустина оставалось таким же бледным, и только губы стали розовой от выпитого красного вина, - Вы руководили строительством лодки, а по существу, руководили государством. Тысячи заводов, которыми Вы управляли. Лаборатории и научные центры, где Вы встречались с интеллектуалами. Армия рабочих и инженеров, которых нужно было готовить и направлять в дело. Города, регионы, железные дороги, порты, - вся инфраструктура страны, замкнутая на эту громадную верфь. Идеология оружия, без которой невозможен осмысленный

труд. Финансовая политика, без которой невозможно перевооружение. Внешняя политика, исчисляемая количеством лодок и стратегических ракет. Внутренняя политика - непрерывные схватки с пацифистами, либералами-западниками, коррупционерами, врагами модернизации. Управляя строительством лодки, Вы управляли Россией. В сущности, Вы исполняли президентскую роль.

- Вы заблуждаетесь. Я исполнял поручение Президента. Я тот, кто выполняет задание Президента.

- В обычных условиях это было бы так. Но сейчас, когда задвигались тектонические платформы, когда вновь приблизилась катастрофа, Вы выполняете поручение Государства Российского. Поручение русской истории. Лодка, которую Вы спустили на воду, освящена именем «Державной Божьей матери». Я помню, как Вы молились перед этой иконой в храме. Как молились на неё здесь, на верфи.

- Это слишком пафосно. Я чиновник правительства и не мыслю подобными категориями.

- Вам и не нужно ими мыслить. За Вас мыслит сама история. Лодки, которые Вы строите, - «Державная», «Казанская», «Владимирская», «Тихвинская» - это иконы русской цивилизации. В океанской пучине, во тьме морской они берегут Россию. Делают русское оружие святым. Лодки, носящие имена православных икон, и их экипажи - это подводные монастыри, где совершается молитва, берегающая Россию.

Вам провидение поручило мессианскую работу по спасению Государства Российского.

Верхоустин смотрел ясно и ликующе, как прозорливец, которому было дано откровение. Лемехов изумлялся тому, что он, технократ, виртуозный политик, осторожный прагматик, слушает эти безумные речи. Они находят в нём отклик. В каких-то безымянных, спрятанных от мира глубинах, в которые он сам почти никогда не заглядывал. Которые раскрывались иногда на грани яви и сна, за секунду до того, как ему погрузиться в туманные сновидения. Верхоустин своим магическим взглядом проникал в эти глубины, извлекал из них притаившиеся сновидения, и они наяву казались сладким бредом.

- Всё это поэзия. Пушкина, Лермонтова или Блока, не знаю, - Лемехов, испытал мгновение слабости, избавился от гипнотического волшебства. - Единственное, что мне сейчас нужно, это удача. Всё остальное для выполнения президентского задания у меня есть.

- Вам будет сопутствовать удача, потому что Вас выбрало русское время, - произнёс Верхоустин, - Вы заложник русского времени. Вам покровительствует «Державная».

- Может быть, Вы принёсете мне удачу? - усмехнулся Лемехов, уже не принимая слова Верхоустина всерьёз, а лишь забавляясь ими. - Я лечу на испытание баллистической ракеты, предназначенной для «Державной». Может, Вы своим колдовским взглядом извлечёте ракету из моря, проведёте по баллистической кривой и опустите на Камчатке? Предшествующие испытания были неудачны, и стоит под вопросом сам проект ракеты. А это трагедия. Лодка без ракеты - не оружие, а обычный батискаф. Помогите взлететь ракете, - насмешливо произнёс Лемехов.

- Я постараюсь, - спокойно, не замечая насмешки, ответил Верхоустин.

Через два дня они стояли на палубе эсминца, который вышел в море, в район полигонных стрельб. На мостике сигнальщика толпились конструкторы и творцы ракеты. Директора головных предприятий, создававших её основные узлы. Учёные-баллистики и специалисты по твёрдому топливу. Адмиралы и офицеры флота, в нетерпении ожидавшие новое оружие. Испытатели, установившие на корабле системы слежения и контроля.

Лемехов в штормовке, отороченной волчьим мехом, вдыхал сочный морской воздух, смешанный с запахом солянки. На серой стальной стенке, в помощь сигнальщику, чёрной краской были начертаны силуэты американских самолётов, контуры эсминцев, фрегатов и крейсеров. Море было серым, в тревожных волнах, на которых внезапно загоралось злое полярное солнце. На горизонте туманились корабли охранения, оцепившие район испытаний. Стрекотал вертолёт, облетающий эсминец. В туманах, в лучах, в переливах металась чайка. И где-то в глубине притаилась лодка. В шахте была готова к пуску ракета. Уникальная, сверхскоростная, способная стремительно преодолевать начальный отрезок траектории, уязвимый для противоракетных систем противника. Начинённая кассетой термоядерных зарядов, которые, приближаясь к континенту врага, рассыпались веером. Маневрировали, окружали себя облаком помех. Ускользали от ракет-перехватчиков, накрывая своим гибельным ударом огромные пространства чужой территории.

Ракета шла трудно. Ей сопутствовали неудачи. Пуски кончались авариями. Ракета взрывалась тут же, над морем. Или сходила с траектории и не достигала цели. Или вовсе не выходила из шахты. Гигантские коллективы лихорадило. Панически искали виновных. Премьер-министр грозил отстранить от работы Генерального конструктора или закрыть проект. Президент при встречах с Лемеховым глухим голосом спрашивал, соответствует ли Генеральный конструктор занимаемой должности.

Теперь, на палубе эсминца Лемехов слушал Генерального конструктора, одетого в грубую брезентовую робу, из которой торчала худая голая шея, какая бывает у общипанной курицы. Его губы были покрыты фиолетовыми пятнами, будто он их искусал. На измождённом лице торчал большой крючковатый нос, напоминавший экзотический клюв. В тёмных кругах, глубоко утонувшие, тревожно блестели глаза. В них была мука бессонных ночей, тоска в ожидании очередной неудачи и неколебимое упорство творца, верящего в истинность своих изысканий.

- Я знаю, Евгений Константинович, какие разговоры ведутся в правительстве относительно ракеты. Дескать, выбрано ложное решение, тупиковый проект, надо сворачивать работы и передавать тематику другому институту. Но я говорил и говорю, что конструкция ракеты безупречна. Такой не будет ни у них, ни у нас. Это прорывное направление, на которое указывали отцы-основатели. Виновата не конструкция, а технологическое исполнение на заводах.

- Но Вы же, Климент Иванович, посещаете заводы-изготовители. Вы не можете указать им на узкие места?

- Узкие места известны. Это исчезновение целых технологий, которых мы лишились за время катастрофического простоя. Это допотопная элементная база, некачественное стекловолокно, отставание в производстве порохов. Тридцать лет нас уничтожали, как вредителей, а теперь в три года хотим построить шедевр. Так не бывает, Евгений Константинович.

- Но ведь отцы-основатели могли. Хотя у них не было под рукой совершенных технологий и безупречного станочного парка. Но они создавали шедевры.

- Тогда, Евгений Константинович, был Сталин, был Берия, была партия и был канун мировой войны. Не сделаем ракету, от страны угольки останутся.

- Теперь то же самое, Климент Иванович.

Генеральный конструктор был из тех, кто молодым инженером прошёл великую школу, учителями в которой были грандиозный Королёв и непревзойдённый Глушко, гениальный Уткин и прозорливец Челомей. Те, кто ставил первые ракеты в лесах и горах, опускал их в шахты и размещал на железнодорожных платформах. Успевал вооружить государство, прежде чем на страну упадут термоядерные бомбы Америки. Эта школа, достигнув расцвета, стала гаснуть с уходом великой плеяды, стала ветшать вместе с дряхлеющим государством. А когда государство пало, школа подверглась разгрому. Победители, покорив страну, рыскали по ней, уничтожая оружие. Закрывали заводы и институты. Лишали финансирования конструкторские бюро и научные центры. Вывозили секреты. Резали недостроенные космические корабли. Переманивали талантливых инженеров, которые трудились теперь в лабораториях Америки, создавая гибельное для России оружие.

- Климент Иванович, Вы должны продолжать работу, не слушать сплетни. Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Таких специалистов, как Вы, у России раз-два и обчёлся. Мы должны беречь Вас, как драгоценность. Вокруг Вас собирается талантливая молодёжь. Вы передаёте ей великую традицию Королёва. Я верю в ракету! Она полетит! Сейчас полетит, потому что мир устроен так, что она должна полететь, - Лемехов пожал конструктору холодную стариковскую руку, и круглые глаза подвижника благодарно замерцали.

Приближалось время пуска. Командир корабля в рубке отдавал приказание, и его слова тонули в тихом рокоте двигателя. Вертолёт облетел эсминец и опустился на корму в оранжевый посадочный круг. Люди всматривались в туманную даль, наводили бинокли туда, где должна была, распарывая море, появиться ракета.

Лемехов увидел Верхоустина. Тот в стороне, не смешиваясь с другими, смотрел в море. Его глаза немигающие, яркие, казались огненно-синими. Его зрачки испускали лучи, которые, казалось, проникали сквозь воду, находили в пучине притаившуюся лодку. Вычерпывали её на поверхность. На мгновение Лемехову почудилось, что он видит лодку, висящую в стеклянной воде. Верхоустин устремлял в морскую глубину свою волю, впрыскивал в море потоки энергии. И эти колдовские потоки омывали лодку, проникали сквозь обшивку, окружали экипаж, реактор, ракету незримым свечением.

По громкой корабельной связи начался обратный отсчёт:

- Десять, девять, восемь, - будто звонкий молоток бил в корабельное железо.

Лемехов видел, как замерли люди, как лицо Генерального конструктора обрело молитвенное выражение, словно он видел парящую над морем икону.

- Семь, шесть, пять...

Лемехов чувствовал, как все его жизненные силы и помыслы сосредоточились на далёких морских туманах с проблеском чаек. Там должна была появиться ракета. Он верил в счастливый пуск. Переносил в ракету свои страстные упования, честолюбивые устремления, суеверные ожидания. Отождествлял с ракетой, с её громадной мощью и совершенной конструкцией свою судьбу. Сопрягал с её траекторией свой жизненный путь, стремление к туманной, неясной, но пленительной цели.

- Четыре, три, два...

Верхоустин был страшно бледен. Вцепился в поручень палубы. Лемехову казалось, у глаз его полыхает синий факел. Генеральный конструктор был похож на птицу, готовую взмыть в небеса или рухнуть, попав под выстрел.

- Один...

«Державная», помоги! - успел подумать Лемехов, прижимая к глазам бинокль.

На море, на серых водах, забелело пятно. Расширилось, заблестело, как всплывающая медуза. Взбухло, словно шапка гриба. В кипятке, в раскалённых пузырях, протыкая море, стала подниматься стеклянная колокольня. Сбрасывала пышные клубы, лизала море огненным языком. Держалась мгновение, рассылая лучи и грозные рокоты. Прянула ввысь, пробивая в тучах полынью. Ушла, унося с собой огненный хвост, который превращался в огромный перламутровый цветок, в кольца трепещущих радуг. Гул умолкал, утекал тихим звоном вслед за ракетой. Полынья в облаках смыкалась, и только на море оставалось ослепительное пятно.

Все молчали, нервно смотрели на часы, пока, по истечении времени, металлический голос не произнес:

- Ракета вышла на расчётную траекторию.

Все восхищённо ахнули. Кинулись поздравлять Генерального, обнимались, били по рукам, словно купцы, заключившие сделку. И вдруг все обернулись к Лемехову. Бросились к нему, подхватили. Стали подбрасывать. Он хохотал, взлетая, видя поручни палубы, плещущее море. Падая на подставленные упругие руки.

- С победой, Климент Иванович, - Лемехов, подошёл к Главному конструктору. Тот молча кивал, улыбался. Глаза его были в слезах.

Все спускались с мостика, торопились в кают-компанию, где уже разливали шампанское. Лемехов задержался на палубе. Вдалеке на море трепетало серебряное пятно, словно мерцающий божественный образ. Лемехов наводил бинокль, ожидая увидеть отражённый на водах лик Богородицы. И там, в серебре, чёрной горой всплывала лодка. В бинокль были видны её зализанные борта и горбатая угрюмая рубка.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь, когда оборонная программа завершилась, спуск на воду стратегической лодки и ракетные стрельбы состоялись, Лемехов собирался отдаться своей давней страстной утехе – охоте. В архангельских чащобах поджидали его егеря, и у них для Лемехова был приготовлен медведь. На таёжных пустошах, где когда-то находились деревни, был посеян овёс – любимое медвежье лакомство. Построена вышка. Егеря на опушке закопали тушу кабанчика, приманивая зверя. И на эти приманки медведь выходил из тайги, кормился на овсах, привыкал к деревянной вышке. Лемехова ждал вертолёт, чтобы унести в таёжную глушь.

Он простился с участниками испытаний. В холле гостиницы допивал чашечку кофе. Верхоустин, уже готовый подхватить дорожный баул и отправиться в аэропорт.

- Я вам очень благодарен за помощь, Игорь Петрович - пожал ему руку Лемехов.

- Велика ли была моя помощь? – улыбнулся Верхоустин, и улыбка его была наивной и милой, по-детски застенчивой.

- Ну, как же, если бы не Вы, ракета не взлетела. Все так считают. Испытатели - народ суеверный. Вначале они спрашивали о Вас: «Кто этот чужак? От него ждать беды». А я им

объяснял: «Это, говорю, колдун, который обеспечивает удачные пуски». Теперь они просят, чтобы Вы присутствовали при каждом пуске.

- Я готов, - улыбнулся Верхоустин.

Лемехов испытывал к этому синеглазому человеку неясное влечение. От него исходили таинственные волны, которые тревожили Лемехова. Куда-то манили, что-то сулили, намекали на какое-то особое знание, которое Лемехову, политику и технократу, было неизвестно. И это знание открывало путь в другую реальность. В ней содержались ответы на вопросы, не находившие объяснений в мире политики, науки и техники.

- А что если я Вас сейчас заберу с собой? – неожиданно для себя произнёс Лемехов.

- Куда же это?

- На медвежью охоту. Вы никогда не были на медвежьей охоте?

- Признаться, нет. У меня была другая страсть. Я ловил в Африке бабочек. Но сейчас у меня нет сачка для медведя.

- Вам не понадобится сачок. И карабин не понадобится. Вы просто будете рядом и принесёте удачу. Я убью медведя.

- Убеждён, Вы его убьёте. Медведь – ваш тотемный зверь. В вас много от этого сильного, осторожного, умного исполина. Вы убьёте тотемного зверя, и, как считают шаманы, от него к Вам перейдёт сила, мужество, промыслительный дар.

- Вы, Игорь Петрович, шаман. Вы своим колдовством приведёте зверя на овсяное поле, к вышке, под мой выстрел.

- Я попробую, - скромно ответил Верхоустин.

- Тогда за мной, - Лемехов подхватил баул Верхоустина и пошёл к машине, которая помчала их на вертолётную площадку.

Вертолёт пролетал над красными и золотыми лесами, над тёмной еловой тайгой, среди которой пламенели драгоценные оклады, ожерелья, таинственные, золотом писанные узоры. Озёра были в солнечной ряби, из которой вдруг поднимались испуганные белые лебеди. Реки, студёно-голубые, возникали в лесах, и было видно, как несутся тёмными стрелками утки, вздымая на воде буруны.

Вертолёт снизился над чёрной, с большими избами, деревней, миновал её и опустился на сырой опушке, где стоял одинокий охотничий дом. Лемехов, Верхоустин и два неотступных охранника нырнули под винты, прихватив баулы и чехол с карабином. Оглянулись на удалявшийся вертолёт, и пошли к дому, где их встречал егерь. Он был в засаленной фуражке, неряшливом камуфляже, ловкий, вёрткий, с коричневым, древесного цвета лицом. Пожимал гостям руки своей твёрдой пятернёй, истёртой о топорщица и охотничьи ножи, ружейные приклады и звериные шкуры.

- Хорошо, говорю, прилетели, в срок. Медведь ждать не любит, уйдёт в тайгу. На него, знаешь, сколько желающих? Енерал прилетал. Говорит: «Дай медведя». А я ему: «Нельзя. Медведь Евгения Константиныча». Улетел без крика. Не стал шуметь. Своё место знает.

Егеря звали Макарыч. Вокруг него вились две лайки с круглыми, как кренделя, хвостами. Он ввёл гостей в дом. Было чисто. В бревенчатых стенах торчал мох. В потолке, вокруг суков, блестела смола. Печь была белой, с чёрным закопчённым зевом, и от неё пахло сладко, как в церкви.

Деревянный стол без скатерти был уставлен едой. Большое блюдо с ломтями тёмного мяса. «Лося третедни завалили». Блюдо с печёной тетёркой, чья костлявая шея не помещалась на блюде, и в раскрытом клюве торчала красная брусничная веточка. «Их нонче столько, что сами к крыльцу бегут, в печь просятся». Миски с клюквой, черникой, морошкой. Грибы отварные, солёные. «Косой коси, наутро опять встают». Блестели бутылки с настойками, и в одной на дне розовели выцветшие ягоды, в другой утонул белёсый корень.

- Что Бог послал, Константиныч, - егерь двигал к столу лавки. Низкое солнце положило на брёвна два янтарных мазка.

Ели с удовольствием дичь, пили пьяную настойку. Макарыч накидал в печь поленьев, и жаркое пламя лизало свод, дрова трещали, сыпали угли, дышали жаром. Под потолком висела деревянная птица с распушёнными веером крыльями из тонких расщеплённых пластин. Тёплый воздух долетал до птицы, и она кружилась на бечёвке, поводила пышными крыльями.

- Этот медведь, Константиныч, больно хитёр, - егерь запянул. - От выстрела уходит, Константиныч. Он в ентом деле дохтур. Он на овёс придёт, на жопу сядет и лапами овёс к себе

загребат, сосёт. А сам глазами туды-сюды, туды-сюды. Чуть не по его, драпать. Он семилетка, переросток, молодых медведей обижает, к медведицам не пускает. Пора его бить, Константиныч, молодёжи путь открывать. А то непорядок.

Лемехов сладко опьянел от вкусной настойки. В тетеревином мясе ему попалась дробинка, и он выложил её на стол. После грозного железа, ревущего огня, свистящих скоростей славно было оказаться в деревянной избе, среди тёплых ароматов, потрескивающих дров, под таинственной птицей, распушившей хрупкие крылья.

- Ты, Константиныч, бей наверняка. Лучше промахнуться, чем зацепить. Раненого отпустишь, он тебе мстить будет. Медведь зло помнит и обидчика не отпускает. У нас в деревне Василий Егорович жил, так себе охотник. Кабана, лося достанет, а чтобы медведя, то нет. Раз на него медведь вышел, и Василий Егорович его картечью цапнул. Не убил, а ранил, и медведь от него в тайгу ушёл. Отлежался, всяки травы, ягоды жевал. Встал на ноги и начал Василию Егоровичу мстить. Пришёл в деревню и забор его повалил. Потом корову его на лугу задрал. Потом бабу его украл. Баба его в тайгу по грибы пошла и пропала – ни платка, ни корзины. Василий Егорович чувствует, что медведь к нему самому подбегает, собрал вещички, да в Архангельск ушёл. Так медведь его и там достал. Раз пришли к Василию Егоровичу на квартиру, а он задранный лежит, и следы от когтей. Во как!

- Люди произошли от медведей, и медведи девушек воровали и брали в жёны, - задумчиво произнёс Верхоустин, не отрывая глаз от летающего в печи пламени.

- Вот и я говорю, - поддержал его егерь, угадав в нём единомышленника, причастного к тайнам.

Они ещё сидели, пока не стемнело. Егерь запалил керосиновую лампу и стал собираться.

- Пошёл в деревню к бабе. А вы ночуйте. Мы, Константиныч, после обеда с тобой пойдём. Сперва на вездеходе тебя доставлю, а там, как хошь, - с тобой пойду до Белой пади или ты сам до овсов добираться. Там вышку найдёшь, - и ушёл, стукнув дверью. Охранники тоже ушли спать на другую половину дома, а Лемехов с Верхоустиным остались в тёмной горнице среди танцующих отсветов и теней.

- Эта деревянная птица – голубь, образ Духа Святаго, - Верхоустин кивнул на потолок, под которым качалась, плавно крутилась на нитке загадочная птица. - В северных деревнях, населённых старообрядцами, таких голубок вешали над люльками новорождённых, и на них сходил Святой Дух. Над Вами, Евгений Константинович, дышит Дух Святой.

- Откуда Вы знаете про северные деревни? – Лемехов заворожённо следил за волшебным парением птицы, распушившей на потолке пернатые тени.

- В молодости я путешествовал по русскому Северу, собирал старинные песни. Было время, когда я знал сто песен, которые не сыщешь ни в одном фольклорном сборнике. Я привозил эти песни в Москву. Мы их разучивали с друзьями и пели хором.

- Вы пели в хоре?

- Кто никогда не пел в хоре, тот лишил себя неповторимых переживаний. Северные песни длинные, монотонные. Когда их поёшь,ходишь в транс, а потом вдруг наступает катарсис, ты испытываешь несравнимое наслаждение, неземное блаженство, словно полетел к солнцу и оказался в Райских садах.

- Вы знаток Пушкина и русских песен. А также знаток ракетных двигателей, разгоняющих ракету до гиперзвука.

- Русские песни, как и Пушкин, открывают в человеке забытые коды. Соединяют дух с источниками неисчерпаемой энергии. Делают народ-карлик народом-великаном. Подводные лодки, баллистические ракеты и русские песни делают народ непобедимым.

- А Вы бы не могли спеть какую-нибудь северную песню? - попросил Лемехов, зачарованный летящими по избе волнами тепла и света, колытанием пернатой тени, колдовским взглядом Верхоустина. Казалось, это он зрачками тихо раскачивает деревянную птицу.

Верхоустин отвёл взгляд от птицы. Устремил его сквозь бревенчатые стены в сырую ночь, где, невидимые, стояли золотые леса. Лицо его побледнело, словно отпрянула кровь. Тонкий нос болезненно заострился, как у смертельно больного. Глаза остановились и замерли. Наполнились мерцающим светом и стали похожи на два голубых прозрачных кристалла. Он приоткрыл рот и стал вдыхать воздух, будто собирался сделать последний вдох. Брови болезненно приподнялись, и он издал звук, похожий на стон, на скрип сухого лесного дерева, на трескучее карканье одинокого ворона.

Лемехов испугался этого нечеловеческого, тоскливого звука. Оцепенел, словно его лишили воли.

И где кони?  
И где кони?  
Они в лес ушли.  
Они в лес ушли.

Звук исходил не из груди человека, а из глухого дупла, в котором гнездились два неведомых существа. Одно уныло вопрошало, а другое печально и отрешенно отвечало. Одно мучило другого вопросами, а то отвечало покорно и обречённо.

И где тот лес?  
И где тот лес?  
Черви выточили.  
Черви выточили.

Голос внезапно окреп, словно в сухое русло хлынули воды. Казалось, число поющих умножилось. Пел таинственный хор лесных колдунов. Топтались по можжевельным кочкам, перебрасывали друг другу деревянную чурку. И от этого волхования кружилась голова, таяли очертания избы. Лемехов вдруг увидел свою детскую книжку с лубочной картинкой Билибина. Витязь в кольчуге и шлеме, ворон на камне, далёкая, над лесом, заря. Побежали видения, одно за другим, словно их извлекали из запечатанной памяти и разбрасывали, как драгоценные карты. Это бабушка с седой головой раскладывала пасьянс, кладя на скатерть нарядных дам и валетов. Мама, молодая и гибкая, вешала над столом разноцветный светильник, а за окном на водосточной трубе гроздь голубых сосулек расцвела, как ледяное соцветье. Цветные пылинки в луче горячего солнца, он ведёт своей детской рукой по узорам ковра, и изумляется видом своих розовых пальцев и маленьких нежных ногтей.

Колдовская песня кружила голову, печально и сладко томила, и он улыбался, окружённый роем разноцветных пылинок.

И где черви?  
И где черви?  
Они в гору ушли.  
Они в гору ушли.

Голос Верхоустина становился свежим и сочным. В нём гудела жаркая сила. Так огонь выталкивает из дымохода сырой воздух и ровно поёт в трубе. Голубые кристаллы глаз испускали лучи, которые обнимали Лемехова, подхватывали, лишали телесности, куда-то влекли. Перед ним возникали образы прошлой жизни, которые он, казалось, забыл, но они возвращались отчётливо, драгоценно, словно иконы в окладах, складывались в волшебный иконостас. И он шептал перед ним бессловесные молитвы.

Деревенская девушка в ситцевом платье провожает его до околицы, дарит на прощанье цветок розовой мальвы, чтобы больше никогда с ним не встретиться. Молодое лицо отца склонилось над детской кроватью, и он ликует в своём утреннем пробуждении, так благодарен отцу, так любит его родное лицо.

Лемехов слушал горловые, то глухие, то трубные звуки, роковые вопросы и вещи на них ответы, и ему казалось, что его подхватили огромные качели и переносят из одного мироздания в другое, и сердце замирало от счастья.

И где гора?  
И где гора?  
Быки выкопали.  
Быки выкопали.

Ему казалось, что колдовские глаза Верхоустина рисуют огромный круг, в котором раскинул руки он, Лемехов. Синеглазый чародей закручивает время в упругую спираль, совмещая его краткосрочную жизнь с бесконечным бытием. Его судьба исчислена и расчерчена небесным чертёжником, помещена в круг всеведущим геометром, который выбрал его мерой всех вещей, поставил в центр Вселенной и вращает вокруг него громадную карусель мироздания. Его судьба на учёте. Она важна, ею ведают высшие силы. Его ожидает впереди великое свершение, и где-то на спирали времён отмечено мировое событие, связанное с его именем.

И где быки?  
И где быки?  
Они в воду ушли.  
Они в воду ушли.

Верхоустин то прикрывал глаза, так что под веками что-то слабо мерцало. То распахивал их во всю яркую ширь, и тогда лицо его превращалось в лик, озарённый лазурью. Он вращал головой, на шее вздувалась дрожащая жила, и казалось, что он месит густое варево, состоящее из колдовских слов, варит зелье из тягучих звуков, жгучих огненных капель.

Лемехов почувствовал, как стало тяжело в груди, набежала муть, стало тоскливо. Спираль, на которой была записана его судьба, оборвалась и померкла. Райское блаженство, волшебное чудо казались недостижимыми. Клубящийся ком тьмы окутал его. Из этой тьмы стали падать, подобно камням, воспоминания, о которых он старался забыть. Но звуки угрюмой песни вырывали их из мглы, и они падали, как раскалённые метеориты.

Собака, которую он купил, мечтая иметь рядом преданное добродушное существо. Он застрелил её в приступе слепой ярости, когда она загрызла деревенского индюка. И теперь видел её, милую, весёлую, со смеющимися глазами, за секунду перед тем, как спустил курок. Жена, беременная, стояла у крыльца рядом с цветущими флоксами. Он уговаривал её отказаться от ребёнка, который будет мешать их молодой, неустроенной жизни. Жена согласилась, бессильно побрела от крыльца и плакала одна в беседке.

Эти воспоминания вычерпывались из памяти, их подхватывал колдовской напев. Зелье, которое подносили к его губам, горчило и жгло.

И где вода?  
И где вода?  
Гуси выпили.  
Гуси выпили.

Как тучи, толпились кошмары. Мерещились грядущие войны, горящие здания, окровавленный асфальт площадей. Пулеметы гнали толпу, били из окон снайперы. Государство качалось и корчилося. Сражались ватаги и банды, самозванцы стремились в Кремль. Пронзённые торпедами, тонули подводные лодки, выплёскивая из реакторов огненный яд. Лучи дальнбойных лазеров сбивали ракеты, жалили в небесах самолёты, жгли и плавил танки. Взрывались плотины и дамбы, и ревущий поток сметал города и селенья.

Песня гудела, как звук поднебесной трубы. Синеглазый пророк возвещал окончание мира, и в синих кристаллах переливалась прозрачная смерть.

И где гуси?  
И где гуси?  
Во тростник ушли.  
Во тростник ушли.

Песня была похожа на ворожбу дурного шамана, на заговор злого кудесника. Водила по кругу, морочила, не выпускала из лабиринта. Душа беспомощно старалась спастись, вырваться из плена, заслониться от смертоносных голубых излучений. Хотела умчаться туда, где мама раскладывала на столе привезённые из Суханова акварели, и он любовался золотой берёзой, отражённой в тёмном пруду, белоснежной беседкой с кустами пунцовых роз. Туда, где старый московский двор с тополями и клёнами, и они с соседским мальчишкой зарывают в углу двора

драгоценный клад - осколки цветной расколотой чашки. Девочка в красных туфельках прыгает через скакалку, её косы танцуют, а в нём такая внезапная нежность к её красным туфелькам, к белым танцующим бантам.

Лемехов стремился туда, где было спасенье от грядущих напастей и бед. Но упорная сила возвращала его обратно, захватывала в колдовскую спираль, водила по кругам, и он плутал в лабиринте среди синих кристаллических вспышек.

И где тростник?  
И где тростник?  
Девки выломали.  
Девки выломали.

Он пребывал в дурной бесконечности. Был деревянной чуркой, которой перебрасывались два лесных колдуна. Один колдун задавал дурные вопросы, а второй находил ответ, предполагавший новый дурной вопрос. Эти вопросы и ответы сводили с ума, заставляя рассудок двигаться по порочному кругу, рождали безумие. Не было такого ответа, который остановил бы это изнурительное кружение. Был бы ответом на все мучительные вопросы бытия. Этот ответ находился вне лабиринта, вне колдовской спирали. Лемехов силился вырваться из порочного круга, чтобы отыскать желанный ответ. Но властная сила вновь помещала его на заколдованное колесо с синими спицами, и это походило на бред.

И где девки?  
И где девки?  
Они замуж пошли.  
Они замуж пошли.

Он сражался с безумием. Старался сокрушить циклотрон, по которому мчался вместе с гибельными лучами. Вырывался из ревущей трубы, в которую его засосало и носило по гигантским кругам. Он был частицей, попавшей в космический вихрь. Вселенная, по которой он мчался, состояла из двух половин, в одной из которых содержались бесчисленные, не имевшие смысла вопросы, а в другой - бесчисленные ответы, лишь умножавшие неведение. Вселенская тайна оставалась нераскрытой, мировая загадка – неразгаданной. Он носился, достигая краёв Вселенной, и на этих краях, по обеим сторонам стояли два чудовищных великана, кидали один другому его изнурённый разум.

И где мужья?  
И где мужья?  
Они померли.  
Они померли.

Он вдруг нашёл в лабиринте малое ответвление, едва заметный ход, который уводил из заколдованной спирали, сулил избавление. Он дождался, когда в песне прозвучал и оборвался очередной вопрос, и ещё не прозвучал ответ. Нырнул в этот ускользающе-малый проём между звуками. Услышал, как у него за спиной проревел вихрь и, не находя его, умчался по жуткой трубе.

Он втискивался в спасительный ход, ввинчивался в него плечами и бёдрами. Застревал, закупоривал его своим телом. Ужасался тому, что так и останется в нём навсегда.

И где гробы?  
И где гробы?  
Они погнили.  
Они погнили.

И этот последний ответ был чудесным и долгожданным. Прерывал мучительное кружение, разрывал порочный круг бытия. Лемехов вырвался на свободу, в ослепительный свет, в

божественную лазурь. Испытал блаженство, словно кончилось изнурительное время, растворилось пространство, и он всё объёдал, всё любил и славил.

Это продолжалось мгновенье. Ночная изба. Догорают в печи поленья. Умолкнувший певец, и в синих его глазах лучистые слёзы.

Они сидели молча, словно хотели привыкнуть к новой, возникшей между ними близости.

- Я хотел Вам сказать, - тихо произнёс Верхоустин. Лемехов слышал, как звенят в печи угольки, - Мне важно, чтобы Вы меня услышали...

Деревянная голубка раскачивала свою пернатую тень.

- Слушаю Вас, - сказал Лемехов.

- Вы станете Президентом России.

Пернатая тень скользила по потолку. На столе в стеклянной бутылке блестела зелёная искра. Тетёрка на блюде уронила мёртвую голову, и в раскрытом клюве краснела ветка брусники.

- Что Вы сказали?

- Вы станете Президентом России.

- Мне странно это слышать. Вы уподобляетесь пророчицам и гадалкам. Но я не заказывал Вам гороскоп и не просил погадать по руке, - Лемехов шевельнул плечами, сбрасывая сладкое наваждение, рождённое песней. Был ироничен, с досадой смотрел на Верхоустина, который разрушил таинственный мир.

- Вы должны утвердиться в мысли, что станете Президентом России. Уверовать в это и делать всё, чтобы приблизить этот момент.

- С какой стати? – раздражённо сказал Лемехов, - У России есть Президент Юрий Ильич Лабазов.

- Это лишь видимость. Он ещё значится Президентом, но он тень. Из этой тени на свет выступает другой человек. Это Вы, Евгений Константинович Лемехов.

- Вы серьёзно? Вы вторите бессмысленным писакам, которые ищут Преемника тому, кто и не думает уходить. Кто твёрдо и энергично управляет Россией.

- Об этом говорят не писаки. Об этом говорят аналитики в политологических и разведывательных центрах. Об этом возопил юродивый на церковном дворе. Он указал на Вас.

- Это был сумасшедший кликуша. На папертях таких кликуш хоть отбавляй.

- Кликуши – это вещие птицы русской истории. В их клёкоте можно угадать имена будущих царей и правителей, время падения царств. Они угадывают в благородном муже будущего убийцу, а в развратнике и распутнике – будущего святого.

- Вы живёте в области мифов и хотите, чтобы другие верили Вашим мифам. Перестаньте говорить ерунду.

- Математический институт Академии наук по моей просьбе произвёл моделирование политического процесса в России с целью выявить будущего Президента. Исследовались общественное мнение, интересы элит, конфликтные потенциалы, динамика карьерного роста, уровень поддержки тех или иных фигур в среде военных, спецслужб, церкви, научной интеллигенции, гуманитарных кругов. Все линии сошлись на Вас. Сверхмощный компьютер и кликуша выдали одно и то же.

Лемехову казалось, что на лбу его дрожит красная точка. Он чувствовал прикосновение луча, за которым последует выстрел. Погасит малиновый зев печи, тень деревянной голубицы, лицо Верхоустина. Что-то грозное и смертельно опасное приблизилось и стояло за тёмными стёклами, откуда протянулся к его лбу невидимый луч.

- А что будет с действующим Президентом? – спросил Лемехов и испугался вопроса, как если бы уже согласился с Верхоустиным.

- Лабазов завершился. Время его истекло. Господь от него отвернулся.

- С чего Вы взяли? Наоборот, его время настало. Он долго медлил и, наконец, приступил к долгожданному преобразованиям. Я – один из его соратников, кто совершает эти преобразования.

- Он не успеет совершить преобразования. Он болен. Дни его сочтены. У него поражён спинной мозг. Болезнь по лимфатическим протокам распространяется на весь организм. Существует рентгеновский снимок его позвоночника, на котором видны метастазы. Этот снимок находится в руках американских спецслужб, и в любой момент он будет обнаружен.

Лемехов испытал мучительное смятение. Слухи о болезни Лабазова вяло блуждали в коридорах власти. Но каждый раз опровергались. То он ловит рыбу на стремительной горной реке, демонстрируя голый торс с литыми мускулами. То носится на дельтаплане, подобно поднебесной

птице. То ныряет в морские глубины и плавает там, как ихтиандр. Слухи затихали, но через некоторое время вновь начинали тлеть, как угольки непогашенного костра.

Лемехов вспомнил свой недавний визит к Президенту, гримасы боли на его лице и то, как он схватился за край стола, делая резкий шаг. Тоскующий взгляд его глаз и серость лица, которая проступала сквозь розоватый грим. Слова Верхоустина, его спокойный и непререкаемый тон казались правдоподобными.

- Мы все боеем. У всех бывает недомогание.

- Это не просто недомогание. Он стал неугоден Господу. Он обманул ожидания Господа. Ему дали в управление громадную, с небесной судьбой, страну. Дали даром. Он не бился за власть, не сражался за неё на поле боя, не приносил себя в жертву. Господь подарил ему Россию, ожидая, что он восстановит великое государство. Вернёт народу мессианские смыслы. Соединит разорванные времена и пространства. Совершит чудо преображения. Но он оказался недостойн этого дара. Он промотал своё время, разбазарил его на пустыки. На забавы, на мелкие склоки, ничёмные развлечения. Он использовал власть для утоления своего честолюбия и не стал создателем Большого проекта, вместившем Русской мечты. И Господь от него отвернулся. Волшебный фонарь с драгоценными стёклами поднесли к нему, но он повесил этот фонарь в своей спальне, где забавлялся с балеринами. Фонарь от него убрали. Теперь он живёт в темноте. Он больше не нужен Господу, не нужен России. И Господь выбирает другого...

Лемехов пугался Верхоустина. Тот синими лучами проникал в потаённые глубины его сознания. Там таились запретные мысли, искустельные мечты, честолюбивые ожидания. Он тайно ощущал свою избранность, ждал мгновения, когда его окликнет громогласный голос, сверкающий перст укажет путь. Он не пускал эти мысли наружу, запечатывал, замуровывал, подозревая в них разрушительную страшную силу, способную его уничтожить. Но теперь голубой скальпель вскрывал покровы, срезал запрещающие печати, и тайные мысли всплывали.

- Я не хочу Вас слушать. Ваши фантазии опасны и рассчитаны на слабоумных. Вы, случайно, не глава тоталитарной секты, который улавливает в свою общину психически обездоленных?

- Вы не должны пропустить своё время. Оно приблизилось к Вам, остановилось, и готово войти в Вас. К Вам поднесли волшебный фонарь. Не вешайте его на фонарный столб. Не украшайте им гостиную на своей вилле. Внесите его в свою душу, наполнитесь божественным светом. Почувствуйте себя избранником Божьим, который спасёт Россию от великих бед, поведет её к великому возрождению.

- Вы сплетаете из своих слов ловчую сеть и пытаетесь меня заманить.

- Чудо случится в России, если есть для чуда причал. Чудо причалит к русскому берегу, если есть пристань. Если есть великий муж, берущий на себя бремя истории. Иначе чудо помаячит и удалится, оставив по себе гаснущий след.

Охотничья изба, окружённая дебрями. Полено в печи рассыпалось на красные угли. Деревянный голубь, образ Святого духа, парит под коричневой матицей. В словах Верхоустина что-то древнее, дремучее, из старообрядческих книг, от бродячих предсказателей и кликуш, от вещих мудрецов и келейных старцев. Этому нельзя доверять, а только вслушиваться, любоваться, как сказочными картинками Билибина, как пушкинским Золотым петушком. Лемехов отгораживался от завораживающих слов, воспринимал Верхоустина, как фольклорного сказочника.

- Вы должны принять решение. Это не терпит промедления. По России будет нанесён удар сокрушающей силы. Не ракетами, не самолётами, не подводными лодками. Это новое оружие, которое разжижает хребет государства. Подтачивает все идеалы. Оскверняет все ценности. Умалает все достижения. Ссорит элиты. Возмущает народ. Выбивает лидера, как выкалывают из свода замковый камень, и свод осыпается, погребает под собой страну и народ. По Лабазову нанесут уничтожающий удар. Опубликуют роковой рентгеновский снимок. Соберут консилиум медицинских светил. Обнаружат врождённую патологию, которая привела к извращениям, преступлениям, низменным страстям, больному стяжательству. Объявят его опасным для мира, непредсказуемым маньяком, князем Тьмы. Подвергнут его психическим атакам, используя всю мощь информационных технологий, экстрасенсорных ударов, клевету, слухи. Родятся книги о Президенте-маньяке. Комиксы о Президенте-садисте. Рок-оперы о Президенте-придурке. Лабазов не выдержит удара. Или умрёт, или сбежит из Кремля. И тогда начнётся ужасное. Борьба за власть кланов. Резня на Кавказе. Восстания народа. Неуправляемый хаос, который приведёт к падению

Государства Российского, теперь уже навсегда. Потому что обломки страны растащат Китай, Турция, Европа, Америка. И там, где была тысячелетняя Россия, останется кратер от падения метеорита-гиганта.

- Так не будет, - слабо прошептал Лемехов, - Такое невозможно.

- Вы должны подхватить замковый камень и не дать своду рухнуть. Вы – тот новый замковый камень, который будет вставлен взамен прежнего. Ваша миссия – спасти Государство Российское. Для этого Вас сотворил Господь. Дал Вам жизнь и дыхание. Вы должны стать Президентом России.

Лемехов вдруг почувствовал пьянящую сладость, восхитительное озарение. Его тайные предчувствия сбывались. Сокровенные мечты вырвались к свету. Он – избранник. На нём - перст Божий. Он – замковый камень русской истории. И это говорит ему не синеокий пророк, а внутренний голос, подобный голосистой трубе, которая трубит его час.

- Но как я стану Президентом России?

Лемехов испытывал сладость от искусительной мысли. Понимал, что сама эта искусительная мысль есть предательство Лабазова, который наградил его доверием, приблизил к себе, вручил судьбу страны. И теперь, используя эту близость, Лемехов совершает предательство, чудовищное вероломство. Вступает в заговор против своего благодетеля.

- Вас безоговорочно поддержат оружейники и промышленники, - продолжал Верхоустин, - Вас поддержат армия и спецслужбы. Вас поддержит церковь. Вам поверит интеллигенция. Мы создадим партию. Весь мой опыт социального конструктора, системного аналитика, специалиста по гуманитарным технологиям я отдам Вам. Мы построим партию нового типа. Партию Большого Проекта. Партию Русской Победы.

- В чём Русская Победа? – прошептал Лемехов, чувствуя, что колеблется у зыбкой оси, которая пронизывала мироздание. Слабый удар пылинки, робкое дуновение ветерка, и он ринется безоглядно в своё предначертанное будущее, где ждёт его великое свершение или постыдная гибель.

- Нет, не хочу, - он одолел наваждение. - Всё бред. Пора спать. Вам постелили за стенкой.

Они разошлись по разным половинам избы. Лемехов накрылся тяжёлым стёганым одеялом и быстро уснул. И сон его был тревожным и тягостным. Ему снилась ночная дорога, и он идёт по ней, накинув на плечи одеяло. Рядом другие люди, идут, накинув одеяла. Их лица неразличимы. Они подходят к горе и идут вверх на гору, за которой синее заре. На вершине горы из камней выложена спираль. Люди входят в эту спираль и идут, совершая кружение, приближаясь к центру, где исчезают. И в этой спирали, в этих кругах, из таинственной бездны доносится: «И где кони? И где кони?» Заря над горой, как синяя слива...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наутро они почти не общались. Верхоустин оставил избу, и Лемехов видел, как тот бродит по сырому лугу, нагибается, что-то рассматривает. Быть может, последние предзимние цветы. Под хмурым небом леса казались тёмно-золотыми слитками, и это золото вливалось в глаза, делая их тяжёлыми и неподвижными.

Пообедали, обмениваясь пустяками, будто и не было ночного разговора. На замызганном внедорожнике прикатил егерь Макарыч. Проворный, деловитый, положил на лавку защитного цвета куртку и брюки, поставил резиновые сапоги.

- Надевай, Константиныч, форму. Я её рябиновыми веточками перекладывал. Медведь нюхастый, человека учуял и убёг. Давай-ка мне карабин.

Лемехов достал из чехла свой немецкий пятизарядный карабин. Медового цвета ложе, голубоватый, с воронным отливом ствол. Протянул Макарычу. Тот расстегнул ворот, извлёк нагельный крестик, приложил к стволу, к патроннику, к ложу:

- Господи Иисусе, посули зверю сладкий овёс, пьяный мёд, ягоду-чернику. Чтобы рабу божьему Евгению не потеть, не храпеть, не дрожать, не бежать. Пуля первая, она же последняя. Ружьё заговорено, отмолено. А мы тебе, Боже, свечку поставим.

Макарыч поцеловал карабин, как целуют икону, вернул Лемехову.

- Теперь слушай, Константиныч. Я тебя до леса подброшу и по лесу, пока дорога терпит. Как промоины пойдут, ты выходи и ступай пешком километра три. Колея путь укажет. Дойдёшь

до луговины, где овсы, увидишь вышку. Садись и жди. Сегодня медведь придёт, чую. Ты его бей, а если уткёт, за ним не бежи. Он, раненый, тебя сторожить станет и сгребёт. Я утром с собакой приду, и если что, мы его по следу возьмём. Ну, давай, собирайся.

Лемехов облачился в пятнистую форму, натянул сапоги. Распихал по карманам фонарь, тепловизор, прибор ночного видения, нож, индивидуальный пакет, непромокаемые спички, коробку с патронами. Пристроил за спиной свёрнутый тёплый коврик. Взял на плечо карабин. Верхоустин наблюдал за его приготовлениями. Проводил вещим взглядом васильковых глаз.

Внедорожник пересёк луговину, въехал в лес, выдавливая жижу из промоин, углубился в сырую чашу, в тусклое золото. Некоторое время колыхался, объезжая упавшие деревья, буксуя в ямах. Остановился у рытвины, полной чёрной воды, на которой застыли жёлтые и красные листья.

- Стоп машина, - сказал Макарыч. - Танку делать неча. Только пехота. Ступай, Константиныч, а я тебя завтра найду, - и уехал, оставив Лемехова у чёрной, осыпанной золотом лужи. Слыша, как стихает вдали мотор, Лемехов вдохнул полной грудью холодный воздух с запахами хвои, горькой листвы, мокрых грибниц. Из неба брызнула на лицо горсть дождя, и он зашагал.

Шёл сквозь лес сильной лёгкой походкой. Куртка была удобна, сапоги по ноге, ремень карабина плотно давил плечо. Лес обступил его своей чуткой тишиной, смотрел тысячью глаз, пускал в свою глубину, молча, таинственно следил за ним. Лес был необъятный, живой. В глубине этой золотой листвы, тяжёлых елей, седых лишайников и зелёных мхов, таился медведь. Был обладателем этого леса, его божеством и стражем. Лемехов явился, чтобы отобрать медведя у леса, вонзить в него одну из пуль, дремлющих в стальном карабине. Он чувствовал присутствие зверя среди запахов, проблесков неба, на чёрной, поросшей травой, колее. Любил этого зверя, благоговел перед ним, стремился увидеть и просверлить пулей его звериное сердце.

Лес наблюдал за ним, передавал весть о нём от дерева к дереву, от одной мшистой кочки к другой. Лемехов был окружён бесчисленными глазами. Маленький придорожный цветок, успевший перед холодами раскрыть свои розовые лепестки. Ягода черники, пьяная на вкус, оставившая на пальцах каплю винного сока. Старая паутина на еловой ветке с застрявшим в ней птичьим пером. Красный, с волнистыми краями, лист осины с зеркальцем воды, отразившей небо. Он чувствовал лес, как дышащий мир, среди которого, наполняя его тайной, жил медведь.

Лемехов забывал грохочущий железный мир, из которого явился в заповедный лес, становился обитателем леса. И когда из-под ног взлетел рябчик, унёсся, посвистывая и хрустя крыльями, Лемехов испугался и радовался своему испугу, благодарил рябчика за этот восхитительный испуг.

Лес кончился, и он оказался на пустоши, где, должно быть, прежде находилась деревня, одна из тех многочисленных, что исчезли на оскудевшем Севере. Избы пропали, пустошь зарастала кустами и была засеяна овсом. Ухищрение егерей, которые на овёс выманивали кабанов и медведей. Овёс отяжелел от дождей и полёг, в нём были протоптаны кабаньи тропы, чернела изрытая кабанами земля. Поле в сумерках казалось сизым, голубым, и над ним висел туман. Посреди поля стояла вышка, построенная из жердей. К ней, раздвигая метёлки овса, направился Лемехов, осыпая сочные брызги.

По шаткой лестнице забрался на вышку. Постелил на сырые доски коврик. Выставил карабин, разглядывая сквозь инфракрасный прицел опушку, увеличенные, струящиеся в водянистом свете кусты, древесные стволы, ели, усыпанные у вершин шишками. Представлял, как в зелёном свете прицела возникнет медведь, поднимая заострённую морду, ловя летящий над полем ветерок.

Сердце сильно забило, и он двигал перекрестье прицела вдоль опушки, ожидая выхода зверя. Но опушка была пустынной, мир сквозь прицел казался зеленоватым аквариумом, в котором, чуть размытые, струились гривы овса.

Он успокоился. Устроился удобнее. Приготовился ждать. Смахнул с приклада прилипший берёзовый листочек. Опустил карабин, положив ствол на деревянную поперечину. И вдруг ощутил внезапное счастье, восхитительное одиночество. Освобождение от мучительных переживаний, неразрешимых забот. Из этих забот состояла его жизнь, состоял он сам, его мысли, которые вторгались в непокорный, враждебный, ускользающий от понимания мир. Теперь этот мир состоял из голубых овсов, пахнущего лесами ветра, лёгкой пелены тумана, которой кто-то тихо накрыл край поля. И это одиночество обращало его душу к вечереющему небу, откуда смотрело на него безымянное око.

Неподалёку, за полем, кричали журавли. Начинал курлыкать один, ему вторил другой, множились стенающие вопли, и сонмище тревожных криков сливалось в булькающую, звенящую и рыдающую музыку. От неё сладко захватывало дух. Лемехов подумал, что журавлиная станица встала на вечернюю птичью молитву, и этот стенающий вопль слышит притаившийся в чаще медведь.

Стемнело. Лес стоял неразличимой островерхой стеной. Овсяное поле стало бурым, с млечной полоской тумана.

Он услышал бурлящий звук крыльев, который сильным хлопком оборвался недалеко от вышки. Навёл на звук прицел. В студенистом зелёном круге возникла тетёрка, её маленькая изящная голова, тонкая шея и круглое туловище с прижатыми крыльями. Она поворачивала голову в разные стороны, как женщина перед зеркалом. А потом принялась клевать овёс, долбя метёлки крепким клювом. Встрепенулась и улетела с замирающим булькающим звуком.

Лемехов ждал, когда сгустится ночь, и в этой холодной гуще, пропитанной душистой сыростью, пряными травами, горькой корой, возникнет медведь. Так же, как и Лемехов, он ждёт, когда погаснет на западе последняя голубая полоска.

Лемехов извлёк из кармана тепловизор, подарок офицера спецназа. Повёл по полю. В окуляре была однородная серость, в которой вспыхивали розовые частицы. Горячая жизнь птицы или лесного животного не нарушала холодное однообразие поля, не отражалась в окуляре розовым нежным пятном.

И вдруг это розовое свечение возникло! Два розовых силуэта появились на буром фоне. Плыли, не касаясь земли, нежно-розовые, окружённые алой кромкой. Лосиха и лосёнок пересекали поле, и, казалось, они парят в невесомости, как два небесных светила. Лемехов с блаженным умилением следил, как посланцы неба пересекают поле. Забыл, что рядом лежит стальной карабин, заряженный смертоносными пулями, и он явился сюда, чтобы убить. Он был свидетелем чуда, и кто-то незримый, повелевающий лесом, полем и небом, удостоил его чуда, наградил волшебным зрелищем.

Розовые лоси плавно переплывали поле, оставляя гаснущий след. Исчезли, породив в душе Лемехова нежность и обожание.

Он вдруг подумал, что лоси предвосхищали появление медведя. Медведь послал их впереди себя, и теперь, с минуты на минуту, появится сам.

Лемехов схватил карабин. Он испытывал острое нетерпение, страстное ожидание, готовность выстрелить. Зрачок сквозь прицел скользил по опушке. В канале ствола лежала пуля. Приклад плотно упирался в плечо. Палец касался спускового крючка, лаская гладкую сталь. Он сдерживал дыхание, успокаивал сердце. Зрачок сочетался с пулей. Мускул руки сочетался с холодной сталью. Он был уверен в точности выстрела и ждал, когда из тёмного леса на водянисто-зелёное поле выйдет громадный зверь. Чутко поведёт головой, запоздало обнаружит опасность, повернёт к лесу. Но в него уже вопьётся огненный выстрел, пуля пробуравит могучие кости, рассечёт сердечную мышцу.

Лемехов поводил прицелом, просматривая опушку. Но медведя не было. Зрачок уставал, палец нервно касался крючка. Плечо затекало.

Он стал упрашивать зверя выйти из леса, выманивал его, умолял. «Выйди, ну, что тебе стоит. На одну минутку, на секундочку. Овёс вкусный, сладкий, для тебя угощенье. Ну, выйди, умоляю тебя!»

Эта детская наивная молитва, сменилась другой, обращённой не к медведю, а к тому безмолвному властелину окрестных чащоб и полей, который выслал к нему лосей, а теперь, вняв его молитве, вышлет медведя. «Умоляю, ты властелин, ты всемогущий. Твои лоси. Твоя тетёрка. Твой красноголовик, который выглядывал из зелёного мха, когда я шёл по дороге. Пришли мне медведя!»

Эта языческая молитва, обращённая к лесному духу не помогла. И он стал молиться Господу, совершив крестное знамение. «Я грешник, Господи, виноват перед тобой, прости меня. Я каюсь, искуплю грехи. Но пошли мне медведя, покажи, что ты любишь меня, слышишь меня. Пошли медведя, Господи!»

Эта молитвенная страсть, жаркое упование жгли сердце, захватывали в раскалённую сердцевину всё бытие, ради которого он жил и дышал.

И вдруг опалила мысль, которая пряталась во всех его молитвах. Если он убьёт медведя, то станет Президентом России. Медведь, как в сказке, таил в себе его будущее, его судьбу, его

главное предназначение. Оно исполнится, если пуля пробьёт медвежье сердце. Или предназначенье не сбудется, если медведь не придёт.

Эта мысль страшно взволновала его, а потом опустошила и отлетела. Оставила по себе горькое недоумение. Лемехов сник, отвёл зрачок от прицела, снял палец с крючка. Отложил карабин.

Он испытывал разочарование. Он молил Бога об утолении своей охотничьей страсти, своей искусительной потаённой мечты, которую внушил ему странный колдун с васильковыми глазами. Бог не внял его молитве. Он был неугоден Богу, был им отвергнут.

Он лежал на коврике в холодной ночи, и ветер летел над вышкой, посыпая его мелким дождём. Его мысли бежали и рассыпались, не связанные между собой.

Мимо проплыл борт лодки, чёрный, как вар, с белым росчерком мела. Возникло женское, розовое тело, одетое блеском воды. Его возлюбленная стояла под душем в перламутровой ванной, вода омывала её грудь, бежала по животу, и он касался губами её колен. Мозаичная икона «Державная» брызнула бриллиантовыми лучами, и возникло болезненное, раздражённое лицо Президента, его презрительно сжатые губы, когда он смотрел на картину придворного живописца.

Всё это кружилось, сталкивалось, рождало тревожное недоумение.

Он повёл тепловизором по ночному небу, направляя прибор в мутную пустоту. Перевёл его на лесную опушку, где кромка леса едва отличалась от поля, усеянного красными точками. Скользнул по овсам и увидел медведя.

Медведь был красным пятном, пульсирующим, как огромное сердце. Пятно, яркое внутри, бледнело по краям, растворяясь в серой мгле, где вспыхивали красноватые точки. Слово сердце разбрызгивало капельки крови.

Лемехов боялся шевельнуться, моргнуть, чтобы дрожанье век не передалось сквозь окуляры прибора и не спугнуло медведя. Лемехов умолял медведя, чтобы тот не исчез. Отложил тепловизор. Подтянул карабин. Подкладывая ладонь под цевьё, упирая в плечо приклад. Прижался глазом к трубке прицела. Зеленоватое пространство заструилось в прицеле, и в перекрестье возник медведь. Бурое тулово, заострённая голова, шевелящиеся лапы. Медведь сидел, загребая лапами метёлки овса, совал их в пасть, жевал, крутил головой. Подпрыгивал на ягодицах, перемещаясь вперёд, захватывая лапами новую охапку стеблей, заглывал сладкое лакомство.

Лемехов моментальным усилием воли остановил неровное дыхание, успокоил сердцебиение, слил воедино упругую мышцу плеча, хрусталик глаза, чуткий палец, лежащий на спуске. Навёл перекрестье туда, где, невидимое, билось медвежье сердце. Нажал на спуск.

Тугая отдача, грохот. Успел увидеть в прицел, как дёрнулся, отшатнулся медведь. Знал, что пуля его настигла. Отложил карабин и в тепловизор оглядывал поле, ожидая увидеть алое пятно зверя. Медведя не было. Кругом была серая мгла, непроглядная муть.

Он жарко дышал, сердце колотилось. Он не мог промахнуться. Раненый зверь мчался сейчас сквозь лес, гонимый страшной болью, разбрызгивая кровь из раны. Или, мёртвый, с пробитым сердцем, пробежав до опушки, рухнул дрожащей горой.

Лемехов не понимал, что он должен делать. Оставаться на вышке до рассвета, дожидаясь егеря Макарыча с собаками и по следу, по окровавленным травам, догнать медведя. Добить его, лежащего, угрюмо глядящего на поднятые стволы. Или же, не дожидаясь рассвета, освещая путь фонарём, найти у опушки раненого зверя и, не давая ему, опомниться, застрелить подранка.

В нём боролись благоразумие и страсть. Здравая осмотрительность, свойственная его рассудительной натуре, позволявшая избегать гибельных решений. И жаркое нетерпение, которое внезапно охватывало его и побуждало действовать вслепую. Уповая на удачу, на счастливую звезду. И неизменно приводила к успеху.

Он свернул коврик и укрепил за спиной ремешком. Придерживая заряженный карабин, спустился с вышки. Зажёг фонарь и стал пробираться через овсы, светя ярким млечным пятном. Овсяные метёлки полегли от дождя, на сапоги летели блестящие брызги.

Лемехов увидел затоптанный овёс, вырванные с корнем стебли. Здесь медведь лакомился, загребая лапами метёлки, чавкал, сосал, подпрыгивал на ягодицах. Здесь в него попала пуля, толкнула навзничь, обратила в бегство. Лемехов светил фонарём, стараясь обнаружить кровь. Влажно переливались стебли, хрустально вспыхивала вода.

Лемехов осторожно пошёл к опушке, держа на весу карабин, готовый стрелять, если в свете фонаря вдруг возникнет косматая башка, белые клыки и красный язык. И всё это ринется с рёвом навстречу.

Опушка была в мелких кустах с жёлтыми листьями. Стояли невысокие елки, усыпанные каплями. В траве, в пятне фонаря, мелькнул цветок лесной гераньки. Пахло сырой землёй, горечью увядающих трав, лесным туманом, в котором сладко истлевала листва. Крови не было.

Неужели он промахнулся? Спугнул зверя? И теперь тот укрылся в непролазной чаще. И весь огромный лес прячет его, стережёт. Бьёт по лицу Лемехова мокрой еловой веткой. Громоздит на пути коряги. Громко хрустит сучками, оповещает о его продвижении. И все обитатели леса - лоси, кабаны, тетерки и рябчики - проснулись и наблюдают за ним. Сообщают медведю о его приближении.

Он увидел на травяном листе чёрную кляксу. Она блестела, как дёготь. Он тронул её пальцем, палец поднёс к фонарю, и палец был красным.

Лемехов ликовал. Зверь был подстрелен. Промчался, неся в себе пулю, брызнув густой, как варенье, кровью.

Кровь пятнала траву, темнела на листьях длинными брызгами. Брызги указывали направление звериного бега. Лемехов, чуткий, осторожный, пружиня стопами, шагал, предчувствуя близость зверя. Втягивал воздух, стараясь среди холодных лесных ароматов поймать терпкий горячий запах крови.

Внезапно фонарь стал меркнуть, почти погас, только малиновым завитком виднелась нить накаливания. Видно, сел аккумулятор. Лемехов подумал, что это лесные духи, охранявшие медведя, погасили фонарь.

Была тьма. Только в вершинах ёлок чуть синело ночное небо. Идти было невозможно. Стрелять, в случае появления раненого зверя, было невозможно. Нужно было поскорее возвращаться на овсяное поле, забраться на вышку и там, в безопасности дожидаться рассвета.

Лемехов стоял, приподняв карабин, вслушиваясь в мрачную, опасную тишину леса. И вдруг почувствовал в этой тишине зияющую пустоту. Лес был пуст. Он обмелел, поредел, осел, словно из него вытек воздух, перестали пахнуть травы, хрустеть сучки, брызгать на лицо влага. Лес был мёртв, из него изошёл лесной дух. И Лемехов понял, что медведь убит. Пустота леса была пустотой дома, в котором лежал покойник. И эта тишина остановила Лемехова, опустошила. Вместо радости победителя он испытал недоумение, печаль, ноющую тоску. Словно пуля его убила не медведя, а весь лес. Казалось, он слышит слабый свистящий звук, словно из его груди, сквозь прокол выходит воздух, в груди оставалось всё меньше жизни. Он вот-вот упадёт.

Он раскатал на земле коврик и лёг, прижавшись головой к еловому корню. Уложил рядом ненужный карабин. Стал смотреть вверх, где едва синело небо.

Была тишина. Где-то неподалёку лежал медведь, и в его громадном, остывающем теле таилась убившая его пуля.

Лемехов лежал, вспоминая горячее алое пятно в тепловизоре, излучение могучей жизни, которая теперь угасла. Почему-то вдруг вспомнил взлетающий истребитель, на испытаниях которого недавно присутствовал, и свой спор с министром обороны, касавшийся лётных характеристик машины. Рассеянно подумал о своём заместителе Двулистикове, на лице которого постоянно держалось чуткое выражение преданности. Вспомнил свой загородный дом с зимним садом, в котором должен распуститься цветок Виктории Регины, белая, плавающая в воде звезда с золотой сердцевинкой. Остро подумал об отце, пропавшем бесследно в Мозамбике, и о том, что где-то в африканской саванне среди трав есть место, на котором лежал отец, и в нём, как и в этом медведе, таилась убившая его пуля. Под закрытыми веками брызнули разноцветные бриллиантовые лучи Богородицы «Державной», которую он целовал, и он ощутил на губах чудное душистое прикосновение.

Лемехов спал, прижавшись к еловому корню в тишине застывшего леса.

Ему снился сон. Он мчится в автомобиле по весенней безлюдной Москве, с алыми тюльпанами и пышными фонтанами. Проносится под Триумфальной аркой с бронзовой квадригой. Перелетает Москву-реку. Кремль, розовый, золотой. Мягкий шелест брусчатки. «Василий Блаженный», как фантастический цветок. Автомобиль сквозь Спасские ворота въезжает в Кремль и останавливается у дворца с янтарными стенами. Строй гвардейцев в старомодных киверах. Гарцуют кавалергарды на белых лошадях. Он взбегаёт по дворцовой лестнице, лёгкий, счастливый, исполненный торжества, словно его несёт ликующий вихрь. Красная дорожка в Георгиевском зале с золотыми именами гвардейских полков и экипажей. Ему аплодируют. Кругом мелькают знакомые лица министров, депутатов, сановников. Лицо Президента Лабазова, больное, несчастное, провожает его укоризненным взглядом. Он пробегает сквозь толпу, едва касаясь

паркета, и в Андреевском зале, среди обожающих взглядов, военных мундиров, клобуков и белых бород, на изящном постаменте с золочёными цветками и листьями лежит тяжеловесная, в кожаном переплете, книга, - Конституция, на которую из высокого окна падает аметистовый луч. И в нём торжество, вдохновение, чувство божественного величия, от которого сердце счастливо замирает. Он протягивает руку к священной книге, вносит ладонь в аметистовый луч, готовый прикоснуться к тесненной коже. И... просыпается...

Рассвет висит в туманных вершинах. Он лежит на коврике среди мокрой жухлой травы. И вокруг, по листьям, еловым корням, спутанным вялым стеблям - брызги и кляксы крови. Вся земля в крови, и коврик в крови, и ладони, которыми он шарил во тьме, в красной липкой крови. Видно, здесь, ослабев от раны, медведь устроил свою предсмертную лёжку. Брызгал вокруг бурлящей кровью.

Лемехов, лёжа на предсмертном зверином ложе, видел свой вещий сон.

Он торопливо, переступая окровавленную траву, перенёс коврик в сторону. Отирал руки о мокрые листья, пугливо оглядывался туда, где кровенела лёжка.

Послышался лай собак. Показался егерь Максимыч и второй мужик, долговязый, небритый, с лиловой отвисшей губой.

- Ну, Константиныч, завалил Мишу. Пуля моя заговорённая, ввинтилась ему под ребро.

- Где медведь? – спросил Лемехов.

- Тут, метров двести...

Медведь лежал среди мелкого ельника, бугрясь косматой спиной. Вытянул передние лапы, положил на них голову, глаза его были закрыты. Казалось, он спал, и в свои последние минуты больше не испытывал страдания, мучительного страха смерти. Примирился со своим уделом, кротко и безропотно принял смерть, среди родных деревьев, любимых трав, крохотных предзимних цветков. На его бурой, отливавшей стекляннм блеском шерсти лежал жёлтый листик берёзы.

Лемехов смотрел на медведя и не испытывал торжества, а лишь мучительное непонимание мира, в котором он должен был выследить и убить этого огромного зверя. Опустошить лес, опустошить свою душу. В ответ за это убийство увидеть эту кроткую звериную позу, какая бывает у спящих беззащитных детей. Это смирение в смерти. Этот малый золотой листик, при взгляде на который хотелось рыдать.

Собаки вились вокруг медведя, скулили, тонко взвизгивали, боясь приблизиться.

- Мы, Константиныч, шкуру сымем, скорняку отдадим. Тебе память. А за мясом мужиков из деревни пришлю. Тебе спасибо скажут.

Лемехов отошёл, присел на поваленный ствол. Смотрел, как Макарыч и мужик с лиловой губой сдирают с медведя шкуру.

Они перевернули зверя на спину, орудовали ножами, проводя хрустящие линии от горла к паху, делали кольцевые надрезы на лапах. С треском сволакивали шкуру, ударяя в мездру кулаками, рассекая лезвиями тугие плёнки. Казалось, они стаскивают с упавшего человека шубу, тот не даёт, протестует, а его грубо раздевают.

Шкуру содрали и расстелили на траве, мездрой вверх. Мездра была бело-розовой, в красных прожилках, отороченная жёстким мехом. Сам же медведь, липкий, красный, с литыми мускулами, был похож на окровавленного человека. На его голове с обрезанными губами, блестя клыки, чернели выпуклые, полные слёз глаза. Казалось, он хохочет и одновременно плачет.

Макарыч рассёк медведю брюхо, вывалил кишки, извлёк сердце и печень. Положил на траву, и они казались двумя мокрыми тёмно-коричневыми валунами. Лемехов видел, как Макарыч окровавленными руками устало отирает со лба пот. От медведя исходил парной дух, какой бывает на мясных прилавках. Собаки крутились у туши, опьянев от крови. Мужик с лиловой губой отгонял их ногами.

- Пошли обмывать добычу! – Макарыч завернул сердце и печень в клеёнку, погрузил в мешок. Они двинулись через лес к дороге.

Вечером в избе было дымно. Макарыч ставил на стол огромную сковородку с поджаренной медвежьей печенью. Наливал в стаканы водку.

- Ты, Константиныч, настоящий стрелок, - пьяно гудел Макарыч. - Много тут всяких бывает, енералы, депутаты. Так себе охотники, скажу я тебе. А ты, Константиныч, стрелок от Бога.

Лемехов пил водку, подхватывал вилкой куски раскалённой печени. Верхоустин смотрел на него счастливыми васильковыми глазами. Пьянея, Лемехов подумал, что это Верхоустин своим колдовством подвёл под выстрел медведя. Направлял в ночи по кровавой тропе. Уложил у елового корня. Навеял вещий сон. Заронил в Лемехова мучительную мечту и обрызгал эту мечту жертвенной кровью.

Наутро прилетел вертолёт и доставил Лемехова и Верхоустина в аэропорт. В дороге они почти не разговаривали. В Москве, холодно прощаясь с Верхоустиным, Лемехов решил больше с ним не встречаться.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лемехов любил возвращаться в свой загородный особняк в Барвихе. После утомительных совещаний в министерствах, после поездок на заводы и полигоны в уютной машине, в сопровождении тяжеловесного джипа он мчался по Рублёвке, расплёскивая лиловые вспышки. Прорывался сквозь чад и рокот к Москве-реке, к реликтовым соснякам, к великолепным дворцам и усадьбам. Его дом был построен в стиле ампира. Архитектор использовал мотивы подмосковной усадьбы Суханово, где Лемехов в детстве жил вместе с мамой, в доме отдыха архитекторов. Чудесны были белые колонны и медового цвета фасад, ажурная беседка и зимний сад, просторная ротонда и изумрудного цвета газон.

У чугунных узорных ворот его приветствовал охранник.

- Здравия желаю, Евгений Константинович. За время Вашего отсутствия происшествий нет.

Газон был сочный, зелёный, очищенный от палой листвы. Вдалеке белела беседка с колоннами. Кусты вокруг неё казались оранжевыми, красными и золотыми шарами. Садовник в фартуке, с секатором, снял перед ним тирольскую шляпу:

- С приездом, Евгений Константинович. Докладываю, что Ваши любимые голландские георгины выкопаны и чудесно перезимуют. Розы укрыты, а уссурийский орех утеплён, и ему не страшны морозы. Загляните в оранжерею, там Вас ожидает сюрприз.

- Спасибо, Валентин Лукьянович, рад Вас видеть.

Лемехов прошёл к дому. К стеклянному входу вели чёрные, чугунного литья, ступени. Фронтон был украшен литыми павлинами. У входа стояли два мраморных льва. Лемехов тронул тёплой рукой холодную львиную голову.

В доме было светло и чисто. Веяло свежестью просторных прибранных комнат. Его встретил миловидный пожилой служитель Филипп Филиппович, которого Лемехов называл «мажордомом».

- Заждались Вас, Евгений Константинович. С прибытием! - на лице мажордома гуляла простодушная искренняя улыбка. Лемехов, отдавая мажордому пальто, шутливо спрашивал:

- Нет ли каких известий от Государыни императрицы? Здоров ли светлейший князь Остерман? И верно ли, что у баронессы фон Зигель ошенилась болонка?

- Всё хорошо, Евгений Константинович. Все, слава Богу, здоровы. Обед сейчас велите подать?

- Чуть погода, Филипп Филиппович.

Ему не терпелось заглянуть в зимний сад и узнать, какой сюрприз его ожидает.

Оранжерея напоминала прозрачный кристалл. Теснились кадки с растениями. От глянцевиных листьев, тропических цветов, укутанных в мох стволов исходили испарения, туманившие стёкла зимнего сада.

Лемехов, задев плечами, ветки, прошёл к бассейну. В нём плавали круглые, как зелёные тазы, листья Виктории Регии. Из тёмной глубины всплыл цветок.

Белоснежные, как из сливочного масла, лепестки. Золотые тычинки, окружавшие крохотный слиток золота. Дивная звезда возшла над тёмной гладью бассейна, в котором промелькнул и скрылся рыбий плавник. Лемехов с восхищением смотрел на цветок. Своей целомудренной красотой и доверчивой негой он говорил о благополучии дома, о достатке и изобилии, среди которых только и мог расцвести этот волшебный цветок Амазонки.

Среди растений, собранных стараниями садовника Филиппа Филипповича были три дерева, которым Лемехов поклонялся. Это поклонение исходило из глубин древних верований, которые в нём тайно цвели среди рокота танковых моторов, взлёта ракет, отточенной логики

научных концепций. Эти тайные верования, в которых он бы никому никогда не признался, уживались с церковными службами, с бриллиантовым ликом Богородицы, оставлявшим на губах нежное тепло. Были из тех времён, когда его забытые предки поклонялись священным рощам, оплетали берёзы лентами, населяли леса и воды духами жизни и смерти.

Араукария с мягкой дымчатой хвоей, с пушистыми, распростёртыми ветками напоминала женщину, раскрывшую объятия. Этой женщиной была его мать, раскрыла ему свои материнские объятия. Её душа, её чудесные переживания, её молчаливая любовь не исчезли после смерти, а переселились в это вечнозелёное дерево. Лемехов взял в ладони мягкую опушённую ветку и поцеловал, как делал это при жизни мамы, целуя её милую руку. Араукария слабо качнула в ответ своими зелёными перстами.

Олеандр касался араукарии глянцевитой листвой. Это был отец, который не исчез на берегах Лимпопо, а перенёсся сюда, в оранжерею, и вселился в дерево. Облачился в листву, иногда расцветая розовыми цветами, словно обращался к сыну с неизъяснимым отцовским влечением. Лемехов подолгу смотрел на цветущее дерево, стараясь угадать безмолвное послание, быть может, рассказ о том, каким был последний день и час отца у берегов жёлтой африканской реки, где настигла его смерть. Лемехов погрузил лицо в листву олеандра, слыша слабый смоляной аромат. Радовался тому, что листья олеандра и араукарии касаются друг друга, словно мать и отец встретились после долгой разлуки, и теперь неразлучны.

И третье дерево, молодая пернатая пальма, вызывала в нём болезненную нежность и горькое обожание. Это был его нерождённый сын, от которого избавилась жена в помрачении, с их обоюдного согласия. Это сыноубийство превратилось с годами в разрушительную невыносимую боль, от которой жена потеряла рассудок и томила уже несколько лет в клинике для душевнобольных. А он, в своих блистательных победах и неуклонных восхождениях, чувствовал в душе пулевое отверстие, в которое постоянно втекала струйка щемящей боли. Лемехов поцеловал молодой лист пальмы, напоминавший нераскрытый веер. Подумал, что сын продолжает жить, возрастает в этом стеклянном дворце.

Дом, в котором жил Лемехов, был двухэтажный, окружён газоном и парком, сквозь который просвечивали соседние, великосветские виллы. На первом этаже размещались кухня, столовая, службы, просторная гостиная и спальня, а также сауна и бассейн в полукруглой ротонде с прозрачным куполом. На втором этаже были спальня, рабочий кабинет, библиотека и комната, в которой жила, болела и провела последние дни мама.

В этом просторном и ухоженном доме иногда посещало его чувство одиночества. И он радовался, когда приезжала его возлюбленная Ольга, молодая, прелестная, композитор и музыкант. Она сочиняла сладостные и печальные блюзы, которые сама исполняла на флейте. Вот и сегодня он поджидал её в гости. Не стал обедать, попросив мажордома сервировать стол для ужина. Отпустил прислугу и гулял по дому, глядя, как в просторных окнах золотятся деревья, и на изумрудном газоне драгоценно белеет беседка.

В комнату мамы он заходил очень редко. На мгновение приоткрывал дверь, видя кровать, где прошли её последние часы, и стены, сплошь увешанные иконами. К концу жизни мама воцерковилась, не пропускала службы, ездила в паломнические поездки, привозя из них множество больших и малых образов, пасхальных свечек, пузырьков с ладаном. Иногда он садился на кровать и смотрел на иконы, перед которыми мама молилась. О его, сыновнем здравии, об отце, возвращение которого вымаливала до последнего часа, и о чём-то таком, что вызывало у неё тихие слёзы. Лемехов смотрел на иконы, которые были зеркалами, хранившими материнское отражение, и пугался, что однажды откроет дверь в комнату, и навстречу ему, среди горящих свечей и лампад, шагнёт мама со своим чудным любящим ненаглядным лицом.

На столе в рабочем кабинете стояли телефоны правительственной связи, лежали документы, которые он не успел просмотреть перед поездкой. Стол украшали сувенирные модели танков, штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов, и среди них лежала огромная морская раковина, розовая, спиралевидная, с перламутровой глубиной. Эту раковину подарила ему Ольга, уверяя, что в ней звучит голос её флейты.

Лемехов поднёс раковину к уху, и ему почудилась печальная сладкозвучная мелодия.

В библиотеке он рассеянно рассматривал дорогие корешки подарочных изданий, вынул и поставил на место книгу Тоффлера на английском, труд Бжезинского «Большая шахматная доска». Среди нарядных паспарту и расцвеченных суперобложек стояли книги отца об этнографии Мозамбика, экономике португальских колоний, истории Африканского национального конгресса.

И втиснутая между этих томов тетрадь для календарных записей. В ней хранились отцовские заметки и его стихи. Эту тетрадь принёс отцовский сослуживец уже после того, как отец пропал без вести.

Лемехов достал тетрадь, присел на диван и стал читать написанные синими чернилами четверостишия, читанные много раз. И всякий раз они вызывали головокружение, как если бы он чувствовал вращенье земли.

Царило африканское засушьё.  
В голодных деревнях стояли плачи.  
Пила из лужи лань, прижавши уши,  
Поджарый волк и я, «солдат удачи».

Горела Африка, и дикое зверьё  
Бежало сквозь огонь сухих акаций.  
Бежал и я, не отпускал цевьё  
Обугленной трофейной «Эм шестнадцать».

Нас уцелело двое из немногих.  
Мы добирались до прибрежных глыб.  
Нам океан выплёскивал под ноги  
Серебряных и золочёных рыб.

Кипела на ветвях обугленных смола.  
Мы у костра вповалку все уснули.  
И в брошенных, обшарпанных стволах,  
Устав летать, дремали наши пули.

В траве ютились тварей миллиарды.  
Там всё сверкало, пело и свистело.  
Два грифа в небе, словно алебарды,  
Снижались на безжизненное тело.

Под небом Африки, в стреляющем краю  
Средь блеска звёзд лежал, зажав винтовку.  
С тех пор я под рубашкою храню  
Тех африканских звёзд татуировку.

Опять буран войны меня унёс.  
Но всё хранил, всё сберегал в дороге  
Тот горький вкус твоих прощальных слёз  
И поцелуев сладкие ожоги.

В пустыне душной на ночлег прилёт.  
Под утро дождь пролился над песками.  
Проснулся, и божественный цветок  
У глаз моих светился лепестками.

Был утром океан жемчужно-синий.  
Коверкая английские слова,  
Нам африканки яства приносили  
На маленьких прекрасных головах.

Она лежала, чёрная царица.  
Я украшал ей груди виноградом.  
Она явилась из сказаний древних,  
Благоухающих фруктовым садом.

По Лимпопо сплавлялись к океану.  
Вдали горела хижин вереница.  
На пулемёт, повёрнутый в саванну,  
Внезапно села голубая птица.

Мерцала в воздухе волшебная слюда.  
К луне неслись бессчётные создания.  
Горела в Лимпопо хрустальная вода.  
Звучало в тростниках то пенье, то рыданье.

Дух гибельный по Африке бродил.  
Страдали люди, звери и растенья.  
В зловонной луже мёртвый крокодил  
Взбухал, распространяя запах тленья.

В песках меня не раз пронзала сталь.  
Трепала в джунглях злая лихорадка.  
Привёз с войны латунную медаль  
И сумрачных стихов измятую тетрадку.

Я воевал в Анголе, в Мозамбике.  
Мне были трудные задания по плечу.  
Я слышал мир в его предсмертном крике.  
Вот почему ночами я кричу...

Лемехов перечитывал отцовские стихи. Душа отца тосковала по прекрасному и возвышенному, погруженная в жестокую войну, которая, в конце концов, унесла его в свою бездну. Среди страниц вдруг обнаружилась притаившаяся песчинка. Быть может, её принес ветер, оторвав от барханов в устье Лимпопо, где пресная речная вода мешается с океанским рассолом.

Лемехов взял со стола увеличительное стекло. Стал рассматривать сквозь линзу песчинку. Кристаллик кварца светился тончайшими разноцветными лучами, как малая росинка. Лемехов вдруг подумал, что если слиться с одним из этих лучей, розовым, голубым или зелёным, то можно пролететь через пространство и время и очутиться на берегу Лимпопо в тростниках, сквозь которые течёт ленивая жёлтая вода. Там он станет читать отцовские четверостишья. И на его сыновний голос, раздвигая тростники, выйдет отец, худой, загорелый, с сияющими глазами, ликуя от долгожданной встречи. Лемехов обнимет колючие плечи отца, привезёт его в русские снега, в русскую золотую осень. И отец будет сидеть в кресле, глядя на изумрудный газон и беседку, а он, Лемехов, станет накрывать его усталые ноги тёплым пледом.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лемехов увидел, как подкатил автомобиль. Плавное застыл у крыльца, и из него вышла Ольга. Ему показалось, что неслышная мелодия, та, что она играла ему во время последнего свидания, вдруг сладостно полилась. Ярче засветился зелёный газон, драгоценнее засверкала беседка, таинственно отозвались в сердце стихи отца, нежнее задышал белоснежный цветок на тёмной воде бассейна. Ольга шла, опустив глаза и чуть улыбаясь, словно знала, что ею любят. В руке у неё был узкий футляр, в котором хранилась флейта. Её кожаный жакет был оторочен пепельным мехом. Светлые волосы гладко зачёсаны и собраны на затылке. Лицо с нежным овалом выражало счастливую уверенность в том, что её ждут, любят, и она готова ответить на эту любовь.

Лемехов обнимал её, просовывал торопливые пальцы в рукава жакета, чувствовал её запястья, целовал её голую шею, хрупкую тёплую ключицу. Принимал футляр с флейтой, помогал снять жакет.

- Как прошли гастроли? Как Лондон? Тебя принимали в Виндзорском замке? В Букингемском дворце?

- Ну, конечно, вся династия плясала под мою дудку. А принц Чарльз предложил мне играть в придворном оркестре и подарил флейту из индийского самшита, инкрустированную перламутром и золотом.

- Таковую же он подарил принцессе Диане. Мелодия вышла печальная.

- Ну, это всё шутки, конечно. Был концерт в «Альберт-холле», было несколько концертов в Шотландии. И один концерт для нашей русской респектабельной публики во дворце, в предместье Лондона. Кстати, дворец принадлежит Вениамину Гольдбергу. Он назвался твоим хорошим знакомым и даже партнёром. Я так его очаровала, что он готов организовать моё турне в Америку.

- Веня ловкач, славится тем, что организует турне хорошеньким женщинам. В лихие годы ему удалось приватизировать мощное оборонное КБ, производящее антиракеты. Он получил от государства деньги, провалил заказ, и, должно быть, на эти деньги купил дворец в предместье Лондона. Теперь мы не знаем, как вернуть государству стратегическое КБ.

- Но он очень галантен, и в восторге от моих сочинений, - Ольга поддразнивала Лемехова. Но, заметив огорчение на его лице, обняла его, поцеловала в губы:

- Всё это пустяки, мой милый. Я у тебя. Ты мой единственный и неповторимый. И я очень хочу есть.

Они обедали вдвоём без прислуги. Горящие спиртовки не давали остыть бульону из индейки и медальонам из телятины. Он наливал прохладное шампанское в высокие бокалы. Смотрел, как губы её касаются золотистого вина, пьют и улыбаются. На округлом подбородке дрожит милая ямочка. В больших серых глазах отражается окно с жёлтым клёном.

- Ну, а как ты путешествовал? Какие были у тебя приключения?

- Да как тебе сказать. Было нечто странное.

- Что странное?

Он не стал ей рассказывать о чёрной громаде лодки, проносящей мимо глаз свой чудовищный борт. О ракете, взлетающей из моря в слепящей плазме. О медведе, уронившем на передние лапы мёртвую голову, и жёлтом листке березы, прицепившемся к его загривку... Всплыли в памяти васильковые глаза Верхоустина, то нежно-голубые, как вода в весеннем пруду, то густо-синие, как кристаллы полярного льда. Об этих глазах колдуна, смутивших его, он хотел рассказать.

- Этот человек появился там, где не должен был появляться. И сказал то, что не должен был говорить. Его неуместные слова оттолкнули меня. Но заставили запомнить его. Он появился опять, и снова там, где не мог оказаться. Я отвернулся от него, хотел уйти. Но там была икона, перед которой он, как и я, молился. Я вдруг подумал, что это Богу угодно свести нас вместе. Я испытал странное к нему любопытство, большое влечение, потому что он говорил слова, которые не произносятся в моём окружении. От него исходила какая-то колдовская сила. Я пригласил его в поездку, хотя он не имел никакого отношения к целям этой военной поездки. Он завораживал меня своими глазами, лазурными, как синева в весенних берёзах. Их цвет был не земной, а какой-то потусторонний, будто он вычёрпывал синеву из таинственных колодцев. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Что это он своим гипнотическим взглядом перемещает громадную подводную лодку весом в тысячу тонн. Что это он вырывает из морской глубины ракету и ведёт её по траектории, от Белого моря к Камчатке. Это было безумие, но в этом безумии была странная сладость. Потом мы оказались вдвоём в глухой избе, и он пел какие-то колдовские песни про коней, про умерших мужей, и мне показалось, что я парю в невесомости. У меня нет тела, а моя душа переселилась в деревянную птицу, и я тихо покачиваюсь под потолком. Когда я утратил свою волю и был, как во сне, он сказал мне такое, что заставило меня очнуться. Я хотел забыть его слова, но он их во мне отпечатал. Я решил больше с ним не встречаться, но его слова жгут, как татуировка.

- Что за демон? Что он тебе предложил? Душу продать, а взамен получить бессмертие?

- Он сказал, что я стану Президентом России. Что это моё предопределение, моя судьба. Что на мне перст Божий.

Он пожалел, что сказал ей. Он сказал это так, словно помрачение его оставалось. Словно в туманном солнце, из золота и багрянца смотрели на него синие колдовские глаза, не позволяя освободиться от чар.

- Я не удивляюсь. Это проницательный человек, а никакой не колдун. Я слабо разбираюсь в политике, не слежу за всеми избирательными гонками, этими лидерами. Но все они тебя не стоят. Одни – мнимые герои, пустышки. Другие – самодовольные гордецы. Третьи – хитренькие

трусливые карлики. Четвёртые – мстительные лилипуты. Ты абсолютно на них не похож. Ты свежий, сильный, открытый. Тебе всё без труда удаётся. Тебе поручили такое дело, перед которым другие пасуют, а ты строишь города и заводы, создаёшь чудесные машины. Я влюбилась в тебя, когда ты на вечеринке среди всех пустословов стал рассказывать о самолёте, который то летит, как вихрь, то останавливается в небе, как серебряный крест. То сверкает, как солнце, то становится невидимкой. Ты говорил о самолёте, как поэт, и мне захотелось написать музыку об этом самолёте. Наш Президент Лабазов выглядит усталым и разочарованным. То ли болен, то ли ему всё надоело. Я вижу тебя на его месте. И не только я. Там, в Лондоне, когда Гольдберг пытался меня соблазнить, а я насмеялась над ним, он сказал: «Ну, где мне угнаться за Лемеховым? Он же будущий Президент».

- Я думал, ты попросишь, чтобы я опомнился. – сказал Лемехов. - Поможешь избавиться от наваждения. А ты в ту же дуду, в свою волшебную флейту.

- И не подумаю тебя отговаривать. Ты будешь Президентом. Ты уже Президент, но ещё об этом не знаешь. А я первая леди. Мы будем с тобой прекрасной парой. Вот белоснежный лайнер с надписью «Россия» приземляется в Париже, в Орли. На трапе мы появляемся вдвоём, и тысячи репортёров наводят на нас свои окуляры. А потом в светской хронике появляется мой портрет с флейтой и надпись: «Первая флейта России».

- Надеюсь, что подобный снимок никогда не появится.

Они купались в бассейне. В полутьме вода казалась тёмным стеклом. Лемехов видел, как раздевается Ольга, как белеет её голая спина. Она приблизилась осторожно к краю бассейна. Её лопатки зябко двигались. Он включил свет, и бассейн вспыхнул лазурью. Сквозь прозрачную воду засверкали на дне мозаичные раковины, морские звёзды и водоросли. Ольга радостно обернулась, благодарила его за это восхитительное зрелище. Спустилась по ступенькам в бассейн. По воде побежали волны. Донные водоросли, звёзды и раковины слились в разноцветное плесканье, среди которого она плыла, поднимая и опуская плечи. Она переплыла бассейн и встала, улыбаясь ему. Гнала от себя волны, и он видел, как блестят её мокрые пальцы, и тело просвечивает сквозь голубую воду.

Лемехов сбросил одежду, смешав её с легким ворохом, который Ольга оставила на плетёном кресле. Подошёл к краю бассейна и, оттолкнувшись, звонко врезался в воду. Летел вдоль дна, среди мелькающих мозаичных цветов, видел, как приближается жемчужное пятно. Обнял под водой её ноги. Целовал ступни, колени, живот. Ловил под водой её пальцы, пока хватало воздуха. А потом поднялся рядом с ней, сбрасывая с плеч шумную воду.

- А я думала, это дельфин целует меня.

Она выскользнула из его объятий и поплыла на спине. Он видел, как поднимаются и опускаются её руки, отекая слюдяным блеском, как кипит маленький бурун у её ног, как всплывает и тонет её грудь. Она оставляла на воде расходящийся след, и эти мягкие волны и её обнажённое тело, волновали его.

Она переплыла бассейн и встала на мелком месте, поправляя намокшие волосы. Он смотрел, как поднимает она локоть, как на мокрой груди темнеют соски.

Он захватил полную грудь воздуха и ринулся к ней, мощно взмахивая руками, вырывая из воды стеклянные крылья. Летел сверкающей птицей, среди грома и плеска. Достиг её, окружил брызгами, прижал к себе.

Сжимал в объятиях, чувствуя грудью, бёдрами, животом её гибкое тело, которое, казалось, струится, переливается, выскальзывает из рук. Розовые губы улыбались, уклонялись от его поцелуев.

- Ну, подожди, ведь мы с тобой не дельфины.

Она выходила из бассейна, и он видел, как льются с неё сверкающие ручьи, и вся она покрыта слюдяным блеском.

Он укутал её в мохнатое полотенце, а потом обнял и отнёс в спальню. Уложил на тёмное покрывало. Она лежала влажная, белая, как тот цветок, что распустился в соседней оранжерее над тёмной водой.

Её глаза закрыты дрожащими веками, золотистые изломы бровей. Снежная лыжня в сверканье солнца, он вонзает в лыжню заострённые лыжи. Её белое худое плечо, он жадно его целует, оставляя гаснущие отпечатки. Шелестящие тростники Лимпопо, отец выходит на берег в линиях панаме с худым загорелым лицом. Её сжатые побледневшие губы, он кусает их тёплую плоть с солёной капелькой крови. Тёмная, залитая водой колея с цветами лесной герани, на чёрной

земле сердцевидный лосиный след. Его ладонь на её пояснице, гибкое скольжение спины, трепет её позвонков. Кудрявый шлейф взлетевшей ракеты, и там, где она поймала мишень, белый бесшумный взрыв. Её раскрытые, с блеском белков, глаза, слепые от наслаждения. Лицо жены, измученное и печальное, проплыло, как больное виденье. То слабый, похожий на птичий, вскрик, то хохот с блеском зубов, то длинный, исполненный боли стон. Неугасимая заря над карельским озером, гагара уронила в воду незримую каплю, от которой расходится медленный серебряный круг. Её ногти больно режут голую спину, ноги захлёстывают жаркой петлей. Тот маленький камушек, привезённый мамой с Мёртвого моря, и размытый, в лунном свете, сидящий у моря Христос.

Лемехов чувствовал, как приближается к горящей, оплавленной сердцевине, Он упал лицом на её лицо, пролетел сквозь её долгий исчезающий крик. И навстречу полыхнуло слепящим светом, оглушило бесшумным взрывом, и он пропадал, забывался, не успев разглядеть промелькнувшее стокрылое существо.

Лежал рядом с Ольгой, не смея её касаться.

- Ты называл меня другим именем. Ты называл меня Верой, - сказала она.

- Правда?

- Вера – твоя жена. Любил меня, а видел жену.

- Любил тебя.

- Мучаюсь, когда к тебе прихожу. В этом доме присутствует другая женщина. Сажу за столом, за которым она сидела. Ем из тарелок, из которых ела она. Плаваю в бассейне, в котором плавала она. Лежу с тобой на кровати, на которой ты лежал с ней.

- Не думай об этом.

- Приближаюсь к твоему дому, и мне кажется, что твоя жена не пускает меня, отгоняет. Я с трудом перешагиваю твой порог.

Лемехов почувствовал к ней отчуждение. Она причинила ему страдание. Сказала вслух то, что глухо и беззвучно присутствовало в нём. Вина перед женой, которая в забытьи, измученная лекарствами, томится в клинике для душевнобольных. Иногда пробуждается из своего полусна в припадках тоски, в слёзных истериках. Жена казнила себя и его, выликала нерождённого сына, рвала себе грудь, пока на неё ни накидывали смирительный балахон, усыпляли уколom. Минуту назад, обнимая прелестную женщину, он увидел лицо жены и малиновую зарю над карельским озером, где они были с женой так счастливы.

- Ты не хочешь об этом слышать. Тебя устраивают наши отношения. Но пойми, они меня не устраивают. Они тяготят меня своей недосказанностью, двойственностью. Мы встречаемся целый год. Бываем в обществе, ты представил меня друзьям. Опекаешь меня, даришь мне драгоценности. Ты идеальный возлюбленный. Но мне этого мало. Я люблю тебя, я хочу быть твоей женой. И ты это хочешь, но не находишь мужества развестись с этой несчастной женщиной. Ты сам сказал, что она неизлечимо больна. Тебе разведут с ней. Ты будешь так же её навещать, помогать ей. Но она не может быть препятствием для нашего счастья.

- Прошу, не надо об этом.

- Я всё время молчала, но уж коли начала, то скажу. Я очень тебя люблю. Ты прекрасный, благородный, добрый. Среди мелких суетливых мужчин, этих героев на час, то алчных, то скаредных, то трусливых, то жестоких, ты возвышаешься, как прекрасный великан. Ты мой избранник. Я посвящаю тебе мою музыку. Я хочу быть украшением для тебя. Хочу, чтобы те, кто восхищается мной, восхищались тобой. Хочу иметь семью, родить от тебя ребёнка. У нас будет прекрасная семья, прекрасный дом, куда ты сможешь приглашать самых изысканных гостей. Хоть мировых знаменитостей. Хоть принцев крови. Я буду служить тебе всю жизнь и никогда не дам тебе повода во мне усомниться. Ни один мужчина не посмеет бросить на меня неосторожный взгляд, потому что все будут знать, - ты мой единственный и ненаглядный. Прошу тебя, разведись с женой.

- Не теперь, умоляю. Не надо об этом.

Они лежали молча, не касаясь друг друга. И ему казалось, что по дому невидимая, босая, бесшумно бродит жена. Сейчас заглянет в их комнату.

Ольга тихо поднялась, пробежала в прихожую и вернулась с футляром. Открыла крышку. В тёмной сафьяновой глубине лежала тёмно-красная флейта с драгоценными серебристыми клапанами. Ольга извлекла флейту, поднесла к губам, положила пальцы на блестящие кнопки. Пробежала по ним беззвучно.

Лемехов смотрел, как она сидит, обнажённая, приподняв острые плечи, чуть вытянув губы, словно для поцелуя. Красное, лакированное дерево флейты переливалось, розоватый отсвет волшебного инструмента лежал на её голой груди. Её глаза изумлённо расширились, а потом сжались, словно устремились в лучистую даль. Тягучий, как язык мёда, звук сладостно излился из флейты. Лемехов испытал головокружение, будто его повлекло в медленных струях, водоворотах, понесло в разливы прохладных вод.

Её пальцы перебирали клавиши, словно ласкали флейту. Инструмент казался морским существом, приплывшим к ней в руки из таинственных глубин. Звуки, которые издавала флейта, были звуками моря, перламутровых раковин, шелестящих приливов. Он испытывал нежность, умиление, какие случались с ним в детстве, во время болезни, когда мама клала его на свою большую кровать, и он, беспомощный, в туманном жару, смотрел на её любимые руки, ожидая их чудного прикосновения.

Ольга закрыла глаза, отрешаясь от внешнего мира, погружаясь в глубины перламутровых звуков. Лемехов закрыл вслед за ней глаза и перенёсся в прозрачный весенний лес, где просторные ели, остатки серого снега. И в вершинах поёт одинокая птица, незримо и безответно. И в душе такая печаль, такая сладостная боль, предчувствие огромной, ему уготованной жизни с её предстоящими трагедиями.

Ольга открыла глаза, они ликующе вспыхнули. Пальцы заплясали на дудке. Золотистые волосы рассыпались по голым плечам. Волны радости, ликования хлынули из волшебной флейты. И казалось, из тучи брызнули голубые лучи, накрыли землю шатром, и стали видны каждый колосок в поле, каждая росинка в лугах, каждая тропка в дубраве. Лемехов испытал восхищение, необъятную силу, с которой ему по плечу любая схватка, достижима любая победа.

Ольга запрокинула голову, обнажив хрупкое горло. Оно дрожало, как у поющей птицы. Устремила флейту ввысь, словно обратилась с мольбой в небеса. Славилась лазурь. Просила Творца отворить врата небесного сада. И врата открывались. Лемехов видел красоту небесных цветов.

Ольга отняла флейту от губ. Опустила её на колени.

- Для тебя! О тебе! Люблю!

Он целовал её колени, целовал лежащую на коленях флейту.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лемехов сосредоточил внимание на программе лазерной орбитальной системы, которая выводилась в космос сверхмощным носителем. Система фиксировала старты баллистических ракет противника, передавала информацию на дальнобойные орбитальные лазеры, и те сбивали ракеты врага. В дальнобойных лазерах использовались линзы и зеркала из особых стёкол с идеальной поверхностью. Лемехов торопил строительство новых объектов, способных создавать подобные стёкла. Теперь он ехал на подмосковный оптический завод, где предполагалось строительство новых цехов.

Лемехов находился в одной машине со своим заместителем Леонидом Яковлевичем Двумликовским. Смотрел на его сосредоточенный утиный нос и чуткие хрящевидные уши, и строго выговаривал:

- Вы возьмёте под личный контроль строительство этих цехов. Сегодня же проведёте совещание с представителями Минобороны, Военно-промышленной комиссии и Министерства промышленности. Соберёте строителей, учёных и финансистов. И выработайте, наконец, чёрт возьми, внятный график работ.

- Мне будет трудно провести совещание без Вас, Евгений Константинович. Моего авторитета не хватит.

- При чём здесь авторитет?! Говорите жёстко от моего имени. А мне дайте вздохнуть. Я сегодня иду в театр, слушаю оперу «Борис Годунов». Вы можете меня отпустить? Ведь я Вам не нянька.

- Есть вопросы, Евгений Константинович, которые без Вас не решаются, - упрямо возразил Двумликовский.

- А если я умру? Или меня прогонят с работы? Или переведут на другое место? Вы, мой заместитель, займёте мою должность. Вам придётся самостоятельно решать все вопросы.

Хрящевидные уши Двулистикова побелели, а мочки налились, словно ягоды брусники. И он, как в редких случаях душевного волнения, пренебрёг субординацией и обратился к Лемехову, как давний товарищ:

- Жень, что ты говоришь! Лучше я умру, чем умрёшь ты! Если тебя отстранят от работы, я в ту же секунду уйду! Я не предатель. Если кому-то ты не угоден, я этим никогда не воспользуюсь. Если ты перейдёшь на другую работу, я уйду вместе с тобой. Пойдёшь прорабом на стройку, и я пойду. Пойдёшь учителем в сельскую школу, и я пойду. Пойдёшь улицы подметать, и я пойду. Я тебе сказал, что останусь с тобой до конца, и ты мне верь!

Лемехову были приятны эти уверения в преданности. Усмехаясь, он поддразнивал Двулистикова:

- Если меня, как скифского царя, закопают в курган, то придётся и тебя заколоть и закопать рядом. Ты согласен?

- Жень, я согласен! Я уже в одном кургане с тобой!

Лемехов пожалел о своей шутке. Благодарно посмотрел на товарища, лицо которого трепетало от волнения.

Они приехали в подмосковный город. Здесь размещался оборонный завод оптического стекла, уцелевший в камнедробилке недавних лет. Инженеры сберегли драгоценные технологии, не отдали на растерзание «реформаторов», которые рубили под корень могучее древо советской промышленности. Стекло продолжало вариться, оснащая танки, корабли, самолёты прицельной оптикой.

Директор завода показывал Лемехову площадки под будущие цеха. Лемехов выслушивал жалобы директора на затруднения. На городское начальство, не отдававшее под строительство землю. На проектировщиков, медлящих с чертежами. На финансистов, не дающих деньги на приобретение немецкого оборудования.

- Наши люди, Евгений Константинович, хотят работать. Истосковались по большому делу. Мы - люди космические, нам на земле тесно. Нам черепахи не пример. Нам подавай скорость света.

- Я знаю, вы люди света, работаете со световым лучом. Вы алхимики, варите стеклянное зелье.

- Мы ещё и астрологи, потому что в нашем стекле отражаются звёзды.

Они шли по цехам, и Лемехов с юношеским интересом наблюдал за работой стекловаров, этих «людей света», колдующих над стеклом. Не тем, оконным, что вставляют в окна, или вешают на фасады банков и супермаркетов. А тем драгоценным и таинственным, в котором свет обнаруживает свои волшебные свойства. Отражается, дробится, фокусируется. Складывается то в огненный разящий луч. То в туманное отражение бесконечно удалённых звёзд. Лемехов где-то слышал, что в древних захоронениях находят скелеты, в глазницах которых сверкает кристалл горного хрусталя. Этот кристалл преломляет луч света, соединяя мир мёртвых и мир живых. Не такие ли стёкла создавались на этом заводе?

От керамических печей, от титановых тиглей веяло жаром. Гудели форсунки. Метались рыжие отсветы. Мерцали индикаторы. Варение стекла и впрямь напоминало алхимию, колдовское действие, сотворение отвара, в который подсыпали множество порошков и специй. И каждая добавка сообщала стеклу особое свойство, оттенок и цвет, задерживала или пропускала световую волну. Извлекала из светового луча скрытую силу. Превращала реющий в мироздании свет в грозное оружие или в хрупкий инструмент познания. Как целебный бальзам настаивается на горных корнях и травах, так это расплавленное стекло настаивалось на частицах свинца и золота, цезия и бериллия.

- Когда мы на ладан дышали, Евгений Константинович, к нам приезжали американцы. Просили продать рецепт стекла, устойчивого к радиации. Не только для самолётов, попавших под атомный взрыв, но и для марсианского корабля в потоках космического излучения. Мы деньги не взяли, секрет сохранили. Когда на Марс полетим, Вы к нам обращайтесь, Евгений Константинович. Сейчас мы Вам покажем марсианское стекло.

Директор махнул рукой. Рабочие подцепили раскалённый тигель к подвесному устройству. Повлекли окружённый пламенем тигель через цех к металлической форме, пустому стальному ящику. Тигель медленно наклоняли, и из него истекал вялый оранжевый мёд, медленный и тягучий язык, от которого лицу становилось жарко, а по цеху разливалась заря, будто вставало солнце. Форма принимала стекло, и оно янтарно дышало, окружённое нимбом.

- Теперь, Евгений Константинович, это стёклышко будет остывать. Его остыванием управляет компьютер. Программа остывания – это наша тайна. Секрет нашей кухни. Американцы хотели узнать секрет, а я им сказал; «Возьмите, говорю, ложечку и хлебните. Может, угадаете», - директор, освещённый стеклянным слитком, таинственно улыбался, как хранитель волшебных тайн. Пояснял Лемехову, что слиток остывает несколько дней, а иногда и недель. А огромное зеркало для лунного телескопа остывало два года.

- А эти алмазные пилы мы заказали в Японии. Они занесены в список запрещённых к продаже товаров. Но японцы не любят американцев. Продали нам пилы в тайне от них. «Пилите, да нас не выдавайте»!

Многотонный стеклянный брусок, похожий на льдину, подводят под алмазную пилу. С жужжаньем и звоном пила рассекает льдину на тонкие ломти. Членит прозрачную глыбу на матовые пластины. Из них, отшлифованных до блеска, будут созданы линзы для биноклей и подзорных труб, танковые триплексы и прицелы, дальномёры и телевизионные трубки. Соединённые с электроникой, они наполнят самолёты и танки, рубки кораблей и космические аппараты. Хрустальные зрачки помогут обнаружить врага и уничтожить его, на земле, на воде и в небе.

- Спасибо Вам, Евгений Константинович, мы с Вашей помощью получили заказ на стёкла для лунной атомной станции. Уже смоделировали их работу на компьютере и получили отличный результат. Вы же видите, Евгений Константинович, мы вполне современное производство. Давайте строить новые цеха. И мы весь мир застеклим. Мы же стеклянные люди.

Лемехов трогал зеленоватые стёкла, похожие на прозрачные леденцы. Их вставят в смотровые гнёзда атомных станций. Оператор механическими стальными руками будет извлекать из реактора прогоревшие твэлы, заменять их новым горючим.

- А это уникальные зеркала для установок термоядерного синтеза. В этих зеркалах, если хотите, отражается будущая энергетика. «Ты мне, зеркальце, скажи, и всю правду доложи»! Александр Сергеевич Пушкин знал секрет этих стёклышек.

Лемехов рассматривал зеркала, слушая пояснения директора. Эти зеркальные стёкла собираются в установку, в которой лучи множества лазеров направляются к мишени, обстреливают её сверхточными попаданиями. Удар света поджигает мишень, превращает её в крохотный плазменный взрыв. Из этого взрыва вычерпывается электрический импульс. Пульсирующие безопасные взрывы становятся источником дешёвой электроэнергии. Утолят энергетический голод планеты.

Лемехов был увлечён волшебными стёклами, игрой светового луча. Преклонялся перед людьми, сохранившими завод среди погромов и разорений. Восхищался директором, в котором, казалось, сияет тихая радуга. Стеклоvarами, подобно алхимикам, кидающим в печи крупички золота и свинца. Молодым инженером, играющим зеркалами, в которых мечется солнечный зайчик. Лемехов расспрашивал о помехах и трудностях, мешавших работе. Обещал помочь. Хотел быть полезным этому героическому заводу, без которого невозможно оборонное дело, невозможно становление государства. «Русская история, - думал он, - световод, по которому, из древности в наши дни льются потоки света. Пробиваются сквозь тьму, пронзают ослепительными вспышками чёрные тромбы истории. Выполняют божественный завет о неизбежной победе света над тьмой, вечной жизни над смертью. Смерть одолима не только здесь, на земле, но и в бесконечной Вселенной, где гибнут звёзды и умирают планеты. Смерть одолима, ибо мир сотворён, как источник света, и тьма не объёмлет его».

- А есть ли такие стёкла, что пропускают луч из нашего мира в мир загробный? Лазеры, своими лучами уничтожающие смерть?

- Построим новые цеха и создадим такие стёкла, Евгений Константинович, - серьёзно ответил директор.

Лемехов увидел огромную стеклянную чашу, похожую на чёрное озеро. Над поверхностью озера мерцала слабая вспышка, хрупко отражалась в стеклянной толще. Директор подвёл Лемехова к чаше. Чаша была громадным зеркалом телескопа, которое привезли на завод из обсерватории в горах Кавказа. С великой предосторожностью его спускали с горы в долину. Грузили на платформу и доставляли в низовья Дона. По Дону, по Волге влекли по воде до Москвы-реки. Осторожно, как драгоценный сосуд, привезли на завод. Установили в цеху, где его шлифуют и полируют, удаляя с поверхности образовавшиеся шероховатости и неровности.

Сообщают зеркалу способностью видеть зорче, различать во Вселенной незаметные прежде светила.

- Для шлифовки, Евгений Константинович, уже недостаточны прежние мастики и пасты. Шлифуем с помощью ионных пучков, - он указал на мерцающую вспышку. - Эти пучки вылизывают поверхность зеркала, снимая неровности величиной с молекулу. А это является воплощением нанотехнологий. Откусываем от стекла по молекуле.

Лемехов смотрел на зеркало, похожее на огромный недвижный глаз, полный таинственных туманов, слабых мерцаний, отражённых звезд и галактик. Из глубины зеркального глаза исходила влекущая сила, бессловесная молвь, неодолимое притяжение. Заворожённый, испытывая большое влечение, будто его затягивал незримый водоворот, Лемехов стал приближаться к чёрной воронке. Заглядывал в глубину, падал в бездну, терял своё имя, память, способность дышать. Мчался в чёрную бесконечность, из глубины которой тянулись ужасные щупальца. Теряя рассудок, он испытывал жуткую сладость, мучительное наслаждение, желая своей гибели.

Очнулся, отступил от бездны. Чувствовал страшную слабость, словно в душу его заглянула смерть.

- А ещё, Евгений Константинович, хочу показать Вам цех цветного стекла, - директор не заметил помрачения Лемехова.

- Нет, спасибо. Пора идти. Буду помогать заводу.

Вечером он отправился в Большой театр слушать оперу «Борис Годунов» с чудесным басом Моториным. Постановка была классическая, сталинская. Не испорчена нововведениями, которые умаляли мощь державной музыки.

Перед спектаклем он заехал за Ольгой и нашёл её у зеркала. Она примеряла вечернее платье с обнажёнными плечами и голой спиной. Они белоснежно сверкали среди чёрных шёлковых складок.

- Ну, как тебе? Как я буду выглядеть в золочёной ложе?

Лемехов опустил руку в нагрудный карман. Извлёк длинный футляр. Раскрыл, и бриллиантовое кольцо брызнуло лучисто, заиграло у него на ладони.

- Боже, это мне?!

Он надел кольцо на её высокую дышащую шею. Прильнул губами, слыша, как благоухает её теплая кожа. Они оба отражались в зеркале, и кольцо сверкало, как солнечная струйка.

- Люблю тебя, - сказала она.

Большой театр поразил своим пышным имперским величием. Могучими колоннами, чёрным, летящим в небесах Аполлоном. Зал из царской ложи казался сафьяновым, был полон бархатного мягкого света. Высились золотые ярусы, переливалась великолепная люстра. Занавес с недвижными складками был украшен серебристой геральдикой. Оркестровая яма зияла таинственным провалом. Из неё раздавались обрывки мелодий, какофония скрипок, валторн. Звуки напоминали бесформенный ворох, который вдруг, по мановению волшебной палочки, превратится в могучий вихрь. Театралы занимали места, погружались в малиновые кресла. Малинового цвета становилось всё меньше. Лемехов, восседая вместе с Ольгой в золочёной ложе, видел, что на них оглядываются.

- Все думают, что ты Президент, а я первая леди, - сказала Ольга. - Неужели в этой ложе сидел сам Сталин?

- Этот зал с золотыми ярусами напоминает старинный многопалубный фрегат, который отправится в плаванье.

- По волнам русской истории. И ты – капитан!

Она смотрела на него счастливыми глазами. Чёрное платье открывало её белое, сверкающее в сумерках тело. Бриллиантовое кольцо переливалось, отражая свет люстры. Ему хотелось поцеловать её близкое плечо...

- Люблю тебя, - сказала она.

Люстра стала медленно гаснуть, словно из неё утекала драгоценная влага. Исчезли все звуки и шорохи. Певучая, грозная, подземная музыка медленно наполнила тьму. Словно предвещала восход неведомого светила. Занавес покотился вверх, и возникли тускло-золотые заиндевелые купола, морозная синева небес с розовой зарёй.

Лемехов вдруг со страхом и сладостью ощутил подлинность этого московского утра, такого русского, зимнего, в котором тяжело и морозно звенели колокола, дышала паром толпа, двигались стрельцы, выходил на крыльцо усыпанный золотом и камнями царь. Музыка

чудодейственно воскрешала исчезнувшее время, пропавшие в вечности мгновенья. Теперь колдовством света и звука они возвращались в мир. Лемехов был вовлечён в это воскрешённое время. Погружался в его угрюмую русскую красоту.

- Моторин – великий бас. Он в опере богатырь, - шепнула Ольга.

Эта летописная древность, пленившая Пушкина, озарившая сумрачный дух Мусоргского, воспринималась Лемеховым, как его собственная подлинная жизнь. Он стонал в толпе, шарахаясь от кнута царских слуг. Под его сапожками похрустывал утренний снежок. На его руках мерцали тяжёлые перстни. Ему казалось, что музыка, хор, рокошующий бас певца повествуют о мучительной тайне, которая передаётся из одного русского века в другой, и теперь коснулась его. Завораживает, пугает, влечёт.

Эта тайна витает в теремных палатах, в императорских дворцовых покоях, в кабинетах кремлёвских вождей. Эта тайна кружит головы и ожесточает сердца, множит подвиги и злодеяния, возводит города и остроги, закручивает загадочную спираль русской истории, галактику русского времени. И его, Лемехова, коснулась эта неразгаданная тайна - бездна русской власти. И когда на сцене появился юродивый, вытянул из лохмотьев костлявую руку, слюняво и косноязычно обратился к царю, Лемехов вдруг вспомнил страшного нищего перед входом в церковь. Тот пророчил ему царский венец, и это сходство с оперой пугало его. Он стал осматривать зал. И ему показалось, что в рядах, из тьмы посмотрели на него васильковые глаза колдуна.

Во время антракта в ложе появился могучего сложения господин в туго натянутом пиджаке, с жирной грудью, чернобородый, губастый, с весёлыми, навыворот, глазами. В господине Лемехов узнал миллиардера Вениамина Гольдберга, с которым изредка встречались на многолюдных именинах какого-нибудь главы корпорации или банкира, связанного с оружием. Гольдберг радостно сверкал зубами из чёрной бороды. Поцеловал в щёку Ольгу. Ухватил ладонь Лемехова большой тёплой рукой, украшенной тёмным перстнем.

- Будь добр, принеси-ка три бокала шампанского, - приказал он служителю, отсылая его из ложи. - Вся публика смотрела не на сцену, а на вас, - засмеялся Гольдберг. - Вы чудесно смотрите. Ольга, дорогая, не могу забыть наши встречи в Лондоне. Вы знаете, Евгений Константинович, когда Ольга давала сольный концерт, все мужчины сбегались на звук её флейты. Если бы она захотела, она могла бы повести их к морю и утопить, как мышей. И я, и я, как мышь. Пошёл бы за её флейтой на край света! – Гольдберг хохотал, воображая, как вся русская знать, обитавшая в пригородных лондонских замках, тянется вслед за грациозной флейтисткой и тонет в море.

- Вениамин сделал всё, чтобы мне в Лондоне не было одиноко. Он был очень внимателен, - произнесла Ольга. Лемехову послышались в её голосе едва уловимые, пленительные интонации, которые уязвили его. Она почувствовала это, провела рукой по его шее, щеке. - Я рассказала Вениамину о тебе, и выяснилось, что вы хорошо знакомы.

- Друзья, приглашаю вас на мою яхту. Поплывём из Монако, с заходом в Неаполь, Барселону, через Гибралтар, на Канары. Будет чудесное общество. Французский дизайнер. Владелец «Дела сэра», и какой-то принц крови, кажется, немец, отпрыск аристократического европейского рода. Вам они все понравятся. Здесь, в России, будут самые мерзкие месяцы, тьма, холод. А там лазурь, тепло, восхитительные города.

- К сожалению, вместо яхт я вынужден заниматься подводными лодками, - сухо произнёс Лемехов.

- Кстати, о подводных лодках, Евгений Константинович. Я готов разместить на моих заводах заказ на антиракету. Вы же знаете мои возможности и мою пунктуальность.

- Не я распределяю заказы. Это не в моей компетенции.

- Да что Вы, Евгений Константинович, Вы же почти Президент. Ну, ладно. Как Вам Моторин? Отличный старик. Хочу пригласить его в Лондон. Пусть попоёт среди наших, в своих побрякушках.

Служитель принёс на серебряном подносе шампанское. Они чокнулись, выпили, и Гольдберг покинул ложу.

И опять музыка ревела, как зимняя русская буря. Плескалась и вспыхивала, словно огромная, в водоворотах, река. Лемехов то слепо погружался, то ошеломлённо всплывал. Всё было родное, дикое, восхитительное. Всё было знакомо, происходило с ним - в монастырской келье, в пьяной корчме, в блистательном зале с бравурной мазуркой. Музыка ковшом вычерпывала

таинственную, наполненную огнями тьму, которая была его тьмой, его памятью, его пугающим предчувствием. Опера была не о царе, не о русском бунте, не о самозванце, а была о той тёмной бездне, которая разверзалась в самой сердцевине русского бытия, русского царства, русской власти. Он стремился в эту бездну, она затягивала его, влекла в свою восхитительную тьму.

Царь умирал на троне, сражённый болезнью. Бояре при ещё живом царе делили власть. Безымянная, бестелесная, эта власть мерцала в позолоте купола, пряталась в тёмной иконе. Кто-то невидимый и всесильный брал Лемехова под руки, подводил к иконе, и он наклонялся, желая приложиться. Смуглый лик с золотыми волосами, окружённый звёздами и туманностями, начинал проваливаться, улетал в бесконечность, и открывалась та глубина, от которой стыла кровь. То чёрное зеркало, в которое он заглянул утром, как в немигающее жуткое око. Там реяли неизвестные миры, таилась вся сладость бытия, весь ужас предстоящей смерти, вся неизбежность предначертания. И он вдруг понял, что все эти недели и дни, каждую секунду думал о словах синеглазого колдуна, посулившего ему великую участь. И он готов принять эту участь, вкусить её смертельную сладость.

Опера завершилась. Зал рукоплескал. Кричали «браво». Кумир в парче и шапке Мономаха картинно раскланивался, множество раз выходил на сцену. И Лемехову опять померещилось, что из толпы пламенно блеснули синие глаза, властные и счастливые.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Они сидели в ресторане «Боттичелли» на Тверском бульваре, роскошном, пустынном, с гулким полумраком. Светились колонны из родосского мрамора, переливалась вода в фонтане, бесшумно появлялись и исчезали официанты в костюмах флорентийских дождей. Метрдотель в золочёной парче, узнав Лемехова, был обволакивающе любезен, раскрывал карту вин и средиземноморских яств.

- Рекомендую коллекцию наших тосканских вин. Одни виноградники расположены на западных склонах холмов, и Вы почувствуете в вине легчайшую горечь осеннего солнца. Другие – на восточных склонах, и в вине присутствует едва ощутимая сладость, лёгкая, как смех итальянских девушек.

- Мы хотим услышать смех итальянских девушек, не правда ли, Игорь Петрович? – Лемехов старался быть легкомысленным и шутливым.

- Боттичелли воспел красоту итальянских девушек в двух великих картинах. «Весна» и «Рождение Афродиты». Выпьем вино, в котором слышится смех Афродиты, - в тон ему ответил Верхоустин. Он усмехался, поглядывая на золочёную цепь «венецианского дожа».

- Я могу предложить господам дары Средиземного моря, которые доставляются к нам самолётом прямо с приморских рынков Палермо. Все виды рыб, все виды мидий и раковин, щупальца осьминога, салаты из водорослей.

- Мне сегодня по вкусу сибас, приготовленный на пару, - сказал Лемехов.

- А я бы предпочёл осьминога, - сказал Верхоустин. - И всё остальное, на Ваш вкус. Всё, что попадает в невод итальянского рыбака.

Им принесли округлые, похожие на прозрачные шары бокалы. Вино лилось из тёмного горла бутылки, наполняя бокал золотым искрами. Появился серебряный поднос, на котором, посыпанная кристаллами льда, лежала рыба с голубоватыми плавниками. Лемехов уловил исходящий от рыбы запах далёкого моря. На деревянной дощечке угодливый официант принёс зеленоватые, в присосках, щупальца осьминога, перед тем, как положить их на раскалённые угли. На скатерть выставляли блюда с раковинами, тёмными, розовыми, перламутровыми, в которых таилась нежная плоть моллюсков. Их ужин начинался с тихого звона бокалов, с лёгкого звяканья падающих на тарелку ракушек, из которых извлекалась влажная мякоть.

- Я долго думал над Вашими словами, Игорь Петрович. Над теми, что Вы произнесли в охотничьей избе, - сказал Лемехов, опуская бокал. - Я сделал выбор. Я буду Президентом России.

- Это не Вы сделали выбор, Евгений Константинович. Это Вас выбрало Провидение. Оно управляет Вашими делами и помыслами, - Верхоустин спокойно посмотрел на Лемехова, словно ждал от него этих слов. В ясной синеве его глаз было одобрение. Казалось, воспоминание об этих глазах подвигло Лемехова совершить судьбоносный выбор.

- Вы как будто что-то знаете обо мне. Долгое время следили за мной, не так ли?

- Да. Я не первый год наблюдаю за Вами. Я исследовал Ваш жизненный путь. Перечитал все Ваши статьи, все интервью, что Вы давали прессе, всё, написанное о Вас, дурное и хорошее. Я даже ходил к астрологам и составлял на Вас гороскоп. Я улавливаю и измеряю то поле, что Вас окружает. Чувствую энергии, которые Вы излучаете. Вижу вектор, который ведёт Вас к цели. Мне кажется, в Вашей жизни случилось нечто, что предопределило Ваш путь. Вы получили свыше знак, который направил Вас к великому свершению. Я не знаю, что это было, должно быть, какая-то вспышка. Вы соединились с божественным промыслом, который повёл Вас, был Вашим поводом, спасал от несчастий, наделял неиссякаемой энергией. Я не знаю, когда произошла эта вспышка. Но она случается в жизни всех пророков, всех полководцев, всех великих вождей. Она была в жизни Пушкина. В жизни Сергея Радонежского. В жизни Сталина. А как она случилась у Вас?

И опять Лемехов оказался во власти колдовских глаз, которые помещали его в прозрачный светящийся кокон. На него начинали воздействовать таинственные силы, побуждали к откровению и исповеди. Побуждали плыть туда, куда дул бесшумный ветер. Так плывёт по воде тихий лист, повинувшись неслышным дуновениям.

- Вы угадали! Была, была вспышка! Студентом я увлекался лыжами, ходил в спортивную школу, участвовал в соревнованиях, которые проводились в Тимирязевском парке. Помню солнечный морозный день, синее небо, заиндевелые сосны, красные стволы. Мы ринулись со старта гурьбой, мешали друг другу, цеплялись палками, гремели лыжами. Но скоро большинство отстало, и только несколько лыжников, и я среди них, мчались по аллее. Мне было легко бежать, радостно вдыхать ледяной воздух, радостно смотреть, как лыжи врезаются в скользкую лыжню. Я обогнал одного, другого, третьего. Начинал бить лыжами по хвостам мешающих мне бежать лыж. Кричал: «Лыжню! Лыжню!» И они неохотно уступали дорогу. Впереди оставался только чемпион института, высокий парень в чёрных рейтузах и красной куртке. Как лось, переставлял мускулистые ноги, мощно толкался палками, совершал могучие броски.

«Обгоню!» - думал я. Задыхался, жгло горло, грохотало сердце, напрягались в непосильных бросках все мои жилы. Я подумал, что если не обгоню его, то вся моя жизнь кончится тут же, на этой аллее. Что я недостоин жить. Что эти красные стволы и седая хвоя, и перелетевшая аллею сойка с голубым крылом - все они требуют от меня: «Обгони!» Я стал его настигать. Мои золотистые лыжи приблизились к его фиолетовым. Я вонзал свои лыжи в лыжню, как золотые копыта. Они начинали бить его лыжи, и я слышал звон деревянных ударов. Я чувствовал ярость, неистовую страсть, прилив небывалых сил, которые, казалось, вливались в меня с неба. Он зло оглядывался, не уступал дорогу. А я задыхался, неистово рычал: «Лыжню, лыжню!» Он не уступал, его чёрные рейтузы и красная куртка загораживали путь. Тогда я собрал все силы, всю негодующую волю, всё страстное стремление победить. Вырвался из лыжни, побежал по рыхлому снегу с ним вровень. Видел его побелевший от мороза лоб, заиндевелые брови, обветренные красные щёки и букеты пара из раскрытых губ. Я сделал бросок вперёд, толкнул его, выбил из лыжни. Видел, как он падает и ломает лыжи. Я встал в сверкающую, отливающую стеклом лыжню и помчался. Не бежал, а летел, в шуме, в свисте. Не чувствовал тела, словно меня несло по воздуху, а потом опять опускало на снег. Внезапно на пересечении аллеи, где росла огромная, с туманной хвоей сосна, передо мной возникла слепящая вспышка. Высокий радужный столп, в переливах лучей, в огненной белизне. Это был великан с горящим лицом, сияющими глазами, в серебряном облачении. Он поднял меня в небо, откуда я видел вершины сосен, аллею, по которой бежали разноцветные лыжники, город, озарённый зимним солнцем. Он приблизил меня к своему лицу и что-то сказал, громогласное, неразличимое и прекрасное. Опустил на землю, и я стоял, ошеломлённый, не зная, что это было. Какие слова я услышал. Огромная сосна с золотыми суками. Мимо пробегает мой недавний соперник, с изумлением на меня оглядывается. По сей день не знаю, кто был этот великан.

Лемехов умолк. Щёки его горели, как от мороза, и звучали громоподобные, неведомые слова.

- Я же говорил, что у Вас была вспышка, - произнёс Верхоустин, победно сияя глазами. - Это было знамение, определившее весь Ваш путь. И тот, кто Вас поднял в небо, сопутствует Вам всю Вашу жизнь.

- Это так, - сказал Лемехов, - Тот неведомый ещё несколько раз мне являлся. Уже не великан, не огненный столп, а невидимая, сберегающая меня сила. Если бы не она, вряд ли я пил бы с Вами сейчас тосканское вино.

- Что это значит? – спросил Верхоустин.

- На полигоне испытывался новый снаряд для установок залпового огня. Колоссальная мощь, сумасшедшая скорость. Мы ещё не успели спуститься в укрытие, как произошёл аварийный взрыв. Я увидел слепящий взрыв, и мимо меня с рёвом пронеслась стальная буря. Тысячи осколков, которые смели сооружения, пробили борт бронемшины, растерзали шестерых солдат и двух испытателей, а на мне – ни царапины. Смертоносная сталь с воем и ветром прошла в сантиметре от моей головы. В этой вспышке опять прогремел чей-то голос, что-то проревел, но что, я не мог понять.

- Это был голос Вашей судьбы.

- И ещё, на Дальнем Востоке я летел на вертолёт, осматривая сверху стартовые площадки для космодрома. У вертолёта заглох двигатель, мы стали падать. Палили в жуткой тишине. Я видел побледневшее лицо генерала, который прощался с жизнью.

Я смотрел, как приближается земля, как оловянной струйкой светится речка. Я знал, что не умру, что мой неведомый покровитель не даст мне умереть. И вдруг из-за тучи вышло солнце, как слепящая вспышка. Салон вертолёта стал прозрачным, как стекло, и раздался рокошующий гром, всё тот же обращённый ко мне таинственный голос, неразличимые громоподобные слова. Это взревел и взыграл вертолётный двигатель, который пилотам удалось запустить. Мы сели на берегу таёжной реки.

- Значит, на Вас благодать, Евгений Константинович. Перст Божий.

- Я много раз пытался понять, с какими словами обратился ко мне великан. Пытался в этих грохочущих звуках уловить членораздельную речь. Диктофон моей памяти записал этот звук. Я много раз медленно прокручивал запись, выделял из ревущей какофонии скрытые в ней слова. И вот что мне удалось услышать. Там, на зимней лыжне и на степном полигоне, и в уссурийской тайге звучало одно и то же слово: «Крым!» Что значит «Крым»? Великан сулил мне какое-то будущее, сберегал меня ради этого будущего. И это будущее на великаньем языке называлось «Крым»!

Они молча сидели. Слышали, как где-то за античными колоннами тихо играет музыка и журчит в фонтане вода. Верхоустин страстно смотрел на Лемехова, благодарный за исповедь. А Лемехову казалось, что синеглазый исповедник выманил у него заповедную тайну, завладел его сокровенной сущностью, обрёл власть над его душой.

Им принесли обещанные блюда. Лемехов вкушал приготовленную на пару рыбу, снимал с неё ломти нежного розового мяса, открывая хрупкий, жемчужного цвета, позвоночник. Средиземноморская рыба смотрела на него недвижным фиолетовым глазом. Верхоустин отрезал от оранжевого щупальца осьминога сочные дольки, и щупальца лежала на блюде, как извилистый иероглиф. Пили тосканское вино, не чокаясь, лишь поднимая друг на друга глаза.

- Болезнь Президента Лабазова становится публичным фактом, - произнёс Верхоустин. - В американском медицинском журнале появился рентгеновский снимок его позвоночника. Отчётливо видна опухоль спинного мозга и распространение болезни по лимфатическим узлам. Медицинский эксперт утверждает, что жить Президенту осталось максимум полгода. Недавнее исчезновение Лабазова из информационного поля объясняется тем, что он лёг в клинику, и у него брали пункцию спинного мозга. Мне стало известно, что по всем монастырям разослали наказ молиться за исцеление раба Божьего Юрия. Так что мы накануне грозных событий.

- У меня была назначена встреча с Президентом по вопросам противоракетной обороны. Экстренный вопрос. Встречу отменили. Теперь я знаю, почему, - произнёс Лемехов.

- Президент Лабазов – «замковый камень» российской государственности. Если этот камень выбить, рухнет весь свод, страна погрузится в хаос, кровь, неминуемый распад. Уже теперь свод начинает трещать, - Верхоустин поднял палец, чутко наклонил голову, словно прислушивался к тяжким гулам и скрежетах незримого свода. Лемехову показалось, что сквозь тихую музыку и журчанье фонтана слышны каменные стоны и хрусты.

- Удерживающий камень упадёт, и начнётся бойня, война всех против всех. Олигархи вцепятся друг другу в глотку, проталкивая в Кремль своего ставленника. Главы могущественных корпораций станут драться за право называться преемником. Губернаторы потянут на себя лоскутное одеяло страны и растерзают его. Националисты - русские, татарские, якутские - начнут безумные национально-освободительные войны. Взорвётся Кавказ, и взрывная волна пойдёт по всему Поволжью. Сирия сгорит в одночасье, и вся вооружённая мусульманская армада хлынет в Россию. Китай нацелит свои армии на Сибирь. Турция двинется на Кавказ. Америка поднимет

свою агентуру в бесчисленных неправительственных организациях и начнёт лить бензин в разгорающийся русский пожар. И вот в таких условиях Вам предстоит перехватить власть в России. Заполнить собой пустоту, которая образуется после падения «замкового камня». Стать самому «замковым камнем». Принять на себя страшное давление свода. Непомерное давление русской истории. Готовы ли Вы?

Верхоустин вопрошал, словно его устами говорил искуситель. Синева его глаз потемнела, как озёрная вода, над которой нависла туча. Лемехов чувствовал страх, больной озноб и одновременно восторг. Будто стоял на вершине огромной башни, и ему предлагалось прыгнуть вниз, в голубую пропасть. Искуситель с чёрно-синими пылающими глазами испытывал его, - Вам придётся выдержать всё чудовищное давление русской истории, и если Вы окажетесь неудачником, Вам придётся сложить голову на очередной плахе, которыми уставлен весь русский путь, украшена геральдика русской государственности. Готовы ли Вы принять такую судьбу?

- Россия – это судьба! – страстно, как безумный, выдохнул Лемехов. Он падал в голубую пропасть, испытывая сладость парения.

Они сидели молча, позволяя остыть этому огненному признанию.

- Теперь, когда Вы сделали выбор, я считаю своим священным долгом Вам помогать. Ибо отныне связан с Вами единой судьбой. Либо бриллиантовой звездой Победы. Либо липкой кровавой плахой.

Звон их бокалов висел в воздухе, пока они пили нежное, с легчайшей горечью, тосканское вино.

- Вам предстоит в кратчайшее время создать партию. Название должно звучать страстно и лучезарно. Например, «Партия Победы». Или партия «Звезда Победы». Вы начнёте строить гвардию, своих «семёновцев» и «преображенцев». Директора оборонных предприятий. Конструкторы. Армейские офицеры. Ветераны спецслужб. Вы обратитесь к народу с пламенным словом, предложите русским Большой Проект. Огромную идею, от которой страна отвыкла, но каждая русская душа тайно хранит мечту о великой задаче, о возвышенной цели, о грандиозной работе. На Ваш призыв откликнется патриотическая интеллигенция, духовенство, молодёжные организации. Съезд партии должен открыть Патриарх. Его присутствие, его напутствие будет своеобразным благословением, своего рода помазанием. Все поймут, что создаётся не партия-однодневка, а президентская партия, призванная решить судьбу государства. На этом съезде Вы объявите о дерзновенном космическом проекте, продолжающем штурм космоса, который был прерван после уничтожения «Бурана» и «Энергии». Все увидят, что Ваша политика носит космический смысл, Ваша идеология имеет вселенский характер.

Лемехов внимал, будто слышал восхитительную музыку. Она всю жизнь тайно звучала в нём - в юношеских мечтаниях, в ночных сновидениях, в шуме дождей, в металлическом рокоте самолётов. Таинственный оркестр, бессловесный хор сопровождали его в деяниях и теперь вырвались на свободу. И, слушая эту грозную музыку, он чувствовал присутствие незримого великого дирижёра, управлявшего поднебесным хором. Того, что однажды явил своё лицо в ослепительной вспышке в аллее зимнего парка.

- А Вы, а Вы? Вам зачем это надо? Почему Вы хотите мне помогать? Как родились в Вас эти идеи?

Верхоустин вдруг страшно побледнел. Его нос утончился. Губы стали узкие и бескровные. На белом лбу вздулась больная жила. Глаза, как огненные васильки, сияли на омертвелом лице.

- Наш род Верхоустиных был многолюден. Были купцы, священники и учёные. Были заводчики, путешественники и педагоги. Один построил первую в России турбину. Другой работал на раскопках в Помпее. Третий учреждал земские школы и учил крестьянских детей. Когда пали Романовы, и рухнула великая империя, в чёрную дыру истории провалился и наш род. Горели родовые усадьбы и библиотеки. Священников прибивали гвоздями к Царским вратам. Офицеры, Георгиевские кавалеры, шли в Добровольческую армию и погибали в атаках. Часть рода ушла с Белой армией в эмиграцию. Другая притаилась, но её отлавливали чекисты и морили в лагерях. Немногие из Верхоустиных переплыли на другой берег этого кровавого моря. Но они встроились в новую жизнь, стали служить новому государству. Проектировали заводы первых пятилеток. Отправлялись на Дальний Восток строить молодые города. Преподавали в школах рабочей молодёжи. А когда началась война, сражались под Москвой и Сталинградом, горели в танках под Кёнигсбергом, участвовали в Параде Победы. После войны Верхоустины восстанавливали Минск, испытывали реактивные самолёты, писали диссертации о Древнем

Новгороде. Среди Верхоустиных были кавалеры советских орденов, лауреаты Государственных премий, Заслуженные артисты. Когда случилось страшное несчастье, и рухнул Советский Союз, в эту пропасть снова упал мой род. Мы сходили с ума от тоски, умирали от разрыва сердца. Один из нас застрелился, когда дивизию под свист и улюлюканье немцев выбрасывали из Магдебурга. Другой спился, когда на ракетный завод пришли офицеры ЦРУ и унесли все секретные документы, закрыли производство тяжёлых ракет, и завод стал производить канцелярские скрепки. Это была вторая чёрная яма, куда упал мой род, теряя лучших своих представителей. Я, один из немногих Верхоустиных, пережил катастрофу. Уцелел физически и морально. Затаив дыхание, наблюдал, как на костях красной сталинской империи возрождается новое государство. Как мог, содействовал ему, работал с политологами и историками, взаимодействовал с партиями, участвовал в крупных государственных проектах. Верил, что Президент Лабазов спасёт государство, совершит долгожданный рывок. Но рывок не последовал, «замковый камень» начал крошиться, и в русской истории разверзается новая бездна, в которой бесследно исчезнет Россия. Поэтому мы и сидим с Вами здесь.

Лемехов пугался этого бледного бескровного лица, из которого неведомый кровосос выпил жизнь. Пугался нечеловеческой синевы васильковых глаз, одержимых смертоносной страстью.

- Но какая же нам выпала доля жить и страдать в России? За что нам такой удел?

- История России – это непрерывные вершины и впадины. В русской истории сменяют друг друга дух света и дух преисподней. Несутся навстречу друг другу гений неба и гений подземного царства. Ясный сокол Русской Победы, и чёрный ворон Русской Беды. Дух света влетает в русское время, ищет того, кто станет Победителем, создателем великого царства. Ясный сокол летит в русском небе, вдохновляя народ на божественные деяния, на великие победы, несравненные стихи. Империя достигает цветения. Но потом, по таинственным законам истории, соколу становится тесно в угарном русском небе, среди мутных клубящихся туч, и он улетает. И на смену ему является чёрный ворон, дух тьмы. Ищет того, кто разрушит империю, ввергнет Россию в бездну. В народных сказках и песнях сражаются сокол и ворон, две птицы русской судьбы. Из Лабазова излетел Дух Света и поселился Дух Тьмы. Вас выбрал Дух Света и ведёт к победе. Быть может, эмблемой партии станет сокол в сверкании крыл, который терзает чёрного ворона, изгоняет его из русского неба.

На лице Верхоустина заиграл слабый румянец. Исчезла на лбу воспалённая жилка. Губы порозовели. В синих глазах пропала пугающая темнота и вернулась восторженная нежность. Казалось, он побывал в иных мирах и снова вернулся на землю.

- Как Вам средиземноморская рыба? - Верхоустин удалялся от тех миров, где побывал.

- Не жалею, что её заказал. А Ваш осьминог? – Лемехов чувствовал, как продолжает светиться накалённый воздух вокруг Верхоустина.

- В Сиракузах осьминога готовят иначе, с большим количеством специй. Но и здесь недурно.

К ним подошёл официант в облачении венецианского дожа, в золоте и золочёных цепях.

- Могу Вам предложить изумительный чай из Шри-Ланки? Его готовят специально по нашему заказу, и среди чайных коллекций мира он занимает одно из почётных мест.

Им принесли чашки из прозрачного розового фарфора. Чай был чёрно-золотой, благоухающий, и каждый малый глоток обжигал, доставлял наслаждение.

- Хочу Вас спросить, Игорь Петрович. Вы знали, что я приеду на завод ракетных двигателей? И произнесли имя Пушкина специально, чтобы я обратил на Вас внимание?

- Да, я должен был с Вами познакомиться.

- И потом в церкви, у иконы «Державной», как Вы узнали, что я приеду туда?

- Это судьба. Мы непременно должны были встретиться.

- А в Большом театре, в опере, Вы там были, или мне показалось?

- Я там был. Я же Вам сказал, мы встретились, чтобы уже не расставаться.

Глаза Верхоустина полыхнули, как вода в весеннем озере, по которому пробежало солнце.

Внезапно колонны озарились аметистовым светом, ударила счастливая музыка. Зал с фонтаном наполнился лучами. И в переливах свирелей, в струнном звоне лир возникли полуобнажённые наяды, пленительные вакханки, проворные и страстные фавны. Танцевали, сливались в объятьях, плескались в воде фонтана. Появились гибкие девы с корзинами цветов, разбрасывая вокруг розы, гвоздики и хризантемы. И по этим цветам, как по ковру, шла босоногая женщина с распущенными волосами, в прозрачном платье, усыпанная цветами. «Весна»

Боттичелли, торжествующая и прекрасная, с волшебной улыбкой всевластной любви. И за ней прекрасный стрелок с золотым колчаном и луком провёл живого оленя, чьи рога украшали венки. Шествие исчезало среди лучей, водяных плесканий, поющих свирелей. Лемехов восхищённо смотрел на босоногую богиню. На столе пред ним лежала алая роза.

*(Продолжение романа читайте в №7)*



## Поэзия

## Борис Селезнёв

*Родился в 1953 году в г. Горьком (Нижний Новгород). Служил в армии, работал слесарем, механиком, водителем троллейбуса. После окончания Литературного института им. А.М. Горького работал главным редактором газеты «Православное слово». Сейчас возглавляет православный литературно-художественный альманах «Арина» и периодический журнал «Голгофа». Публиковался в областной, российской и зарубежной периодике, во многих журналах и альманахах. Лауреат премии им. Бориса Корнилова, член Союза писателей России. Председатель ревизионной комиссии Нижегородской писательской организации, руководитель поэтической секции «Арена». Автор двенадцати книг поэзии и прозы. Живёт в Нижнем Новгороде.*

## Он видел свет

*Памяти Валентина Николаева*

Да, всё, как видно, Божий план.  
Без зла и крика на страну  
Ещё один из могикан  
Ушёл в святую тишину.

Лишь тайно полыхнул астрал  
Да звон прошёл по хрустало,  
Иуда руки потирал  
И вовсе не хотел в петлю.

Он даже не взглянул на гроб,  
Он знал, что вновь не прогадал.  
Мы в храме целовали в лоб  
Того, кто нас не предавал,

Кто честь и совесть свято чтит,  
Как мудрый мастер – тих и прост.  
...Людей автобус увозил  
На замерзающий погост.

Кто в гости,  
Кто, как в новый дом,  
Смирненно ехали и шли,  
И вот в могилу, будто гром,  
Упала горсть родной земли.

Потом молились у икон,  
Присели тихо у стола.  
А с неба падал лёгкий звон –  
То ангел бил в колокола.

## Испанское вино

Бокал испанского вина,  
Глаз чёрных ужас...  
В окне бандитская страна –  
Моя к тому же.

В неё стреляла гадов рать –  
Мы ж отвернулись,  
Её бросаем умирать  
В удавке улиц.

Давно на дне бокала страх  
И зов отмщенья,  
Мы нынче пьём на брудершафт,  
Нам нет прощенья.

Хрипит в конвульсиях страна,  
Мы пьём вторую,  
Но крепче водки и вина  
Страсть поцелуя.

А после – в храм.  
Зачем, спроси? –  
Ведь все косые,  
Но, Господи, спаси, спаси  
Мою Россию!

## Будь осторожна!

Где жизнь не факт,  
А лишь возможна,  
В глухой ночи, среди бела дня  
О будь, родная, осторожна!  
Средь манекенов и огня,  
В густой толпе, садясь в машину,  
В душе спокойно помолись...

Здесь часто убивают в спину  
И говорят, что это жизнь.  
Пусть это всё уже не ново,  
Но в наш тупой и подлый век  
Убить здесь можно даже словом,  
А ты ведь нежный человек.  
Где жизнь не факт,  
А лишь возможна,  
Хотя бы пожалей меня.  
О будь, родная, осторожна  
В ночи, у линии огня...

\*\*\*

Русские парни дерутся,  
Птицы над полем парят.  
Русские парни дерутся –  
Выросли здания в ряд.  
Русские парни дерутся,  
В небо ушли корабли.  
Русские парни дерутся –  
Вот и антихрист вдали,  
Словно бы молотом бухнул.  
Крики: «Спасайся, ложись!»  
Русские парни дерутся,  
Их не разнимешь ни в жисть.

Мир-то давно бы уж рухнул,  
Если б они не дрались...

\*\*\*

*А. Кутумову*

Я тащу постаревшее тело  
По Бекетовке нашей блатной.  
Ах, как быстро листва облетела,  
Даже ты не заметил, родной.

Гонит ветер стаканчик вчерашний,  
Дождь порывами хлещет в лицо,  
Почему-то становится страшно –  
Замывается жизни кольцо.

Оборванцы, поэты, изгои –  
Сколько кануло их в сизой мгле!  
И увидел я: нас только двое  
На истерзанной нашей земле.

На любимой, погибшей, нетленной,  
Где лишь ветер, туман да вода.  
Эх и кинули нас офигенно  
И не вспомнят уже никогда!

Только тот, кто уходит с любовью,  
Одолеет беспамятства страх,  
А стихи, что написаны кровью,  
Отразятся в родных небесах.

\*\*\*

Когда стану болящий и хилый  
И меня увезут помирать,  
Ты наденешь со вздохом бахилы,  
Ты присядешь ко мне на кровать.

Но уже разговора не склеить,  
Я и сам говорить не хочу,  
Если где-то уже в синеве я  
Прямо к солнцу на крыльях лечу.

Ты мне руку погладишь и встанешь,  
Что сидеть тут, напрасно скорбя?  
Ты мне душу уже не изранишь,  
Я уже не обижу тебя.

### **Дворик**

Птицы, дворовые кошки,  
Тихий, застенчивый вид.  
Глупая баба в окошке,  
Вечность в окошко глядит.

Голуби ходят по крыше,  
В дворике тлен и уют.  
Пара бомжей в тёмной нише  
Смачно боярышник пьют.

Редко машина проедет,  
В кузове тёс да гробы.  
Рядом, в овраге, медведи  
Валят, шатаясь, дубы.

Шастают псы за сараем,  
Прыгают в пыль воробы.  
Может, уже вымираем?  
Хрен вам, родные мои!

## Проза

### Альфия Умарова

*Родилась в 1960 году в городе Сырдарье в Узбекистане. Образование: ЛИПТ, «Корректирование книг и журналов» (Санкт-Петербург). Электронные книги (ЛитРес): «Отражения» (2010), «Жизнь, которая приснилась» (2012), «О видах на урожай, альфа-самцах и кусочке счастья» (2013), журналы «Аврора», «Казань», «Edita» (Германия), «Город», «ЭкоГрад», газета «Городская газета», сетевой журнал «За-За» (Германия), интернет-журналы: «Наша улица», «Точка ZРения». Дважды лауреат Международного конкурса малой прозы «Белая Скрижаль» (2012). Живёт во Владимире.*

#### Возвращение к себе

*Рассказ*

Конец года выдался бесснежным и тёплым. Хмурое небо с плотными облаками распласталось над городом так низко, что касалось крыш высоток, сливаясь с ними в одну серую аморфную массу. Границы между полным смога эфиром и железобетонной реальностью были нечёткими, почти эфемерными и лишь угадывались в туманной дымке.

Блёклый декабрьский день — без яркого солнца, без хруста искрящегося снега, без румянящего щеки морозца — был бы и вовсе безрадостным, если бы не лихорадочная предпраздничная суeta горожан. Казалось, она заразила всех повально, без разбора, как эпидемия гриппа. Люди, словно в горячке, брали штурмом супермаркеты, судорожно опустошая там полки с продуктами, затаривали ими холодильники, потом часами варили холодцы или заливное, пекли «Наполеоны», строгали салаты, причём, как и в прежние времена, тазиками... И всё это в предвкушении долгих дней выздоровления, когда от болезни суматошного каждодневного бега по кругу излечивает блаженное ничегонеделанье. Когда есть время отдышаться. Никуда не спешить. Спать до обеда. Гулять. Ходить в гости. Наедаться, будто впрок, всякими домашними вкусностями и валяться на диване у телевизора, переваривая и дремля...

Это ли не счастье?!

В планы Матвея Ильича Корнеева на зимние каникулы такое примитивное счастье не входило. Не было настроения. Ему вообще с некоторых пор привычная и давно уже устоявшаяся жизнь перестала приносить не то что счастье, а хоть какую-то видимость радости. Молодящаяся жена, давно чужая, живущая собственной жизнью, в которой он, муж, присутствовал почти формально... Расчётливая, как по штатному расписанию, любовь знающей дело рафинированной секретарши... Гольф по выходным с партнерами по бизнесу... Всё стало раздражать, вызывать чувство пресыщенности, более того — недовольства собой. Не спасал и присущий Корнееву скепсис по отношению к жизни, к ценностям, которых для него никогда, по сути, не существовало: семья, любовь к матери, к детям. Всё казалось ложью, всё, даже отрицание отрицания.

Матвей Ильич всё чаще стал задаваться вопросом: когда же то, что ещё лет двадцать назад казалось престижным, достичь чего он стремился с наглой напористостью пробивного провинциала, вдруг потеряло сладость преодоления, перестало кружить голову победой? В какой момент острота чувства достижения сменилась равнодушием обладания? Когда он перестал ощущать вкус жизни?

Корнеев с бокалом коньяка сидел в полном одиночестве в своей большой квартире. Отключенный телефон, чтобы никто не донимал звонками, лежал рядом. Любовница отдыхала на Бали, а Матвей от неё. Жена Ирина укатила в Альпы, кажется, с очередным бойфрендом. Впрочем, последнее было Матвеем Ильичу совершенно безразлично. Он давно перестал следить за её личной жизнью. Гипертрофированный страх постареть, потерять привлекательность заставлял Ирину бороться за «свежую юность» всеми доступными ей средствами. В том числе и с помощью любовников, которые раз от разу становились моложе.

Матвей не обвинял этих проворных жиголо. Каждый зарабатывает на жизнь как может и чем может, так почему бы не сделать это с помощью стареющей мадам, которая так щедро платит?!

Матвей Ильич с грустью вспоминал свою молодость. Сколько энергии, честолюбивых замыслов витало тогда в студенческой среде. Каждому второму после окончания вуза самое малое чего хотелось — остаться в столице. Остаться, зацепиться, ухватиться крепкими зубами и желательно урвать кусок. Свой кусок, да пожирнее!

Матвею повезло, считали бывшие его сокурсники. На высокого, симпатичного, ладно сложенного, с копной волнистых светло-русых волос, без пяти минут выпускника, обратила внимание дочь декана их факультета Ирина, избалованная девица со смазливой внешностью, по слухам, отвергнувшая не одного претендента на её руку и сердце. Свой выбор она остановила на нём, красавчике Матвее Корнееве. Пусть и с налётом провинциальности, без богатых родителей и связей, рассудила девушка, но в её умелых руках да с папиной протекцией он многого добьётся. К тому же парень так похож на американского актёра Роберта Редфорда, а Ирина просто млела от глянцевого лоска голливудских звёзд.

А что Матвей? Выросший без отца, воспитанный матерью-медсестрой, которая сутками пропадала на работе в городской больнице, чтобы хоть как-то свести концы с концами, парень мечтал, как раньше говорили, во что бы то ни стало выбиться в люди. Его тяготила бедность, в которой прошло его детство и юность. Он, будучи студентом, стыдился того, что не мог, подобно многим москвичам, жившим с родителями, позволить себе лишнее — в еде, одежде, развлечениях, потому что приходилось растягивать стипендию и те небольшие деньги, что удавалось зарабатывать на разгрузке вагонов по ночам.

Матвею хотелось совсем другой жизни, достойной и обеспеченной. В его понимании атрибутами такой жизни непременно должна была быть просторная квартира, а не их с матерью однокомнатная хрущёвка в захолустном городишке. Ещё — приличная зарплата. Собственный автомобиль. Возможность ездить отдыхать на юг или за границу. Покупать модные вещи. Словом, не отказывать себе ни в чём, пока молод, полон сил и желаний. А Ирина... Ну, а она как... входной билет в эту жизнь. И пусть он не любил её, так, увлёкся, но оно же того стоило! Точно стоило! Да и не уродина она, вполне симпатичная, хотя и не совсем в его вкусе. Так что женился Матвей Корнеев осознанно, здраво сообразив о выгодах подобного союза. Он лишь постарался как можно скорее забыть, что в родном городе его ждала любимая девушка Настя, которую знал с детства, которой дал слово вернуться после окончания института, чтобы жениться.

Пышная свадьба, столы, ломившиеся от угощений, гости — всё нужные люди, и Наталья Ивановна, мама жениха, словно белая ворона в своем скромном платье, стоптанных туфлях, с пучком седеющих волос, совсем потерявшаяся среди разодетой столичной публики. Отчего глаза её были так печальны, когда вокруг, кажется, мелькали сплошь весёлые и счастливые лица?! Она только спросила негромко, отведя Матвея в сторону: «Сынок, ты хотя бы любишь её?..» И ушла, ведь ей надо было ещё успеть на электричку. А сын не остановил, не предложил переночевать в квартире, подаренной им родителями Ирины. Видел, как недовольно морщила нос молодая жена, которой было неловко при виде так бедно и неказисто одетой свекрови.

Об этом Матвей старался не вспоминать. Тем более что неприязнь, возникшая у жены к его матери в первую же встречу, на свадьбе, не обещала частых встреч между ними. Да Наталья Ивановна и не напрашивалась на тёплые отношения, главное, о чём просила Бога, чтобы сыну Матюше было хорошо.

У Матвея же всё складывалось, кажется, более или менее. Благодаря связям тестя он получил место, ставшее трамплином для карьерного роста. Там он показал себя исключительно расторопным, исполнительным сотрудником, ответственным и надёжным, и новая должность с чуть бо́льшим окладом не заставила себя долго ждать. А следом и другая, уже в отдельном кабинете и с секретаршей...

Словом, живи да радуйся вроде, только вот странность: всё меньше поводов для радости находилось у Матвея.

Если поначалу Корнеев гордился любым достижением, свершившимся пусть и с помощью тестя, но благодаря и его собственным усилиям и труду, то с каждой новой должностью или лишней тысячей на счету в банке он нередко ловил себя на мысли, что это становилось для него всё менее важным и значимым. Это чувство пришло, конечно, не сразу, но, однажды засев в его голове, потом уже не покидало. Матвей Ильич словно посмотрел вдруг на себя со стороны.

Посмотрел и поразился, как можно было так долго не видеть и не понимать очевидного: оказывается, он, Матвей Ильич Корнеев, генеральный директор компании, состоятельный человек, совсем не последний в своей бизнес-тусовке, напрочь забыл, что такое радостное чувство преодоления, достижения. В нём пропал азарт идущего по следу добычи, изучающего её повадки, загоняющего зверя в ловушку, им, охотником, придуманной и подготовленной, чтобы потом настичь и повергнуть, завоевав свой законный трофей. В этом находил он когда-то истинное наслаждение, вкус которого теперь утратил.

Матвей Ильич спрашивал себя: как случилось, что он стал жить по инерции? Почему не заметил этого? Неужели сытая жизнь выхолостила душу и застила глаза блеском фетишей? Разве не видел он, что жена, так и не пожелавшая родить ему ребёнка из страха испортить фигуру и возиться с пелёнками, постепенно отдалялась от него, причём настолько, что их брак стал обыкновенной фикцией? Что в погоне за выгодным местом и необходимостью поддерживать отношения с нужными людьми он растерял всех своих друзей, не приобретя новых? Что он стал жить словно робот, который по определению не может испытывать чувств?

Ощущение, что упёрся в тупик, безвыходность, бессмысленность стали преследовать Матвея неотступно. «Дальше, дальше-то что?» — спрашивал он себя. А в ответ — пустота, гулкая, поглощающая, разжижающая мозги. И ни одного якорька, за который бы уцепиться, чтобы держаться на плаву, чтобы выбраться на берег.

Матвей Ильич и пить пробовал, однако спиртное его не брало, опьянение проходило быстро, а временное забытьё облегчения не приносило. Наоборот, чувство безысходности, от которого он хотел избавиться, становилось ещё острее. Корнеев даже завидовал настоящим алкоголикам: чего проще, кажется, — наклюкался и забылся, и всё хорошо, и проблем вроде нет, а если и есть, то они уже «до лампочки»...

Корнеев не пытался найти определения своему состоянию. Какая разница, как это назвать: кризисом среднего возраста, синдромом думающего хомо... Страдающий от собственных страданий и наслаждающийся ими — своей мнимой никчёмностью, своей преувеличенной душевной болью, он напоминал себе скорпиона, жалящего самого себя.

Он не понимал, как с этим жить дальше. И более того — сомневался, стоит ли вообще жить.

С таким убийственно «весёлым» настроением отмечать приближение Нового года, находить чему радоваться, ждать какого-то чуда от года, который волшебным образом вдруг изменит твою жизнь, привнеся в неё как минимум смысл, Матвей Ильич не был готов. Он и раньше-то не понимал ажиотажа вокруг этого праздника. Ему казалось, что люди придумали его, чтобы уйти от понимания — ничего в жизни не случается само по себе, только потому, что тебе этого хочется. Нет такого волшебника Деда Мороза, у которого что ни попроси, всё сбудется. Просто люди обманывают не только детей, по малолетству верящих в сказки, но и себя, взрослых. Вот только зачем? Чтобы бежать от реальности жизни, от рано или поздно приходящего осознания бессмысленности бытия?

«С новым годом... с новым счастьем...» А старое-то куда денете? В утиль? Что, с двенадцатым ударом курантов происходит апгрейд счастья? Его обновление? Что меняется-то? Старше становишься на год — это факт. Только какая в этом радость? Что вы носитесь с этим новым годом, словно он манны небесной всем насыплет — кто сколько унесёт...»

Корнеев, опустошивший около трети бутылки, кажется, задремал. Ему снилось, что он, маленький, бегает по школьному коридору с другими ребятами, дурачась и дразня девчонок. Ему было ужасно весело, озорно, хотелось, чтобы перемена никогда не заканчивалась. Однако звонок, пронзительный, длинный, разогнал всех по классам, и только он, Матвей, не торопился идти на урок. Звонок прозвенел ещё раз. И только теперь Матвей Ильич понял, что звонят в дверь.

Он нехотя поднялся. Подойдя к двери, заглянул в глазок. Женское лицо. Незнакомое. Корнеев никого не желал видеть в этот вечер, тем более каких-то знакомых девиц. Он хотел уже вернуться на диван, но его остановил голос из-за двери:

— Матвей Ильич, я знаю, что Вы дома. Консьержка сказала. Откройте, пожалуйста. Это очень важно. Пожалуйста!

Корнеев, ругнувшись про себя на словоохотливую консьержку, дверь всё-таки открыл. На пороге стояла девушка — выше среднего роста, стройная, в пуховике и джинсах. Вязаную шапочку и перчатки держала в руках. Взгляд огромных серо-голубых глаз был внимательным и

очень серьёзным. А ещё показался отчего-то знакомым, будто виденным когда-то давно, в прошлой жизни.

— Проходите, — пригласил Матвей Ильич незнакомку, указывая на гостиную. — Сюда проходите.

Девушка сначала замешкалась, не зная, следовать ли за ним так, в обуви, но потом решительно разулась, сняла куртку, повесила её на плечики в шкаф и прошла в комнату.

Дорогая помпезная мебель, в позолоте и патине, тяжелые бархатные гардины, картины на стенах, затянутых в гобелены, массивная люстра... От обстановки веяло чем угодно — музейной стариной, желанием удивить, вызвать зависть бешеной стоимостью — но только не уютом и домашним теплом. Здесь не чувствовалось заботливых женских рук, разве что профессиональных, домработницы.

— Присаживайтесь, — предложил хозяин.

Девушка устроилась в кресле, напротив дивана, на который сел Матвей Ильич.

— Ну-с, что же привело вас ко мне, барышня? Надеюсь, Вы не грабительница? — мрачно пошутил он.

Гостья, даже не улыбнувшись шутке, словно собираясь с духом, глубоко вздохнула и произнесла:

— Пожалуйста, выслушайте меня. Я очень волнуюсь, а потому обещайте не перебивать меня.

Корнеев в знак согласия молча наклонил голову.

— Матвей Ильич, меня зовут Оля, а о вас я знаю от Вашей мамы Натальи Ивановны.

Увидев вопрос в глазах Корнеева, девушка поспешила успокоить его:

— Нет-нет, не беспокойтесь, с ней всё в порядке. Она жива и... здорова, насколько может быть здорова женщина в её летах. В общем, я и хотела, собственно, поговорить с Вами о её здоровье, то есть, скорее, о нездоровье... — совсем запуталась девушка.

— Так, Оля, я смотрю, Вы очень взволнованы и потому не можете толком рассказать, в чём дело. Давайте поступим так. Идёмте на кухню, я заварю нам чаю с мятой, он и мне не помешает, Вы выпьете его, успокоитесь и расскажете всё по порядку. Договорились?

Оля кивнула. И правда, чашка горячего чая сейчас была бы весьма кстати, подумалось ей.

На кухне, тоже довольно большой, но не столь вычурной, как гостиная, было гораздо уютнее. Глянцевые фасады цвета ванили и натёртая до блеска бытовая техника отражали тёплый свет тканевого абажура на длинной цепочке. Чайник тут же запел свою весёлую песню, и вскоре из почти прозрачных чашечек из тонкого фарфора потянуло свежим ароматом мяты.

Оля, отпив несколько глотков, чуточку успокоилась и вновь заговорила.

— Матвей Ильич. Я знаю вашу маму всю свою жизнь, сколько себя помню. Если быть точной, двадцать два года и два месяца, — начала она издалека.

Корнеев улыбнулся: какое смешное уточнение — про два месяца. Однако Оля была серьёзна.

— Три года назад умерла моя мама. Она долго и очень тяжело болела. А Наталья Ивановна... она приходила к нам по-соседски и делала уколы маме, ну, чтобы облегчить её страдания...

Девушка замолчала. Вспомнилось, как уходила мама. Мучительно, страдая больше не от болезни, к которой привыкла за многие годы, а оттого, что её девочка, её маковка, единственная её остаётся одна. В её глазах, огромных, на пол-лица, исхудавшего, осунувшегося, было столько боли, что Оля плакала навзрыд в ванной, включив воду, чтобы мама не слышала, не расстраивалась...

Глаза Оли заволокло слезами, но она быстро взяла себя в руки и продолжила.

— Да, я забыла сказать, что живу с Вашей мамой в одном доме, только в разных подъездах. Однажды, это совсем незадолго до маминой смерти, я услышала их разговор — моей и Вашей мамы. Моя мама благодарила Наталью Ивановну, а она ответила: «Ну, что ты, Настенька, мы ведь не чужие друг другу». А потом ещё добавила: «Ты не беспокойся за Оленьку, я за ней присмотрю, пока жива. Виновата я перед тобой, что не рассказала сыну. Всё надеялась, что наладится у них с Ириной, что детей родят. Не хотелось семью рушить». А мама сказала: «Не вините себя. Не судьба, видно, была нам вместе быть...»

Я тогда не поняла, о чём это они, решила, что не чужие, потому что давно знают друг друга, много лет живут в одном доме, и присмотреть за мной Наталья Ивановна обещала, потому

что всегда относилась ко мне как родная бабушка, которую я уже не помнила. Да она вообще добрейший человек. И не потому, что чуть что, все бежали к ней: кто за советом, кто просил уколы поделать, кто капельницу поставить...

«Это точно, та ещё мать Тереза. «Людам, сынок, помогать надо...» Конечно же, а эти люди садятся тебе на шею и едут, погоняя. И дома у матери всегда лазарет и Красный Крест вместе взятые: кошки, собаки... Ещё и девчонка чья-то всё время под ногами вертелась, как ни приеду...»

— ...и Наталья Ивановна никому не отказывала, пока была в силах.

Однако последняя фраза — «И никому не отказывала, пока была в силах» — всё же невольно кольнула Матвея Ильича. Он стал припоминать, когда же ездил к матери последний раз. В прошлом году? Или в позапрошлом? Неужели больше трёх лет прошло?.. Но ведь он регулярно отправляет ей деньги, и она не должна ни в чём нуждаться. Матвей звонит ей... иногда. Редко, правда, но звонит...

— Когда мамы не стало, Наталья Ивановна пригласила меня пожить к себе, чтобы мне не было так одиноко. Я согласилась. Не могла оставаться в квартире, где всё напоминало о маме. Я там всё время плакала. Наталья Ивановна... она такая замечательная, добрая. Знаете, она стала для меня самым родным и близким человеком после смерти мамы. И я ей благодарна. Очень-очень.

Мы подружились. Наталья Ивановна рассказывала о своей молодости, о первой своей любви, о Вашем отце, о Вас. Как она Вас любит, Матвей Ильич, как гордится Вами. Она часто достаёт и рассматривает Ваши фотографии. Детские, школьные, когда Вы учились в институте. Она даже разговаривает с Вами, глядя на них. Вы не представляете, как она скучает по Вам. Мне её ужасно жалко. Она просто на глазах тает, знаете, как свечка. И мне страшно за неё...

Матвей Ильич, встал, подошёл к окну, за стёклами которого переливался огнями вечерний город, громадный, пульсирующий, кажущийся одним огромным живым существом, клеточки которого — миллионы одиночеств, случайно сошедшихся вместе.

Он долго стоял так молча.

Девушка тоже молчала.

— Матвей Ильич, — прервала, наконец, затянувшуюся паузу Ольга, — Ваша мама... она, мне кажется, от тоски по Вам болеет. Она даже письма Вам пишет. Только не отправляет. Думаю, лучшим лекарством для неё сейчас будет Ваш приезд. Потому я здесь. Я не имею права заставить Вас, я могу только попросить: поедьте к ней. Она ждёт Вас. Пока ещё ждёт...

«Н-да, нечего сказать! «Хороший» сын! Деньги, редкие короткие звонки с дежурным вопросом «как ты?», когда главное — успеть попрощаться до того, как мама спросит, когда же я приеду... А деньги... Я ж откупаюсь от неё ими... Лишь бы не свербило, лишь бы не болело...»

— Но это ещё не всё, — сказала Оля и взглянула на Матвея Ильича своими странно знакомыми глазами особенно пристально.

«Что за наваждение? Почему эта девочка кажется мне такой знакомой? Наверное, видел её, когда приезжал к матери, раз она по соседству живёт», — подумалось Корнееву.

— Матвей Ильич, я не знаю, как Вам об этом сказать. Я много раз представляла, как это будет происходить. Но не думала, что буду так волноваться, — совсем смешалась Оля. — В общем, я... Я ваша дочь.

Повисла долгая пауза.

Первым прервал её Матвей Ильич.

— Какая дочь? У меня нет детей, — только и нашёлся что сказать он враз пересохшими губами.

— Моя мама — Настя Белова. Помните её? Вы вместе учились в школе и жили в одном доме.

Надо же, Корнееву казалось, что он забыл Настю. А вот сейчас, в эту самую минуту, он вспомнил её. Большеглазую, светловолосую, и тоненькую, точно прозрачную. Он вспомнил, как они гуляли с Настей по вечерам в сквере, как он держал её за руки. Почему-то пальцы её всегда были холодными. «Это из-за сердца, — говорила Настя. — Оно, бедненькое, не выдерживает силы моей любви к тебе, а потому стучит через раз, слышишь?» — шутила она и прикладывала его большую ладонь к своей груди. «Слышишь?»

И о том, как стали близки в первый раз, вспомнил Матвей. Кажется, это случилось у него дома, когда мама была на дежурстве в больнице, а он приехал на каникулы. Да-да, точно, у него дома. Он даже вспомнил, что сказал потом Насте очень серьёзно: «Теперь ты моя жена...» А она

рассмеялась тогда заливисто, совсем по-детски. «Скажешь тоже — жена...» А глаза у самой — счастливые...

— Мама любила Вас. Она рассказывала мне, что Вы ей в шестнадцать лет в любви признались. Написали на тротуаре под её окнами: «Настёна, я тебя люблю!» И как вы с ней планы строили... И даже когда Вы женились на другой, она не переставала любить... Правда, жить не хотелось, как известно стало про женитьбу, говорила. Да ещё совпало, что узнала о своей беременности... мной. Других детей у неё не было.

Маме нельзя было делать аборт — из-за сердца. Это мне бабушка рассказала, Наталья Ивановна. Вот я и родилась, — улыбнулась Оля.

Улыбнулась точно так же, как её мама, Настя, глазами.

— Ну, а потом она меня растила. Тогда ещё живы были её родители, мои дед с бабкой. Я их плохо помню. Мне года три было, когда они разбились на машине по дороге с дачи — у дедушки случился инфаркт. А мы с мамой были в это время в городе, кажется, я болела ветрянкой или корью.

Когда погибли дедушка с бабушкой, а маме надо было работать и со мной сидеть было некому, меня забирала к себе Наталья Ивановна. Я привязалась к ней. Не знаю, чувствовала или нет, что это мой родной человек. Наверное, как и всякий ребёнок, я тянулась к тем, кто любил меня. А о том, что она моя родная бабуля, я узнала только перед смертью мамы. Они мне с бабушкой и рассказали.

Оля замолчала, уйдя в свои воспоминания.

— А замуж мама по-настоящему — чтобы со свадьбой, в белом платье — так и не вышла... Правда, жил у нас какое-то время мамин друг дядя Игорь. Тогда мне лет тринадцать было, наверное. И стал он всякие знаки внимания мне оказывать: то трусики мне купит кружевные, то погладит меня, мимоходом, вроде невзначай. В общем, мама поняла, что дядя Игорь смотрит на меня как-то заинтересованно... не как на падчерицу, ну, и прогнала его.

А бабушка маму жалела и помогала всегда. Она ведь не третила то, что Вы ей посылали. Ну, разве что часть их. А когда мама слегла, и нужны были очень дорогие лекарства, именно Наталья Ивановна давала денег. И хоронили маму на бабушкины деньги. Ну, то есть на Ваши...

Матвей Ильич сидел огорошенный новостью. Ну, не удивительно ли вдруг узнать, что у тебя, оказывается, есть ребёнок. Дочь. Совсем взрослая. А то, что эта девочка его дочь, у Корнеева не было сомнений.

Он стоял у окна растерянный, оглушенный, всё смешалось в его голове, смятение охватило душу, а сердце стучало так, что, кажется, и Оле был слышен его стук.

Матвей Ильич извинился и вышел. Послышался шум льющейся воды, наверное, из ванной.

Тогда, много лет назад, после женитьбы на Ирине, Корнеев, приезжая в родной город, старался избегать встреч с Настей. Но однажды он всё-таки увидел её — издали, во дворе — и не поверил своим глазам: Настя гуляла с детской коляской. Помнится, подумал тогда со злостью: «Быстро же ты нашла мне замену. Даже ребёнка успели состряпать. Нельзя вам верить, бабам. Какое лицемерие: «Люблю, всегда буду любить только тебя...» А как подвернулся подходящий, и обещания забыла». И ведь искренне так возмущался, словно это не он, а Настя предпочла другого.

Подойти тогда к ней так и не решился.

И мать никогда не говорила, что Настя воспитывает его дочь. Хотя нет, пыталась, и не раз, что-то рассказать о ней, да он прерывал, мол, не хочу больше о ней слышать ничего. У неё своя жизнь, у меня своя. И точка.

«Теперь вот... дочь, та самая, что в коляске... Черт, даже не знаю, как к этому относиться...»

А слёзы — радости ли, печали или просто от переизбытка нахлынувших чувств, — уже бежали по небритым щекам, прокладывая себе дорожку сквозь седоватые щетинки, цеплялись за усы, попадали в рот. «Надо же, солёные, — удивился Корнеев. — Что-то сентиментальным ты стал, дружище, — сказал он себе. — Это всё коньяк... а может, старость...»

Оля, взволнованная, продолжала сидеть у стола, машинально помешивая ложечкой в давно остывшем чае.

Вскоре вернулся Матвей Ильич. Глаза его были влажными, покрасневшими. Он подошел к Оле, которая встала ему навстречу, взял её руку, поднёс к мокрому лицу, прижал к губам.

— Спасибо Вам, Оленька. Вы... ты, — поправил он сам себя, — не представляешь, что сделала сейчас. Ты просто... вернула меня к жизни. Прости за высокий штиль, я, вообще-то, не

люблю этого, но не могу сказать по-другому. Именно к жизни. Я ведь забыл, когда плакал в последний раз. Наверное, в детстве. Мне казалось, у меня тут, — он приложил другую руку к левой стороне груди, — высохло всё. Как у мумии. А оказывается, я ещё живой.

Ты прости мне мою реакцию, Оленька. Наверное, это не по-мужски, но мне почему-то не стыдно этих слёз. Может быть, потому что ты — светлый, добрый человек, моя дочь, и понимаешь меня. Я чувствую это. Давай, знаешь, что сделаем, давай поедem сегодня к твоей бабушке, на автобусе поедem, прямо сейчас, потому что я не смогу уснуть, не дожduсь завтра... А ты по дороге расскажешь мне о себе. Всё-всё. Что ты любишь. Чем интересуешься. О чём мечтаешь. Я хочу знать о своей дочери всё. Ты ведь расскажешь мне, Олюшка? — назвал он дочь точно так же, как называла её мама.

— Конечно, расскажу, папа. Тем более одна моя мечта уже сбылась — мы с тобой встретились, — улыбнулась Оля и прижалась к отцу, отчего у того снова повлажнели глаза.

...За окнами автобуса властвовала ночь, чернильно-чёрная, с редкими огнями деревень и тусклых фонарей вдоль дороги. Оля дремала в кресле рядом, у окна, доверчиво положив голову на плечо Матвею Ильичу.

Ему не спалось.

Эйфория от неожиданной новости потихоньку схлынула, уступив место трезвым размышлениям. «И что я, старый дурак, поддался эмоциям, как курсистка? — спрашивал себя Корнеев. — Да, у меня появилась дочь. Но что это меняет? И что делать с этим дальше? Воспитывать её уже не надо, взрослая. Защищать? От кого? Разве что от собственного цинизма с эгоизмом вместе. Любить? Но ведь невозможно вмиг полюбить чужого, по сути, человека, только потому, что он чудесным образом оказался твоей дочерью. Наверное, это чувство приходит с моментами, когда твой ребёнок не даёт тебе спать ночами, когда ты видишь его первые шаги, слышишь первые слова, гордишься его успехами, переживаешь с ним его неудачи. Когда ты проживаешь с ним общую жизнь. Но в моей не было этих моментов. И я не могу врать себе, этой девочке, будто испытываю к ней какие-то чувства, кроме неловкости, может, вины... что не был ей настоящим отцом, да никаким не был, а главное, не смогу им стать.

Что я могу дать Оле? Как и матери — только денег? Опять же получается, что откуплюсь ими. А она, скорее всего, ждёт другого. Верит в добро, в справедливость. Неиспорченное цивилизацией дитя.... Ей проще. Мне б её веру...»

Корнееву захотелось курить. Страшно, до ломоты в висках. А до ближайшего пункта остановки автобуса ещё примерно с час езды. Придётся терпеть, смирился Матвей Ильич.

«От себя не уйти. Всё это не то, не так должно было быть. Не могу я принять своё неожиданное отцовство. Не готов. За что мне этот подарок? Чем я его заслужил? Ведь я когда-то не Насте изменил, а себе. Не Настю обмануть решил, а судьбу. Я обманул, а она мне бонус?.. Так не бывает. Так не должно быть...»

...Оля проснулась неожиданно, словно от толчка, когда автобус после короткой стоянки снова тронулся в путь. Корнеева рядом не было, а на её коленях лежал листочек, видимо вырванный из блокнота. На нём было лишь одно слово: «Прости»...



---

С 2010 года – главный редактор историко-культурологического литературно-

Член Союза писателей России с 1994 года Член Высшего теоретического совета Союза



## Проза

---

---

### Людмила Ашеко

*Людмила Ашеко родилась 1 марта 1945 года в Свердловской области, в эвакуации. Автор четырёх поэтических книг, двух книг прозы. Печаталась в журналах «Днипро» (Чернигов), «Немига» (Минск), «Южная Звезда» (Ставрополь), «Наши современники», «Российский колокол» (Москва). Член Союза писателей России, лауреат литературной премии им. Н.И. Рыленкова, им. Ф.И. Тютчева «Русский путь», лауреат Всероссийского литературного конкурса современной прозы им. В.И. Белова, победитель Всероссийского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, солдат!», победитель конкурса «Славянская лира» (номинация драматургия). Живёт в Брянске.*

#### Живой цветок

Николай пришёл домой в «жестоком», как он сам выражался, подпитии. Напился он в одиночестве в подвальной рюмочной напротив дома. Водка была противная, дешёвая, перелитая заранее в дорогие бутылки, но напивался Николай целеустремлённо, осознанно – до бессознания, которое прерывалось секундами, рвущего болью, просветления.

Главное, он не понимал себя. Не мог объяснить своей, говорят, неглупой голове, полной кипящего серого вещества и замысловатых извилин, способных выдавать заковыристые идеи, выдумывать новые компьютерные программы... так вот, не мог он объяснить этому вместилищу интеллекта, почему жизнь его катится в пропасть. Всё: и машины, и растения, и люди --- всё ему надоело, опостылело, обрыдло, осто... Всё! И только она, не очень, как считают, красивая, сдержанно-скромная, старше его на пять лет, что было видно сразу из-за его, идущей в ногу с модой, молоджавости, только она могла заполнить всё пустое, оживить всё увядшее, наполнить смыслом надоевшее и заставить полюбить опротивевшее... Но почему? Неужели так неуправляема эта таинственная субстанция, называемая душой? Её, мифически бессмертную, ни один хирург на вскрытиях не нашёл, даже местечка, где бы ей, пусть бесплотной, надлежало угнездиться в теле... Нет её, а она болит, ноет, мучает... Николай боролся яростно, безжалостно, долго. Он ругал себя, высмеивал, уговаривал... Он бросал тело в компании, развлечения, случайные постели. Уезжал во всевозможные командировки, лёг в больницу, удалять мешавшую родинку на спине... Чем хуже, тем больше осознавал, чувствовал, горько испытывал невозможность что-то изменить.

Наконец, смирившись с потерей гордыни (уж больно стыдно перед друзьями – ну и выбор!), набравшись храбрости, он, тридцатилетний искушённый холостяк, решился признаться Ей. Она пришла на работу в сером трикотажном платье с тёмно-розовым цветком-брошью у плеча (он всегда замечал любую мелочь в её наряде). Она улыбнулась тихо, покивала всем в отделе и, надев свои простенькие очки, углубилась в работу.

Николай, отложив всё, просто смотрел на неё, не подозревавшую ни о чём внимании, смотрел, как она то и дело поправляет сползающие очки, задумывается на мгновение, проверяет что-то в документе, снова снуёт пальцами по клавиатуре...

Он ждал перерыва. Когда она встала, подошёл к ней, почти не глядя ей в лицо, отвёл к дальнему окну в быстро опустевшем кабинете, буркнув «на минутку», сначала глянув глубоко вниз с двенадцатого этажа, в эту бездну, мелькающую автомобильчиками и букашками-людьми, Николай, жадно схватив её лицо взглядом, проговорил хрипло и прерывисто:

- Я... уже год... Я люблю Вас. Не могу... Больше не могу молчать. Вы... как захотите, так и будет. Я всецело - Ваш.

Она посмотрела на него изумлённо и нежно, тень металась по её лицу, словно часть невидимой души её невесомым крылышком помахала, чтобы утихомирить волнение. Это волнение прорвалось и в тихом голосе.

- Я... Спасибо Вам, Николай Васильевич! Спасибо. Мне очень дорого Ваше внимание, эти слова. Вы прекрасный молодой человек! Один из лучших, кого я знаю. Но...

- Нет? – прервал он резко и отвёл глаза.
- Нет. У меня семья. Всё определено. Нет.
- «Уж я другому отдана и буду век ему верна»? – ядовито процитировал Николай.
- Да, - просто ответила она, а он полюбил её ещё больше.

Всё время – эту минуту жизни, не более, показавшуюся растянутой, как резинка, и вдруг ударившую хлестко и больно по лицу, по мозгу, по сердцу, - всё это время Николай смотрел не в лицо ей, а на железный крашенный цветок, приколотый к платью. Цветок этот вспорхнул, как бабочка, проплыл мимо и скрылся из виду.

Как прошёл день? Обычно. Николай всё делал правильно, даже внешне увлечённо, больше ни разу не взглянув в её лицо, лишь изредка скользя взглядом по розовой железке у её плеча, куда ж денешься – вот она, в двух метрах от него.

Напившись в рюмочной после работы, он пришёл домой на свой девятый этаж зачем-то пешком, что ослабило действие и так мало бравшего ум и боль зелья. Только тело шатало и болтало из стороны в сторону. Он побродил по квартире, постоял на балконе, умылся в ванной, и всё равно в глазах стоял этот розовый железный цветок. И впервые в жизни через мысли Николая прошли какие-то, похожие на стихи, строчки. Он тут же набрал их на компьютере. На экране монитора высветилось:

«Люблю тебя, цветок железный,  
Ты не живой, ты бесполезный».

Он полежал на диване, помаялся... Снова прочёл на экране двестише и набрал по-другому:

«Зачем любить цветок железный?  
Он не живой, он бесполезный!»

Потом Николай снова вышел на балкон. Солнце ушло за дома, ещё румяня края облаков оранжевой каймой, пахло зелению, весенней сыростью, влажным асфальтом, что ли?... Николай встал на табурет, прислонённый к стенке балкона, затем, держа за боковое ограждение, наступил на невысокие перила и посмотрел вниз. Страшно не было. Хотелось только оторваться от боли, наполнившей весь этот суший мир. Осталось только разжать пальцы, держащие проволочное ограждение, и чуть оттолкнуться ногами. Он набрал воздуха в лёгкие, как перед прыжком в воду, повёл глазами по сторонам, чтобы не видеть дно, и вдруг прямо перед собой увидел розовый цветок. На слитом с его балконом соседнем ограждении с кружками-гнездами для горшков стояла цветущая герань, вынесенная на весенний теплеющий воздух. Цветок был у самых глаз, один на не расцветшей ещё розетке, розовый в тон тому, железному, но живой, живой!

Пальцы Николая судорожно сжали железо, на слабых дрожащих ногах он слез с перил и пришёл в комнату. Прочитав оба двестишия, набрал ещё одно.

Ты оживёшь, цветок железный!  
Цвети! Ты спас меня от бездны!

Потом, скользнув взглядом по поэтическим томикам на полке (коллекция незабвенной тёти, обеспечившей его этим жильём), Николай взял Тютчева, открыл, где пожелалось самой книге, и прочёл:

Я очи знал, - о, эти очи!  
Как я любил их, - знает Бог!  
От их волшебной, страстной ночи  
Я душу оторвать не мог.

Николай перелистал весь небольшой томик, выбирая стихи о любви, вчитываясь в строки и находя в них то живое, трепетное, что билось в нём, как птица о стекло... Потом, снова выйдя на балкон, увидел в небе первую звезду, блистающую не золотом или серебром, а отливающую тёмно-розовым, как цветок на соседнем балконе.

Он присел к компьютеру и, почти не задумываясь, набрал своё первое стихотворение.

А я тебя не знаю. Но в пространстве  
Пересеклись две жизни - два пути.  
Стою на перекрёстке: пусто, странно...  
Забыл, в какую сторону идти.  
А ночь спускает тёмные завесы,  
В душе - одна печаль, одна беда!  
Но в вышине, средь облаков белесых,

Как розовый цветок, зажглась звезда.  
И стало ласковей на белом свете,  
И путь открылся - впереди года!  
Вот я иду. Иду, пока мне светит  
Любви неугасимая звезда!

## Маленькая луна

Женька лежал на спине, заложив руки под голову, и смотрел на свою собственную маленькую луну. «Как хорошо, что ты у меня есть! Большая луна покажется на один час и уплывёт за створку окна, а ты, моя любимая, всегда мне светишь, в любую погоду, хоть какие тучи на небе!.. Вот когда улицу отключили, и не было света нигде, ты тоже не горела. Но всё-таки была! Какой-то тусклый блеск мутно переливался посреди окошка!..» Женька разговаривал с маленькой луной мысленно. Иногда губы его шевелились, но голоса он не подавал. Он замер, присмирел, как всегда, по вечерам у себя дома. Голод привычно мучил его, урчало в животе, и слюна наполняла рот, потому что от соседей с площадки дотягивался, цепкой нитью вползая в самые тонкие щели, приманчивый запах тушёного мяса с чем-то овощным, острым, щемящим. Не выдержав, Женька тихонько поднялся с кровати, на цыпочках подошёл к двери, прислушался. Из залы доносился густой отцовский храп с бульканьем и сипом, в кухне гундела мать. Она бурчала что-то злое, грязно ругаясь и густо сплёвывая, двигая бряцающую посуду, скрипя старым разбитым стулом. Женька знал, что родители снова напились самогонки, не выпили, как ежедневно, столько, чтобы ещё что-то соображать и говорить понятное, а напились «до отруба», как говорил Колька, его старший брат. Так они напивались после выгона очередной партии этого зелья из вонючей, заполняющей бак для кипячения белья и эмалированное ведро, браги. Вся квартира была насыщена нахальным, махровым запахом варева. Женька прятался от него и от родительской злобной дури в спальне, где обитали они вдвоём с Колькой. И то до поры до времени, потому что брат тоже не брезговал этой отравой, хотя дожил пока всего лишь до пятнадцати лет. Сегодня он где-то «блукатился», как выражалась мать, и Женька радовался, что может побыть один, и не высовывал носа, чтобы мать не прицепилась к нему. Он с ужасом думал о приступах её ласк, когда она тискала его, мусолила вонючими губами по лицу, щипала за ягодицы... Даже её неоправданный гнев был легче переносим, хотя не поймёшь, чего она взъелась, чего орёт и матерится, бросая в тебя чем ни попадя...

Вот и сейчас, одна на кухне, ругаясь, бесясь, она, видимо, не заметила или забыла, что Женька вернулся из школы. Хорошо, что учительница добилась (а ей пришлось долго уламывать мать), чтобы Женька оставался после уроков в продлёнке. Там кормили, уроки помогала делать воспитательница, его самая любимая из всех людей на свете Анна Ивановна! «Эх, я дурак! Зачем оставил ранец под вешалкой! Там свёрток, который сунула мне Анванна!»

Женька перед прошлым Новым годом как-то разоткровенничался совсем чуть-чуть и рассказал кое-что Анне Ивановне. В тот день всех детей разобрали из продлёнки рано, даже обедать никто не остался, один Женька. Они сидели в столовой вдвоём, и учительница накормила мальчишку сосисками до отвала и компотом напоила, пока он не отказался. Потом они собрали остатки еды в мешочек и честно разделили в классе пополам.

- Мне кошку надо кормить, ей на неделю хватит! - радовалась Анна Ивановна.

- А я хоть сам наемся!

- А что же, родители тебя не кормят?

- Кормят, когда трезвые. Да не сосисками же!.. А как этот цвет можно завести? --- перевёл разговор Женька, показав на кудрявый вьюнок с треугольными, похожими на виноградные, только маленькими, листочками.

- Это плющ. Отрываем маленькую веточку, вот так, и ставим в воду.

Анна Ивановна плеснула воды в баночку из-под майонеза, которых на окне стояло штук пять (для рисования), туда поместила отросток.

- Теперь жди, когда корешки даст, тогда в землю его посадишь.

Женька ждал недели три. А-а-ах! Беленькие точки на ножке веточки стали вытягиваться в ниточки-корни. Ура!

- А где же брать горшок?

- Принеси бутылку из-под газировки.

Бутылка нашлась светло-жёлтая, большая. Анна Ивановна разрезала её посередине пуза, где был пояс, и продырявила половинки каждую по-своему: у нижней три отверстия в дне, чтобы лишняя вода стекала, у верхней, закрученной пробкой, три дырочки у края окружности. В эти отверстия были вставлены куски серого витого шпагата, с толстыми узелками на концах. Вверху Аннана связала концы шпагата в пучок с петлёй на конце. Они пошли вдвоём после продлёнки на участок, набрали камешков, немного песка и хорошей, «пушистой» земельки из компостной кучи. Держа отросточек за макушку, Аннана заботливо обтоптала его пальцами и, опустив горшочек в самодельное кашпо, понесла его сама до самого Женькиного дома.

Дома никого не было, и Женька тут же забил гвоздь в середину верхней перекладины окна, повесил кашпо и, улёгшись на спину на кровать, стал смотреть на свой цветок. Из кашпо торчала только остренькая зелёная макушечка да один листик, похожий на маленькую ручку.

«Раста, мой цветок! Скоро вытянутся гибкие стебли, все в кудряшках листиков, и будешь ты похож на свою маму-плющуху, от которой тебя оторвали. И будешь ты похож на мою любимую Аннана, потому что у неё вдоль лица такие длинненькие кудряшечки спускаются... Аннана уже совсем немолодая, видно, старше моей мамы, но всё равно она красивая, добрая, весёлая... Если бы я был её сыном!..» – думал Женька, думал и заснул. А когда проснулся, был вечер. Он открыл глаза и увидел маленькую луну. Она висела в середине его окна рожками вверх, сияла ярко, ровно.

«Почему луна такая маленькая?» – удивился мальчик. Он встал, подошёл близко к стеклу и всё понял. Из верхнего горшочка в нижний просочилась вода. Она вобрала в себя свет жёлтых уличных фонарей и, отражая его, горела, точно настоящее небесное светило.

«Ура! У меня есть своя луна! Моя собственная маленькая луна!» – Женька влюбился в это чудо. Он следил, чтобы под днищем горшочка всегда был слой воды, и каждый вечер, и ранними тёмными утрами любовался своей маленькой луной.

Никто не знал о ней, только он и Аннана, которая ласково называла Женьку непонятным словом «романтик». Он не стал даже спрашивать, что оно означает, но думал, что-то вроде «бантик» или «фантик», и ему было приятно.

Брат Николай презрительно скривился, увидев на окне цветок.

- Фу! Г... какое-то повесил. Убери! На черта эта висюлина? Выкину с окна!

Женька знал, что спорить никак нельзя. Волнуясь, он стал тихо просить:

- Колечка, ну, пожалуйста, разреши... Пускай цветок растёт! Он же не мешает... Я тебе за это буду две недели носки стирать!

- Ладно, утри сопли... Пускай... Какая-то девчоночья фигня! Чтоб носки не забывал!

Женька заработал цветку жизнь, и тот быстро потянулся во все стороны своими листиками – ручками-кудряшками, опушая маленькую луну зелёными острозубчатыми звёздами.

Сегодня был плохой день. В школе испортилось электричество, и на обед дали только булку с молоком. В продлёнке выдали сухой паёк: кусочек колбасы, хлеб и вафлю. Аннана отдала Женьке все вафли и хлеб, что остались от ребят, которых забрали пораньше, и один кусок колбасы из двух. У Женьки в животе было сухо, плотно, и начал побаливать правый бок. «Наверное, от голода, – решил он, – пить хочется! Хоть бы мама в туалет пошла! Долго там пьяная сидит, я бы всё успел: воды бы набрал и ранец занёс...»

Дождлся-таки, правда, засела мать в туалете, и Женька на цыпочках шмыгнул в кухню, отравившись первым же вдохом. Налил воды в кружку, едва приоткрыв кран, чтоб не шумел, прихватил на обратном пути ранец. Он жадно грыз сухое, запивал водой и глядел на свою луну, не отводя глаз. Вдруг резкая боль в боку согнула его пополам, он вскрикнул невольно, и из кухни потопали, пошлёпали неровные пугающие шаги.

- А-а-а... сыночка, Шеничка! Холёсынький мой ш школы присёл...

Она плюхнулась рядом с ним на кровать и схватила поперёк спины, прильнула к нему костлявым телом и толстым опухшим лицом. Он попробовал освободиться, и снова резкая боль рванула уже в низу живота.

- Ай! Уй-уй-уй! – он закричал каким-то тонким, не своим голосом.

- Чего ты орёшь, паразит?! – мать отшвырнула его от себя, завалилась на кровать и, не глядя на него, продолжала гнусно и пьяно, сиплым базарным голосом выкрикивать всякие ругательства и обиды на нелюбовь и неласковость сына.

Женька не мог разогнуться. Вдруг его вырвало раз и другой. Он почти ползком добрался до ванной и, обмывая лицо под краном, глотал воду с ладони. Мать выползла, заглянула в ванную.

- Что, сыночка, в школе отравили чем-то, гады?! Сами хорошее пожрали, а детям лишь бы что... сволочи...

Женька, взяв ослизлую половую тряпку, дополз до своей кровати, но убирать не смог, уронил тряпку на грязную лужу, повалился ничком на постель и затрясся в какой-то неостановимой дрожи.

Как в тумане, в проёме двери раза два появлялась мать, лепетала что-то успокаивающее, вроде: «А... ну полежи. Пройдёт... Я им завтра, гадам!..»

Потом зажглась маленькая луна, засияла, замерцала от лёгкого движения льнувшего к окну ветра, и Женька поплыл в каком-то жарком медленном потоке в тишину и темноту...

Брат Николай пришёл домой после часа ночи нетрезвый, прокуренный. Он включил свет, страшно заругался, наступив на скользкую тряпку, но, посмотрев на Женьку, сразу протрезвел и замолк.

«Скорая помощь» забрала мальчика, но брату его - подростку - через два часа ожидания сообщили, что спасти Женю было невозможно, слишком поздно...

Горе родителей было залито всё той же самогонкой: отец стоял у гроба истуканом с оловянными глазами, а мать закричала что-то невнятное, злое, пьяное и осела в руках двух краснолицых тёток то ли от слабости, то ли от хмеля.

Анна Ивановна с группой ребятишек проводила Женьку, постояла у могилки, положила гвоздики на земляной холм и горько заплакала, неудержимо, по-детски. Дети тоже заплакали от страха и непонимания. Заплакал и Николай, коснулся холодной земли не могиле брата, закрыл лицо ладонями, затрясся, застонал...

Прошло девять дней. Самогонная река уносила родителей всё дальше в океан забвения, а брат Жени замкнулся, как-то оторвался от своей компании, перестал тусоваться с ребятами. Домой его тоже не тянуло. Сначала он всё уходил куда-нибудь к речке или в жидкую рощицу за дорогой, потом прочёл в школе объявление о разных кружках и начал ходить в изостудию, где очень полюбился педагогу и, кажется, нашёл своё дело.

Плющ на окне никто не поливал, и сначала высохла, иссякла маленькая луна, а потом засохший цветок в горшках из бутылки полетел вниз за окно, распахнутое в лунную весеннюю ночь.

## Успенье

В сутках не хватало часа, в неделе – суток, в месяце не доставало недели, в году – месяца... Люба ничего не успевала: недосыпала, бежала, переутомлялась – не успевала!.. Но в последнее время что-то случилось со здоровьем: не было сил, и посреди вечной спешки вдруг волна слабости начинала укачивать до тошноты, до полуобморока. И тогда всё, что заставляло бежать, лететь, успевать, отодвигалось в зелёный туман, качалось, как водоросли в водной глубине, замедлялось, обеззвучивалось...

Врач назначил анализы, и Люба не стала откладывать – наутро, пораньше, пошла в поликлинику. Её заочный институт один раз обойдётся списанной у старшекурсницы контрольной, на работе как-нибудь поднапрягутся и допечатают заказ без её сверхурочных, но вот тётя Маня...

Тётя Маня жила в двух часах автобусной поездки в деревне, единственный родной Любе человек, сестра её матери, мамочки, похороненной, согласно её предсмертному желанию, на родине. Ох, и достались Любе эти похороны!.. Но, слава Богу, всё, как и хотела мама... Мама, с рождения желавшая Любе только, конечно же, добра и счастья! Оттого и назвала её Любовью. Вот только любви... Нет-нет, не об этом... Нет - тётя Маня. Она там одна, мало того, двух соседок-старух досматривает, сынки которых отгородились от мамок тюремными решётками, а дочки по столицам – в Москве и Питере – далеко. Вчера письмо пришло от тёти Мани: заболела, слегла... Ну, как в сказке: «Битый небитого везёт...» Надо ехать срочно. Она показала письмо, отпросилась на работе и решила успеть сделать два дела: сдать анализ крови и съездить в деревню. Автобус уходил в десять пятнадцать, поликлиника недалеко от автовокзала, лаборатория работает с восьми -можно успеть.

Как ни торопилась Люба, а в очереди перед ней уже сидели две старухи: большая, толстая, рыхлая с одутловатым лицом и тяжёлой одышкой, сложила руки на простой сучковатой клюке (где только отыскала?) и маленькая, квадратная, сухая, вся сморщенная, с внимательными быстрыми глазами. «Так, - думала Люба, - с восьми, если даже по десять минут на каждого, полдевятого освобожусь. Ну, минут пятнадцать туда-сюда, мало ли что... Успею! В крайнем случае влезу без билета, а на маршруте куплю...»

За Любой очередь занял молодой, но совершенно лысый, с серым лицом, мужчина. Он вошёл, опираясь на палку, еле двигая ногами, вопросительно глянул на Любу: «Вы?», - прошелестел безголосо. «Я», - неожиданно звонко ответила Люба. Он сел рядом, откинулся спиной на стену и прикрыл глаза.

Полумрак коридора наполнялся силуэтами, движением, гулом голосов... Скоро сидеть стало негде, стояли, подпирая стены. Запахи витали, смешивались: духи, табак, одеколон, чеснок, жвачка... Любу тошнило. Она расстегнула манжету ветровки, взглянула на часики.

- Сколько? – встрепелась быстроглазая старушка.

- Без двадцати пяти восемь...

Тут, величественно раздвигая толпу, к двери кабинета прошёл, скорее, проплыл, высокий статный старик. Его светло-бежевый, добротный костюм подчёркивал свежесть лица и сохранность фигуры, начищенные коричневые туфли отражали блики тусклого света, благоухание дорогой парфюмерии шлейфом тянулось за ним. Едва взглянув на очередь, он подошёл к самой двери, грациозно привалился к ней левым плечом и, приподняв рукав, взглянул на яркие дорогие часы. Кудрявая голова, крупные черты лица в продольных морщинах, делали его похожим на царственного льва. Он несколько досадливо вздохнул и стал глядеть вдаль, поверх голов, бурлящей вдоль коридора, очереди.

Грузная старуха приподняла клюку и постучала в пол у ног пришедшего.

- Э-э-э... господин хороший, я тут первая в очереди. Чего у двери встал?

«Хороший господин», не глядя на неё, молча, двумя пальцами правой руки достал из внутреннего кармана удостоверение и с нескрываемым холодным презрением поводит им у лица старухи, затем, приподняв, подержал перед всеми и снова вложил в карман. Бабуля вскипела, затряслась вся.

- Что ты мне тычешь? Тут поликлиника общая, я старше тебя, я с семи часов тут сижу! Я первая пришла и первая пойду! Мне твоя картонка ничего не значит!

Выдержав паузу после её тирады, с достоинством развернув плечи, старик ледяным тоном произнёс:

- Я имею право – ветеран ВОВ.

- Какой такой «вов»? Войну мы все пережили, кто до старости дотянул. Я с пятью детьми мыкалась! Мужа на второй год убили! ВОВ! Герой какой явился!..

Ветеран посмотрел на неё, как на пустое место, и холодно повторил:

- Имею право.

Люба прикинула: «Ещё десять минут! Всё-таки успею...»

Гудящая тишина держалась ещё минут пять. Люба опять глянула на часики - четверть часа ждать ещё. Вдруг резкий голос: «Пропустите, пропустите!» Стук палки об пол, грохот подкованных каблучков внедрился в прибойный гул коридора, и к дверям кабинета подлетел, как на помеле, ещё один дед. Коренастый, мосластый, с широким, словно приплюснутым лицом он, унимая одышку, остановился, глядя исподлобья на вальяжного господина, и полез в карман дрожащей неверной рукой. Он весь был наполнен возбуждением, дёргал веками, щеками, топтался, трепетал. Достал из засаленного чёрного пиджака удостоверение и ткнул в лицо бежевому. Тот молча достал своё. Дед чуть отступил, опустил голову, потом зорко глянул на сидящих. Люба встала, уступила ему место, досадуя и успокаивая себя тем, что, может быть, и не по десять минут уйдёт на каждого. Первая старуха застучала палкой в пол.

- Набежали вояки! Через пять человек! Ты, дед, через пять человек пойдёшь! Не пропущу! Я диабетик, мне надо вовремя есть и лекарство принимать! Я не буду тут день сидеть!

Дед взорвался, как праздничная ракета, – искры во все стороны!

- Посидишь! Через пять человек – это мне час сидеть, а тебе десять минут обождать, не помрёшь! Твои болезни, неизвестно чем нажитые, а у меня рана в боку!

- Мои болезни? Чем же нажитые, как не горем?!

- Может, ты проституткой с фрицами гуляла?!..

- Ах ты, хрен старый, охальник! Это у тебя от злости бок твой болит! Герои тут собрались! Да все герои в земле лежат! Нам ваши заслуги неизвестны!

- Ах ты, тухлая брюква! Да у меня два ордена, килограмм медалей!.. – дед захлебнулся, закашлялся...

Не выдержал и вальяжный господин, фыркнул:

- Кому надо, тому всё известно!

Тут маленькая старушка ворохнулась и подала голос:

- И нам, Фимочка, известно кое-что, --- господин словно ёкнул, сверкнул глазами на неё, сразу объял, - парикмахером у генерала всю войну прослужили, у врачихи в любовниках протомилися, справку о вроде бы туберкулёзе получили... Что смотришь, как карась на щуку? Я санитаркой при госпитале билась... Мне картонки не положены...

Дед взвился:

- А-а-а! Парикмахер! Так сиди и жди! Я первый пойду, я – служба, а ты --- служка!

Парикмахер грустно посмотрел на него.

- А ты, что же, не знаешь, где боевые генералы со своей службой были? Не помнишь, в кого фрицы в первую очередь метили? Да не отпускал меня генерал от себя, хоть и просился я... А тут ещё туберкулёз...

Он вздохнул, отвернулся лицом к стене, успев отойти в сторону от двери.

- Досталось нашему поколению! Молодёжи не понять, что такое война! – дед трагически всхлипнул.

Тут молодой мужчина открыл глаза, вздохнул глубоко и сказал глухо, исходя смертельной тоской:

- Да все вы, старички наши и старушки, всё хорошее заслужили, не ругайтесь... Зачем это? – он судорожно глотнул, - я солдатом побыл, водил армейский автобус, бабок и дедов из заражённой зоны выводил. Чернобыль пукнул - вся вонь на нас пошла... Ох... вредные эти бабки! «Не поеду никуда, - кричит каждая, - хату не брошу! Нету никаких ренгенов!» Уговариваешь, заставляешь... А время идёт, и гады эти невидимые в тебя залезают... Вот и стал калекой в двадцать пять лет. А до ваших лет и не мечтаю дожить!.. Уже и врачи не обещают.

Он снова закрыл глаза, но Люба успела заметить их влажный блеск, и горечь пронзила ей душу.

- Так иди, сыночек! Первый иди! - большая рыхлая бабка затряслась вся, - иди! Как загорится лампа, сразу иди!

- Иди первый, сынок! - дед даже потянул парня за рукав.

Тот, переборов, видимо, слёзы в голосе, натужно улыбнулся.

- А куда мне спешить? Я лучше тут, с людьми посижу. Не-е-е. Не надо. Сами идите.

Лампочка загорелась, потом замигала, торопя. Но все сидели и стояли без движения. Дед-ветеран ткнул в бок соседку:

- Ну, идите, бабки. И правда, куда нам спешить? По очереди идите. Я – через пять человек, за этим, - он дёрнул головой в сторону «хорошего господина», - за парикмахером пойду.

«Успею, - успокоилась Люба. Она смотрела на «чернобыльца», как называли всех, пострадавших от этой беды, - неужели ему только двадцать пять? Мой ровесник. Мог бы мужем стать... Бедный!»

Она машинально отметила, что бабушка с клюкой вышла уже через пять минут. «Успею, уж точно. А он, видно, ничего не успел... И не успеет...»

И всю дорогу, стоя в переполненном автобусе, она думала об этом пареньке, как о друге, брате, дорогом человеке... Она ещё не знала, что и её зацепила эта чёрная быль, проникла в её щитовидную железу, отягчила, обездолила, обесплодила. Не знала она и о том, что сегодня, сейчас, в налитом плодами и хлебами августе, христиане отмечают Успенье Богородицы – день её ухода в объятия Сына Небесного от печальной земной юдоли, где матери довелось пережить своё дитя.

## Поэзия

### Геннадий Ёмкин

*Родился в 1961 году в Арзамасе (Саров) Горьковской области. Окончил физкультурное отделение Лукояновского педагогического училища им. А.М. Горького, биолого-химический факультет Арзамасского педагогического института им. А.П. Гайдара. Воевал в составе ограниченного контингента войск в Афганистане. Член Союза писателей России. Автор трёх поэтических сборников и многих публикаций в изданиях России. Живёт в городе Сарове Нижегородской области.*

\*\*\*

Поле в асфальт закатали.  
Знаки и линии в ряд,  
Где васильки мне кивали.  
Всё под асфальт, под асфальт!

В лязге, в строительной пыли  
Мастер решает вопрос,  
Чтобы бульдозеры срыли  
Всё под откос, под откос.

В лязге, в строительной пыли  
Люди, в каком-то бреду,  
Полю на грудь положили,  
Как на могилу, плиту.

Всё. Уложились до срока.  
Дует в трубу музыкант.  
Просто, сурово, жестоко  
Мы применили талант.

Давит шофёр на педали,  
Думает что-то своё.  
Поле в асфальт закатали,  
Русское поле моё...

\*\*\*

Я себе не придумывал Бога –  
На хрена огород городить,  
Вот он – рядом идёт по дороге,  
Нам одну сигарету курить.

Он хромает на левую ногу,  
Как и я, он ещё не женат.  
На задании – просто Серёга,  
А в казарме – товарищ сержант.

Он шагает по пыльной дороге,  
Вместо нимба – повязка в крови,  
И не знает, не знает Серёга,  
Что сегодня он будет убит.

У Серёги такая наколка –  
Синий, с крыльями, парашют!  
Мы ходили вчера в самоволку,  
А сегодня Серёгу убьют.

А пока матерится Серёга,  
Проверяя свой боекомплект:  
– На хрена мне придумывать Бога  
В девятнадцать неполные лет...

#### Январская ночь

Неужели все обречены?  
Ночь хрустит, мороз себя восславил.  
Месяц, как копыто сатаны,  
Небу в лоб печать свою поставил.

И осыпал звёзды в мёртвый снег,  
В небесах остались только дыры,  
И из них свистит нездешним миром.  
Не смотри на небо, человек!

Свист свистит, и хруст хрустит, и ночь  
Поглотила родину поэта.  
И ничем нельзя уже помочь  
Никому. До самого рассвета.

#### Журавлиное

Татьяне

Над равниною серою, тусклою  
Протянулись и тают вдаль,  
Словно песня протяжная русская,  
Мои птицы, мои журавли.

Я не знаю, не знаю, не знаю,  
Для чего я им что-то кричу,  
Почему вместе с ними рыдаю,  
Почему я за ними лечу.

В это небо холодное, рваное,  
До того, что и жизни не жаль,  
Журавлиное, светлое, странное  
Прозвучало и кануло в даль.

Над погостами, избами, липами,  
Растворяясь в туманной дали,  
Осенив мою родину кликами,  
Пролетели мои журавли.

Но, смирившись со всеми потерями  
До того, что и жизни не жаль,  
Отчего же смотрю я потерянно  
На покинутый птицами край?

Оттого ли, что всё неизбежное  
Принимая, покорный судьбе,  
Журавлиное, светлое, нежное,  
Уходя, я оставляю тебе...

\*\*\*

Огородик за слепенькой хатой.  
Речка бродит в сухом камыше.  
Лес простуженный. Луг кочковатый.  
А поди – прикипело к душе.

Из последних по стылой воде  
Жёлтый лист проплывает медленно.  
Знаю, больше не будет нигде  
Так покойно, светло, так пронзительно.

А казалось бы – речка да лес,  
Куличок на излучине вроде бы,  
Свет неярких осенних небес...  
Отними – не останется Родины.

\*\*\*

Сентябрь.  
Не сильные, грибные  
Дожди идут об эту пору.  
Редеют кроны проливные,  
Ещё притягивая взоры.  
Сквозь тучи,  
Хрупок каждый, тонок,  
Пробьются редкие лучи,  
И, как застенчивый ребёнок,

Природа мудрая молчит.  
И мне молчанье станет в счёт,  
Оно сродни молитве в храме,  
А то, что по щекам течёт, –  
Не объясняется словами.  
Учусь молчанию листа,  
Внимаю таинству долины,  
Где вспыхнул каждый куст рябины  
Библейской раною Христа.

### Ванюша

Не упитан, не начитан, –  
Где мозги и где живот...  
А врачи – ну что врачи-то, –  
Сказали: «С Богом, пусть живёт!»

Что же, с Богом – значит, с Богом,  
Ничего, давай держись!  
Повернулась к Ване боком  
Вся судьба его и жизнь.

В кедах стареньких идёт,  
Телогреечка не лучше.  
Кто-то скажет: «Идиот!»,  
Кто-то скажет: «Эх, Ванюша...»

Живёт. Копает огороды  
За миску деревенских щей.  
Доволен он любой погодой,  
Мальчишки дразнятся: «Кощей!»

Он на мальчишек не в обиде,  
Он не в обиде вообще.  
Он не такой, как все, – он видит  
И понимает суть вещей.

Он с птицами и тополями,  
И с ветром в поле говорит.  
Не говорит он только с нами,  
А почему – не говорит...

\*\*\*

Дай мне, Господи, Слово  
Всех времён и сторон,  
Что ложится в основу,  
Словно в колокол звон.

Сокровенным помилуй  
Из Небесной Горсти –  
Дай мне, Господи, силу –  
В Слове силу нести.

Чтобы, слыша то Слово,  
Зашептались века:  
– Слышишь, брат, из какого  
Донеслось далека...

### Капище

Эти древние корни славянства  
Глубоко и широко легли.  
Корни крепко сжимают пространство,  
Что до сих окрестить не смогли.

Там вздыхает дремучее нечто,  
Там такое творится окрест,  
Что кропили, крестили вечно –  
Не уходит из этих мест!

То аукается, то плачет,  
То смеётся, как береста,  
Крест его не переиначит –  
Корни глубже легли креста.

Ты попробуй пройди без крика  
По долине и по горе,  
Если в полночь дубы со скрипом  
Проворачивает в коре.

И трепещет окрестная местность,  
Ожидая, что там и тут  
Корни вынырнут на поверхность  
И опять глубоко нырнут

### Баржа

Баржа грудью легла на Волгу,  
Волны режет враз пополам.  
Ей идти ещё долго-долго,  
Посылая гудки берегам.

И идёт она по фарватеру,  
Только так и можно идти!  
Капитан с командой по-матерному  
Разговаривает в пути.

Лишь совсем посторонним, случайным  
Это кажется развлечением –  
Словно баржа идёт играючи  
Против Волги, против течения.

Даже чайки, что рядом крутятся,  
Рыб серебряных теребя,  
Понимают, что баржа трудится  
И совсем не жалеет себя.

Ей идти ещё долго-долго  
По фарватеру, а не мутью.  
Баржа грудью легла на Волгу  
И её раздвигает грудью.

### Пепел

*Вячеславу Лютому*

Поэт особится от прочих,  
Он редко с кем заговорит.  
Он носит маску, он не хочет  
Огласки, что внутри горит.  
Умрёт.

А мастер скорбных дел,  
Желая маску снять посмертно,  
Воскликнет:  
– Боже, весь сгорел!  
Отдайте этот пепел ветру...

## Юбилейные даты

---

---

### К 200-летию М.Ю. Лермонтова Валерий Михайлов

**«Лермонтов. Один меж небом и землёй». Издательство «Молодая гвардия», «ЖЗЛ», Москва, 2012 год**

*Поздравляем нашего автора - известного русского поэта, литературоведа, главного редактора русскоязычного международного литературного журнала «Простор» (Алматы, Казахстан) Валерия Фёдоровича Михайлова с выходом его фундаментального труда – жизнеописания М.Ю. Лермонтова. Это труд на стыке многих жанров – художественного, документального, исторического, научно-аналитического. И, конечно, уникально то, что эта книга размышлений поэта о поэте. Читая книгу Михайлова о Лермонтове, ловишь себя на мысли, что именно так и только так – как к живым и вечным нашим современникам – и надо относиться к писателям-классикам!*

Диана Кан

### Главы из книги «Лермонтов. Один меж небом и землёй»

#### Музыка сфер

Едва ли не лучшее из написанного Лермонтовым в прозе – его заметка в юношеской тетради 1830 года: «Когда я был трёх лет, то была песня, от которой я плакал: её не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услышал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать».

Единственное его о матери воспоминание, записанное в пятнадцать лет.

«Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика: как сквозь сон, грезилась она ему; слышался милый её голос. Потеряв мать на третьем году, он хотя смутно, но всё-таки помнил её. Замечено, что такие воспоминания могут западать в душу даже с двухлетнего возраста, выступая всю жизнь светлыми точками из-за причудливого мрака смутных детских воспоминаний...» - пишет первый биограф поэта Павел Висковатый.

В начале XIX века благочестие было ещё кровно присуще русским людям, и потому девушек, названных в память Богородицы, оставляя только Ей единственной полное имя, в обиходе величали – *Марьями*. (У Толстого в «Войне и мире» нигде не встретишь «княжна Мария», а только – «княжна Марья».) Это свойственно и Висковатому, хотя своё жизнеописание он составлял уже в конце века:

«Марья Михайловна, родившая ребёнка слабым и болезненным, и взрослою всё ещё глядела хрупким, нервным созданием. Передраги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на её организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, помнили, как возилась она и с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, и он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слёзы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою».

Незадолго до шестнадцатилетия, в «Записке 1830 года, 8 июля», Лермонтов вспомнил свою первую любовь, случившуюся на Кавказских водах, в десять лет, к девочке лет девяти, «название» которой он забыл и сохранил в памяти один только её «образ». Небольшую свою заметку он сопроводил примечанием: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Это, без сомнения, о себе.

А в семнадцать лет появилось стихотворение «Ангел», навеянное воспоминанием о песне, что пела ему в младенчестве мать. Это один из высших шедевров его лирики. Стихотворение первоначально называлось «Песнь ангела». Земная материнская песня словно воспаряет в небеса – и пробуждает в прапамяти небесную песнь ангела.

По небу полуночи Ангел летел,  
И тихую песню он пел;  
И месяц, и звёзды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов  
Под кущами райских садов;  
О Боге великом он пел, и хвала  
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нёс  
Для мира печали и слёз;  
И звук его песни в душе молодой  
Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна;  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Это, конечно, видение, чудесное видение, открывшееся душе. Святая ангельская песня, услышанная душой молодой, ещё летающей по небу полуночи на землю, в мир печали и слёз – и песня матери, напетая младенцу, а быть может, слышанная им ещё до рождения, в звуках самого родного голоса, словно сливаются в глубине сознания, памяти и воображения в одно чудесное воспоминание - *звуков небес*. После такого пения, таких звуков душа может лишь томиться на земле, желанием чудным полна, и никакие земные песни уже не в силах заменить услышанного, и оттого они непродоходимо скучны.

О ком это стихотворение – о матери? о себе? о человеке вообще?..

Знал ли то юный поэт или писал по наитию, но он в точности указал время суток, когда сам появился на свет, ведь это произошло в ночь со 2 на 3 октября, когда над Москвой сияло *небо полуночи*...

Разгадка того, о ком это стихотворение, принадлежит небесам, она, словно звук песни в душе, остаётся без слов.

Небесная жизнь претворяется в жизнь земную. Существование на земле – лишь томление души по неземному блаженству. Скучные песни земли не заменят небесную песнь.

Не заменят... Но именно земная песня матушки, что напевала она дитяти, вызывает в провидческом предсознании младенца звуки небес, ангельское пение, услышанное некогда *душой молодой*.

В Лермонтове, как ни в ком другом из русских поэтов, небо сошлось с землёй.

Можно только догадываться о том, как это произошло, но итог соединения, соития, сплава невозможно не ощутить: обаяние, магнетизм Лермонтова столь велики, что не тают с годами, река времён словно бы в задумчивости обтекает этот могучий, дышащий тайною жизнью утёс. Теперь, по прошествии двух веков, очевидно, что Лермонтов – непреходящая, неизъяснимой притягательности и глубины тайна русской литературы, русской жизни и русской души.

Сверхчуткий Розанов пронизательно заметил: «*Материя* Лермонтова была высшая, не наша, не земная. *Зачатие* его было какое-то другое, «не земное», и, пища Тамару и Демона, он точно написал нам «грех своей матери». Вот в чём дело и суть».

Заметим, однако, в скобках: всюду этот несносный интуитивист Василий Васильевич лезет со своей ветхозаветной плотскостью.

*Пиша* о Лермонтове, что за нелепое *зачатие* приписывает он ему! До какого ещё «греха матери» дописывается?! Тамара, между прочим, погибает после поцелуя Демона. А уж за матушку свою, Марию Михайловну, поэт вполне мог бы *вызвать* философа, и, хотя вряд ли выстрелил бы в него, но уж поддержать на мушке кухенрейтера – поддержал бы, дабы отучить от граничащих с оскорблением символов.

Из «Песни ангела» вполне очевидно только одно.

Небо смыкается с землёй в единое целое – вот что по-настоящему живёт в душе человека. Вот оно – содержание Лермонтова, сущность его *матери*. Не одна лишь человечность, что у других поэтов, - Богочеловечность.

Так, в первом же воспоминании Лермонтова о своей жизни и его поэтическом осмыслении небо сходится с землёй, и душа поэта оказывается на томительном перепутье, исхода из которого в земном существовании нет и не может быть.

Вполне *по-земному* говорит о возникновении этого стихотворения Павел Висковатый, но и в его толковании звучит нечто необъяснимое: «Чем сильнее удручал поэта разлад жизни, который рано стал им ощущаться вследствие враждебных отношений между отцом и бабушкой, тем более манили его светлые сумерки первого детства, время раннего развития его любящей и верующей души. Он уходил в иной надземный мир, прислушиваясь к звукам,

Которых многие слышат,  
Один понимает...

И вот поэт в пылкой своей фантазии представляет себе, какую вышла душа его из горних сфер чистого небесного эфира. Ему всегда были милы и небо, и тучи, и звёзды, - и кажется ему, что, извлечённая из «райских садов», она заключена в брэнное тело для жизни на земле, где и томится смутными воспоминаниями о родине. В одну из минут глубочайшей грусти Лермонтов ещё в 1831 г. пишет стихотворение «Песнь ангела». Для биографии оно особенно интересно в первоначальном виде:

...Он [ангел] душу младую в объятиях нёс  
Для міра печали и слёз,  
И звук его песни в душе молодой  
Остался без слов, но живой.  
Душа поселилась в твореньи земном,  
Но чужд ей был мір. Об одном  
Она всё мечтала, о звуках святых,  
Не помня значения их.  
С тех пор непонятным желаньем полна,  
Страдала, томилась она.  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Нам сдаётся, что это стихотворение хранит в себе основную характеристику музыки поэта. Здесь он является самим собою и даёт нам возможность заглянуть в святая святых души своей. Здесь нет и тени того насилования чувств, которое мы порой можем заметить в его произведениях, и которым он замаскировывает настоящее своё «я». Тут нет ни вопля отчаяния, ни гордого сатанинского протеста, ни презрения, ни бешеного чувства ненависти или холодности к людям, которыми он прикрывает глубоко любящее сердце своё. В этом юношеском стихотворении Лермонтов более, нежели где либо, является чистым романтиком. Неясное стремление романтиков в туманное «там» или «туда» у Лермонтова имеет более реальный характер, связываясь с памятью о матери и ясно определяя положение его в «земной юдоли», то есть между людьми, их интересами и стремлениями. Он чувствует себя чуждым среди них.

Его в высшей степени чуткая и любящая душа не встречает отклика. Он поэтому скрывает от всех настоящие движения её и старается выставить холодность и безучастность изгнанника рая...»

Оптинский старец Варсонофий как-то в беседе с духовными чадами своими припомнил строки из стихотворения Н. Языкова «Пловец»:

Там за далью непогоды  
Есть блаженная страна... -

и развил вскоре свою мысль: «По этой-то блаженной стране и тоскует теперь человеческая душа на земле. Есть предание, что раньше, чем человеку родиться в мир, душа его видит те небесные красоты и, вселившись в тело земного человека, продолжает тосковать по этим красотам. Так Лермонтов объяснил присущую многим людям непонятную тоску. Он говорит, что за красотой земной снился душе лучший, прекраснейший мир иной. И эта тоска «по Бозе» – удел большинства людей».

В другой своей беседе отец Варсонофий вспоминал: «Когда я жил ещё в мире, то был однажды в одном аристократическом доме. Гостей было много. Разговоры шли скучнейшие: передавали новости, говорили о театре и т.п. Людей с низменной душой этот разговор удовлетворял, но многие скучали и позёвывали. Один из гостей обратился к дочери хозяина дома с просьбой сыграть что-нибудь. Другие гости поддержали его. Та согласилась, подошла к дивному концертному роялю и стала играть и петь:

По небу полуночи Ангел летел...

Пела девушка, и окружающая обстановка так подходила к этой песне. Всё это происходило на большой стеклянной террасе; была ночь, из окон был виден старинный дворянский сад, освещённый серебряным светом луны...

Я взглянул на лица слушателей и прочёл на них сосредоточенное внимание и даже умиление, а один из гостей, закрыв лицо руками, плакал как ребёнок, а я никогда не видел его плачущим.

Но отчего же так тронуло всех пение это? Думаю, что произошло это оттого, что пение оторвало людей от низменных житейских интересов и устремило мысль к Богу, Источнику всех благ.

Песнь эту написал Лермонтов, человек грешный, да и исполняла её не святая, но слова этого прекрасного стихотворения произвели сильное впечатление...»

Далее старец говорит о церковных песнопениях, что они тем более наполняют блаженством душу, погрязшую в житейском море, и напоминает слушателям своим, что в Священном Писании жизнь во Христе называется пением: *Крепость моя и пение моё Господь, и бысть ми во спасение...*

Одно исходит, само собой, из его рассказа: и здесь песнь земная – слилась с песнью небесной...

...Однако поют ли ангелы небесные? Они бесплотные существа и петь не могут, - говорят одни священники.

Впрочем, другие свидетельствуют об ином. Так, архимандрит Тихон (Шевкунов), вспоминая старца Иоанна (Крестьянкина) из Псково-Печерского монастыря, пишет: «А что касается тюремной истории отца Иоанна, то меня всегда поражало, как он отзывался о времени, проведённом в лагерях. Батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни.

- Потому что Бог был рядом! – с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчёт, что до конца мы понять его не сможем.

- Почему-то не помню ничего плохого, - говорил он о лагере. - Только помню: небо отверсто и ангелы поют в небесах! Сейчас такой молитвы у меня нет...»

Иная реальность...

Она ощутима, слышима немногими и в редкие мгновения жизни...

Лермонтов, видно, ценил это стихотворение, коль скоро его единственное из юношеских напечатал под своим именем в 1840 году. Однако в свой первый и последний прижизненный сборник «Ангела» не включил. И. Андроников предполагает, что не напечатал, вероятнее всего, из-за отрицательного отзыва В. Белинского. Не думаю. Что поэту мнение критика?! Поэт лучше любого критика, да и лучше всех на Земле чувствует глубины своего стихотворения и знает его истинную цену.

«Я очень люблю отыскивать у наших светских поэтов православные христианские мотивы... – писал Константин Леонтьев в «Письмах с Афона». – У Кольцова, у Пушкина их много. Но у Лермонтова больше всех. «По небу полуночи Ангел летел» прекрасно, но

христиански не совсем правильно. В нём есть нечто еретическое; это идея *о душе, приносимой извне на эту землю* «печали и слёз». Это теория Платона, а не христианское понятие о появлении души земного человека *впервые* именно на этой земле».

Да, догматически Леонтьев прав: ересь предсуществования душ осуждена на Вселенском соборе ещё в VI веке. Но ведь полёт ангела – это больше видение в душе поэта, вспоминающего мать, нежели отражение действительно происшедшего или происходящего. Видение сопровождается пением, которое он вяже слышит. Душа матери кажется сыну исполненной небесной чистоты под впечатлением ангельского пения – и оно остаётся на всю жизнь Божественным камертоном. Но и само это чудесное видение, по сути, является отражением запечатлённой в чистой душе младенца земной песни его матери. Впечатление настолько сильное – и видение настолько одушевлённое, живое, что юный поэт забывает о том, что это Бог вдохнул в человека душу. В памяти только звуки небес – они и порождают образ ангела, несущего в объятиях на землю душу младую. Собственно, ангел, посланец Бога, тут для поэта неотделим от самого Вседержителя, сливается с Ним. Иначе, высшая *материя* Лермонтова здесь творит свои догматы, исходя из собственного тонкого чувствования той Истины, что даровал ему Бог.

Совершенно точно определяет это удивительное качество поэта замечательный исследователь Пётр Перцов. В своих «Литературных афоризмах» он пишет: «Лермонтов тем, главным образом, отличается от Пушкина, что у него человеческое начало автономно и стоит равноправно с Божественным. Он говорит с Богом, как равный с равным, – и так никто не умел говорить («Благодарность» и друг.). Именно это и тянет к нему: человек узнаёт через него свою божественность».

Собственно, Перцов здесь ясно толкует расплывчатые мистические образы Розанова о лермонтовской *материи*, «высшей, не нашей, не земной».

Ещё в высказываниях о Гоголе Перцов писал, что тот всю жизнь искал и ждал Лермонтова и, не видя его, стоявшего рядом, хватался за Языкова, и в своей жажде религиозной поэзии не замечал лермонтовских «Молитв», удовлетворяясь языковским «Землетрясением». Вывод Перцова: «ф». В главе, посвящённой Лермонтову, он развивает свою мысль в следующих афоризмах: «У Гоголя – ещё природный человек, – в вечном смятении перед Богом, как ветхозаветный иудей. Только у Лермонтова он – сын Божий, и не боится Отца, потому что «совершенная любовь исключает страх».

.....

Настоящая гармония Божественного и человеческого – момент совершенства – только у Лермонтова, а не у Пушкина, у которого она покупается ценою односторонности – преобладания Божественного. В мире Пушкина человеку душно.

.....

«Мятежный Лермонтов»... На самом деле именно у него и нет и не может быть бунта, потому что бунт только там, где рабство, а у Лермонтова отношение к Богу – отношение сына к Отцу, а не раба или слуги – к Господину (Пушкин, Гоголь). Даже в минуты непокорности и упрёков оно остаётся сыновним, новозаветным. Сын может возмущаться властью Отца, Его несправедливостью (на его взгляд), но это не бунт: тут нет чувства разнородности и несоизмеримости».

## Нескончаемый путь

Суть *движения* лермонтовского духа, которое почуял, но не смог до конца осмыслить Белинский, далеко не сразу далась русскому уму.

В осмыслении этого *движения* без Пушкина, разумеется, не обошлось...

Белинский и при жизни Лермонтова, и по его смерти пытался определить, что же роднит этих поэтов и что их отличает, куда ведёт пушкинский путь и куда лермонтовский. Он считал Пушкина «художником по преимуществу», которого назначение было – осуществить на Руси идею поэзии как искусства.

«Пушкин первый сделал русский язык поэтическим, а поэзию русскою...

Как творец русской поэзии, Пушкин на вечные времена остаётся учителем (*maestro*) всех будущих поэтов...

Всё это и верно (если говорить о поэзии как жанре искусства), и неверно (если иметь в виду поэзию как таковую, которую, конечно же, создал народ – в своём слове, в песнях, в былинах и легендах, в пословицах и поговорках).

Критик справедливо опроверг мнения тех, кто считал Лермонтова лишь счастливым подражателем Пушкина, указав разницу между ними: Пушкин – поэт «внутреннего чувства души», Лермонтов – поэт «беспощадной мысли истины», у одного «грация и задушевность», у другого «жгучая и острая сила». Однако всё это, скорее, относится к особенностям стиля, нежели к существу поэзии.

Склонность Белинского к «социологичности» взгляда на литературу только дробила истину: Пушкин, согласно критику, «провозвестник человечности», «пророк высоких идей общественных», стихи его «полны светлых надежд предчувствия торжества» и пр., тогда как у Лермонтова, хотя в стихах и «виден избыток несокрушимой силы», однако «уже нет надежды, они поражают душу читателя безотрадностью, безверием в жизнь». Вывод: Лермонтов – поэт «совсем другой эпохи», а его поэзия – «совсем новое звено в цепи развития нашего общества».

По смерти Лермонтова Белинский стал ещё более «социологичен» в оценке его поэзии: «Лермонтов был истинный сын своего времени, – и на всех творениях его отразился характер настоящей эпохи, сомневающейся и отрицающей, недовольной настоящею действительностью и тревожимой вопросами о судьбе будущего. Источником поэзии Лермонтова было сочувствие ко всему современному, глубокое чувство действительности, и ни на миг не покидала его грустная и подчас болезненно-потрясающая ирония, без которой в настоящее время нет истинного поэта. С Лермонтовым русская поэзия, достигшая в период пушкинский крайнего развития *как искусство*, значительно шагнула вперёд как выражение современности, как живой орган идей века, его недугов и возвышеннейших порывов».

И это – о поэте, который куда как больше пребывал в *вечности*, чем в *современности*...

Каждый из тех писателей и мыслителей, кто пытался понять отличие поэзии Лермонтова от поэзии Пушкина, внутренне чувствовал, что это исключительно важно для всей русской литературы, что здесь и таятся «подземные» ключи и реки её глубинного развития. В истории нашей словесности так произошло, что эти два писателя появились почти одновременно, один следом за другим, и надолго определили её пути – и в Золотом её веке, и в Серебряном, и, наверное, в новых уже веках, к которым никто пока не может подобрать подходящего благородного или же не слишком металла. Даже краткий обзор мнений и мыслей по этому поводу выявляет такую разногласию, такую метафорическую пестроту, что невольно становится понятным: тут задеты основы того, что называется русской душой.

Впрочем, в метафорических определениях есть и характерное сходство: «...сквозь вечеряющий пушкинский день таинственно мерцает Лермонтов, как первая звезда.

Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами – созерцанием и действием».

Как близок к этому определению Дмитрия Мережковского Сергей Андреевский: «Излишне будет касаться вечного и бесполезного спора в публике: кто выше – Лермонтов или Пушкин? Их совсем нельзя сравнивать, как нельзя сравнивать сон и действительность, звёздную ночь и яркий полдень».

«Нельзя сравнивать»... Но сравнивают, вольно или невольно. Георгий Адамович подметил, что в духовном облике Лермонтова есть черта, которую трудно объяснить и невозможно отрицать, – «это есть противостояние Пушкину».

«В детстве все мы спорили, кто из них «выше», поумнев, спорить перестали. Отпала охота измерять то, что неизмеримо. Замечательно, однако, что и до сих пор в каждом русском сознании Лермонтов остаётся *вторым* русским поэтом, – и не то чтобы такое решение было внушено величиной таланта, не то чтобы мы продолжали настаивать на каких-нибудь иерархических принципах в литературе, – дело и проще, и сложнее: Лермонтов что-то добавляет к Пушкину, отвечает ему и разделяет с ним, как равный, власть над душами».

Подивившись тому обстоятельству, что все современники Пушкина входят в его «плеяду», а вот Лермонтова «туда никак не втолкнёшь», Г. Адамович опять обращается к помощи метафоры, а затем и филологии: «С тех пор у нас два основных – не знаю, как выразиться точнее, – поэта, два полюса, два поэтических идеала: Пушкин и Лермонтов. Обыкновенно Лермонтова больше любят в молодости, Пушкина – в зрелости. Но это разделение поверхностное. Существуют люди, которым Лермонтов особенно дорог; есть другие, которые без Пушкина не могли бы жить, – вечный разлад,

похожий на взаимное отталкивание прирождённых классиков и прирождённых романтиков. Классицизм ищет совершенства, романтизм ищет чуда. Что-то близкое к этому можно было бы сказать и о Пушкине и Лермонтове и по этому судить, как глубока между ними пропасть, как трудно было бы добиться их творческого «примирения».

«Полюсы» - всё же нечто постоянное, что обозначилось в русской литературе с появлением в ней Пушкина и Лермонтова. Но было ли *движение*? Пётр Бицилли разглядел «некоторый эволюционный ряд» в явлениях русской поэзии, «известную закономерность в смысле последовательности раскрытия заложенных в духе и строе русского языка поэтических возможностей». Однако для самих поэтов, по его мнению, не существовало никакой «этого рода закономерности»: «Решая те или иные поэтические задачи, они подчинялись не потребности способствовать «поступательному ходу поэзии», а иной, более благородной: найти подходящие символы для выражения работы своего духа».

Ну что ж, и на этом спасибо. Поэта ли должен беспокоить «поступательный ход»? Поэту нужно выразить свою душу!..

*Эволюцию* (если такое понятие вообще уместно для поэзии) определяют не волевые посылки и желания поэтов, а содержание их творчества, иначе – осуществлённый дар. Гении достигают пределов в тех «возможностях», которые заложены в духе и строе *языка*, или, говоря широко, *народа*, и тайна эта *велика есть*. Собственно, развитие русской поэзии и следует понимать как *касание неба* – достижение этих самых предельных возможностей, изначально тающихся в языке, а не как некий поступательный эволюционный ход.

По Петру Бицилли, развитие это шло *скачками* – «и убедительнейшим доказательством этого является то, что поэтические новшества Лермонтова прошли незамеченными, почему и впоследствии его роль как обновителя русского поэтического языка была забыта».

Окончательный вывод критика таков: «До Пушкина Лермонтов вряд ли мог появиться. Но из этого не следует, что после Пушкина он обязательно *должен* был появиться. То, что русская поэзия проделала *известный определённый* круг развития, обусловлено духом и строем русской речи. То, что вообще она этот круг *проделала*, есть *чудо*, каким является всякая индивидуальная жизнь».

## Красота и чудо

*Чудо!..*

Вот с чем нельзя не согласиться.

Чудом была жизнь гениев и их творчество.

Но отношение к чудесному как таковому, как вообще к сфере духовной, у Пушкина и у Лермонтова было разным.

Василий Зеньковский пишет: «Бесспорная гениальность Лермонтова, возглавителя плеяды русских лириков, намечает путь русского романтизма, который, правда, уводил русскую душу от той духовной трезвости и духовной ясности, которая была так свойственна Пушкину, но в то же время затронул силы души, дремавшие в ней до того...»

Зеньковский считает, что в поэзии Лермонтова «впервые для русской души» зазвучали те *мотивы персонализма*, которым было дано пробудить «драгоценнейшие движения в русской душе (как у Герцена, Достоевского...)», что именно от Лермонтова идёт другая линия в русском сознании, – мечта о том, чтобы люди были «вольны, как орлы».

«Неукротимая, безграничная сила индивидуальности, которой нужен весь «необъятный» мир, – вот основа русского романтического персонализма, который не знает и не хочет знать того, что лишь с Богом и в Боге мы обретаем себя, реализуем свою личность. Романтический персонализм Лермонтова, Герцена, Толстого, Блока, Бердяева – это всё та же «поэзия земли», поэзия земного бытия, всё тот же гимн «существованию», переходящему в философский экзистенциализм. У Пушкина, жажда жизни у которого была не меньше, чем у перечисленных романтиков, было «благоговение перед святыней красоты» – эстетические переживания освобождали его от романтической скованности, от всего, что, будучи не выраженным, держит душу в оковах земли. Пушкин был мудр тем, что освобождался через духовную трезвость от ненасытимости подсознательных желаний, – отсюда и ясность души и живое чувство того, что надо быть в «соседстве с Богом». Лермонтов же, а за ним и все русские романтики, хотя и жаждут

эстетических переживаний, прямо нуждаются в них, но эти эстетические переживания не только не несут свободы духу, но ещё больше сковывают его».

В этом всё священник и филолог Василий Зеньковский видел *трагедию русского персонализма*.

«Вся правда персонализма, всё то, чем он полон, остаётся без воплощения – ибо человек свободен вовсе не как орёл, который свободен в своих внешних движениях; человеку нужна *ещё свобода духа*, то есть свобода с Богом. ... Именно потому, что мы принадлежим вовсе не себе, а Богу, именно потому есть глубочайшая неправда в остановке духа на самом себе. Мятеж не есть и никогда не может быть выходом – через мятеж нельзя достигнуть покоя. Лермонтов был и остаётся для нас связанным не запросами его личности, то есть не своим персонализмом; связывал его романтизм, его прикованность к земному бытию».

Довольно странное «приземление» одного из самых *небесных* поэтов; да и «останавливался» ли дух Лермонтова «на самом себе»? Также удивительно, что Зеньковский, по сути, отрицает, что Лермонтов познал в себе и в своём творчестве свободу духа, то есть *свободу с Богом*. Совсем другого мнения о поэте придерживаются, например, такие глубокие православные мыслители и знатоки лермонтовского гения, как Пётр Перцов и Сергей Дурылин.

Так, в своих «Литературных афоризмах» Перцов пишет: «Пушкин эстетически совершеннее Лермонтова, но Лермонтов духовно – значительнее. На их примере наглядно видно, что в искусстве «главное» всё-таки не красота, и что само искусство не есть важнейшее явление нашего духовного мира».

Другой афоризм Перцова словно напрямую отвечает заключительному выводу Зеньковского (хотя вряд ли это была «живая» полемика): «Если считать существом религиозности непосредственное ощущение Божественного элемента в мире – чувство Бога, то Лермонтов – самый религиозный русский писатель. Его поэзия – самая весенняя в нашей литературе, – и, вместе, самая воскресная. Отблеск пасхального утра лежит на этой поэзии, вся «мятежность» которой так полна религиозной уверенности».

И – никаких филологических терминов, никакого «персонализма» и «романтизма»: *отблеск пасхального утра...*

Сергей Дурылин же невольно опровергает мнение Зеньковского о «приземлённости» Лермонтова, о его «прикованности к земному бытию»: «Лицейские стихотворения» Пушкина – предварительные «игры Вакха и Киприды». Ещё нельзя играть в них в жизни – вот он, 14-летний мальчик, играет в них в стихах...

К «Играм Вакха и Киприды» в стихах присоединяются и столь же лёгкие «Игры Аполлона» - борьба с Шишковым, арзамасские набеги, участие... в литературных спорах того времени. Вот и всё.

Точно и не было глубокого, таинственного звёздного неба над ним. Точно оно никогда своими звёздами не заглядывало ему в глаза, – и не проникало в душу. А в эти же годы Лермонтов – уж думал свою звёздную думу, – уже вмешивался в [непримиримую] борьбу ангелов и демонов, уже решал свою загадку, общую с Платоном и Дантом, загаданную Богом и небом земле и человеку...

Моя душа, я помню, с детских лет  
Чудесного искала...  
[«1831-го июня 11 дня»]

И раздвоилась русская литература. «Сторожевой демон» верно направил глупый выстрел в сердце 26-летнего юноши, - чтобы «чудесного» не «искали» ни он, ни те, кого он мог научить этому исканию, кто искал бы вслед за ним...

И появились книги без «чудесного»: «Мёртвые души», «Губернские очерки», «Обломовы» - и задушили Россию».

В другой записи, сделанной позже, Дурылин развивает свою мысль: «Лермонтов – на земле – шатун, ходебщик, бездомник; земная жизнь для него – мгновение, перепуток, странное и недоброе «бойкое место», *до* которого был длинный, длинный путь («И я счёт своих лет потерял») и *после* которого сейчас же начинается новый, другой, длинный-длинный путь... А Пушкин этого не знал. Он – весь на земле. Земля для него не перепуток, а осёдлость, за черту которой он не хотел и не умел выходить...

Как поразительно, что Пушкина Данте коснулся *только* своим «Адом» с его земным реализмом мук и мучимых, коснулся своею землею пятою, а Лермонтова коснулся звёздным лучом из своего «Рая». Мог ли бы Пушкин – не в 16 даже лет, как Лермонтов – а в поздние годы воскликнуть:

И я счёт своих лет потерял!

В его устах это была бы риторика, фраза, а Пушкин никогда не говорил «фраз». У Лермонтова же это – пламенное исповедание иной действительности, «загадка вечности», серьёзнейшее и подлиннейшее свидетельство о самом себе. Точно так же и другое, лермонтовское из лермонтовских, признание:

И я бросил бы вечность *мою* –

невозможно, нелепо, немыслимо в устах Пушкина.

...В Лермонтове и была простота мудрости – знания о вечном. А у Пушкина – «моё» обращено только к земле, к земному: вот красавицу жену называет он в минуту страсти «смиреницей *моей*». А «вечность *моя*» в устах Пушкина звучала бы так же дико, как молитва Ефрема Сирина в устах Магомета».



---

---

Поэзия

---

---

## Александр Гахов

*Александр Константинович Гахов – член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов, автор 8 книг стихов, рассказов и повестей, лауреат премии «Филантроп». Живет в городе Черняховске Калининградской области*

### Непонятно и горько

Чёрным флагом – дымы над печальной равниной,  
Раздуваемый ветром кровавый закат...  
Вновь грохочет война на земле Украины,  
И страшней нет врага, чем родной брату брат.

Вновь мальчишки в войну меж боями играют,  
На чужих и своих разделив этот мир.  
И кружит вороньё, и сбивается в стаю,  
И летит на закат продолжать страшный пир.

Непонятно и горько... Но время рассудит  
И по вере воздаст, а верней – по делам.  
Только истина в том, что забывчивы люди,  
Память павших отдав на закланье врагам.

\*\*\*

На перепутье жизненных дорог  
Желтеют пятна – время-киноплёнка...  
С вершины лет смотрю я удивлённо,  
Непониманье – искренность ребёнка,  
И неизвестность тянет за порог.

В бездонных высях звёзды холодны,  
Руками невозможно их потрогать.  
Во тьме по ним легко найти дорогу,  
Но сердце чаще бьёт в пути тревогу,  
И раны, что болят в нём, не видны.

Из пряжи дней незримо вьётся нить,  
В веретене судьбы не уставая,  
И дни летят, как перезвон трамваев.  
Дай мне совет, судьба моя кривая,  
Чтоб за ошибки мог тебя винить.

Ведь за спиной остался рубикон...  
Коварством слов я складываю пазлы,  
И в прозе дней видна «картина маслом».  
Определяют плетъ, узда и прясло  
Дуальность бытия – таков закон.

Чем ближе ночь, сложнее пазл судьбы.  
Являются из табакерки гости  
И подвесной раскачивают мостик.  
Их – «легион» на острие у трости.  
...Мерцанье звёзд. И в Вечность зов трубы...

\*\*\*

Я пишу тебе лучом рассвета  
Между шапок белых облаков,  
Что плывут в шальное наше лето,  
Где в лугах ждут росы-самоцветы  
И покосы пахнут молоком.  
Напишу... Грусть встанет за плечами.  
Холодна февральской дымки высь.  
Средь бессонниц длинными ночами  
В мыслях рву пространство между нами –  
Из разлук и встреч вся наша жизнь.  
Может, в этом мире неслучайно  
Многое наметила судьба,  
Только, как шипы от розы чайной,  
Колет сердце память сладкой тайны:  
Трепет поцелуя на губах.  
Розовый рассвет расправил крылья,  
В росных травах наш остался след –  
Он мерцает стылой звёздной пылью.  
Под лучами солнца станет былью  
Летний, недосказанный сюжет.

### Натянутая нить

Меж горечью и радостью всё мечется душа –  
Во мгле застывшей вечности натянутая нить.  
А годы торопливые позёмкою шуршат,  
И как бы ни молил я рок, мне жизнь не удлинить.

За мной лавиной снежною безумствует «вчера»,  
А «завтра» неизвестное – лишь иней на кустах.  
Сиреневые сумерки. Сгорают вечера...  
«Сегодня» торопливое – туманом на ветрах.

Но в дали, что не хожены, зовёт медовый звон,  
Февральской снежной замаятью свой продолжаю путь.  
Волшебной вязью брошена мне тайна на ладонь,  
И жжёт мне сердце шалое звезды моей огонь,  
Но сколько б ни пришлось идти, с тропинки не свернуть.

### Осыпается фреска...

Эйфория страстей – территория рая ли, ада?  
Здесь дыханья, сливаясь, парят в неподдельном искусе,  
И луна, заблудившись в тумане зовущего взгляда,  
Тяготеет к ампиру – лимонному цвету в искусстве.  
Поцелуи стирают фальшивые грани гордыни,  
И во взглядах застывших живёт простота неземная.  
Эйфория страстей территорию ту не покинет,  
И ночами безумство спирали из тел навивает...  
Шёпот губ, словно пламя свечи под порывами ветра,  
Оплывает горячечным воском ночного угара.  
И по холоду кафеля ванны с лучами рассвета  
Будет шлёпать устало истома ночного пожара.  
...Не прозреть бельмам выпцветших душ  
от гламурного блеска,  
А движению тел бесконечно искать совершенство...  
Но в развалинах храма Любви осыпается фреска,  
Та, что всеу меняем на миг эйфории блаженства.

### Вдаль уходит дорога...

Летней ночью короткой сгораю в огне –  
Я сгораю в огне самой лучшей из женщин.  
Отражаются звёзды в морской глубине  
И в морской глубине превращаются в  
жемчуг.

Ночь течёт в тишине серебристой рекой,  
Серебристой рекой тихо в вечность впадает.  
Ни судьбы, ни любви мне не надо другой,  
Мне не надо другой птицы счастья, родная.

Нам источник любви никогда не испытать.  
Никогда не испытать – вдаль уходит дорога...  
Протянулась сквозь годы незримая нить,  
Невесомая нить, что подарена Богом.

...Догорают зарницы в небесном огне,  
Я в небесном огне самой нежной из  
женщин...  
Тихо плещутся звёзды в морской глубине.  
Там, в морской глубине, отыскал я свой  
жемчуг.

\*\*\*

Весною пахнет снег,  
упавший ранним утром.  
В нём заблудился век  
меж вечным и минутным.  
Пока не тронут холст  
сумятицей дневною,  
Взойди на хрупкий мост  
меж небом и землею.  
Возвысь свой узкий след  
над мелочным и пошлым,  
Пусть будет тёплым свет  
меж будущим и прошлым.  
Ушедшие года  
ничем я не измерю,  
Была ты в них всегда  
меж жизнями и смертью.  
В моих шальных ночах  
ты стала частью света.  
...Погаснет твой очаг,  
и мир исчезнет этот.

\*\*\*

Пью холодный воздух густой –  
Осени забвенье.  
В парке на скамейке пустой  
Ждёт меня спасенье.

В сонном бормотанье ручья  
Уплывут печали.  
В светлой дымке осень, грустя,  
Встанет за плечами.

Буду долго в небо глядеть,  
Смешивая чувства.  
Листьев кружит стылую медь  
Ветренное буйство.

День пройдёт по тропке, шурша  
Сброшенной листвою.  
Побредёт за телом душа,  
Пережив бывшее...

\*\*\*

Был горизонт и холоден и пуст,  
Зари вечерней замер слабый пульс,  
Сгустились, наползая, тени,  
И в пустоте летевшая душа  
Упала в кроны сосен, чуть дыша,  
Превозмогая боль сомнений...  
Превозмогая боль сомнений,  
Скользнула меж ветвей сплетений,  
И шёпоту молитвы в тишине  
Звезда внимала чутко в вышине.  
Но нет огня. И нет движений,  
Лишь немота остывших слов и струн –  
Так в начертанье полустёртых рун  
Лежит сакральный смысл мгновений.  
Лежит сакральный смысл мгновений...  
Душа наполнилась смятеньем,  
Вдохнула запахи смолистых лап,  
И лунный блеск, чуть задрожав, ослаб.  
Таинственны прозренья грани,  
Когда душа, устав во тьме от бед,  
В восторге замерев, узрела свет,  
Протянутый в Господней длани...  
Протянутый в Господней длани –  
Знак избавленья от страданий.

### Песни старой слова...

Дня осеннего свет золотой, в небе клин журавлиный...  
Возле мэрии важно казённый царит неуют.  
Мужичонка поёт под гармошку о гроздьях рябины,  
Что в окошко стучат и уснуть до зари не дают.

Голос «барда» хмельной хрипловат, и надрыв приклатнённый,  
Песни старой слова и просты, и банальны вполне,  
Но тогда почему пляшут всполохи в памяти сонной  
И щемящий озноб, что бежит холодком по спине?

Что незримо гнетёт и царапает совесть осколком,  
Не с того ли пожара по ветру летает зола?  
Показалось на миг: это Русь вновь бредёт по просёлкам,  
Как всегда в лихолетье, с сумой от села до села.

Вроде всё, как вчера: эта улочка вязи старинной,  
Чешуя мостовой и негреющий осени свет.  
Почему ж так близка эта песня о гроздьях рябины  
С непонятной тоскою о доме, которого нет?

Вновь – кому за порог, а кому-то и ласточка в сени  
Принесёт не беду, а тепло в воронёном крыле.  
Но куда я бреду бесконечной дорогой осенней,  
По остывшей от зноя до смерти любимой земле?..



## История и краеведение

---

---

### **К 100-летию начала Первой мировой войны А.А. Трубецкой**

*Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Председатель общества Памяти Императорской Гвардии "Гвардейское Объединение", которое было создано в эмиграции 90 лет тому назад генералом П.Врангелем. Исполнительный президент ассоциации "Франко-Российский Диалог", сопрезидентами которой являются В.И. Якунин (РЖД) и с французской стороны Тиерри Мариани. Посещает многие страны СНГ, регионы Российской Федерации, и само его имя напоминает об истории, культуре, геополитическом положении России, является патриотом России, делает всё, что может, чтобы способствовать сохранению её исторического прошлого, культурного и духовного наследия*

### **Императорская Гвардия в начале Первой мировой войны и её роль в срыве плана Шлиффена**

Начну своё сообщение напоминанием, что Императорская Гвардия была создана в 1700 году Императором Петром I. Первые гвардейские полки носили название посёлков, в которых молодой Пётр набирал свои «потешные полки». Это Преображенский и Семеновский полки.

А дальше создавались все остальные гвардейские полки в XVIII и XIX столетиях.

Накануне Первой мировой войны гвардия составляла целую армию и можно в ней перечислить:

три пехотные дивизии (12 полков);

две кавалерийские дивизии (11 полков);

одну стрелковую бригаду (4 полка);

одну отдельную бригаду (2 полка).

К этому нужно добавить:

три артиллерийские бригады;

одну конно-артиллерийскую бригаду;

одну Донскую батарею;

один стрелково-артиллерийский батальон;

один сапёрный батальон;

один миномётный батальон;

а также запасные, жандармские, Его Величества Конвой и во флоте Гвардейский экипаж.

Можно сказать, что Императорская Гвардия являлась элитной силой, «поистине героическим противником», как писал о Гвардии генерал немецкой армии Людендорф.

Император Николай II сам обучался военному делу в гвардии и был, как и другие члены его семьи, почётным шефом многих полков (не только гвардейских).

И, конечно, многие члены Императорского Дома служили в гвардейских полках, причём они не пользовались особыми привилегиями во время службы.

В Гвардии были особые правила и традиции, но сама служба мало чем отличалась от службы в армейских частях.

И всё же, безусловно, Императорская Гвардия выглядела как некая каста. Каковы её особенности?

Офицеры принадлежали к дворянскому сословию, и исключения не допускались.

Командиры полков были генералами, тогда как в армейских полках командовали полковники. Когда в Гвардии во время войны принимал командование полковник, то он числился как исполняющий должность командира полка.

В Гвардии чин считался выше армейского, и если гвардейский офицер переходил в армейскую часть, он немедленно получал более высокий чин. А перехода из армейской части в Гвардию не допускалось.

Чтобы поступить в Гвардию, юнкера, заканчивая училище, должны были определяться по особым критериям.

Они должны были иметь так называемый «гвардейский балл» то есть закончить училище по первой или второй категории. По первой категории определение в Гвардию шло по старшинству, и поступали уже в чине прапорщика или корнета по сравнению со второй.

Если кандидат попадал в третью категорию, он сперва становился унтер-офицером в армии, и только через полгода мог претендовать на то, чтобы стать офицером в гвардии.

Кроме того, кандидат должен был пройти через ряд испытаний, независимо от полученных отметок и общего образования.

Он должен был хорошо себя показать в обществе, где рассматривали уровень его воспитания и культуры, и в офицерском собрании, где его судили не только по военным знаниям, а также по способности достойно себя вести, например, после выпивки.

Определённую роль играли жёны офицеров, которые могли дать положительное или отрицательное мнение о кандидате.

Только тогда офицерское собрание голосовало за или против кандидата, причём дискуссия шла свободно независимо от чина офицера. Каждый офицер должен был аргументировать своё мнение.

Были всё же исключения, когда в гвардейский полк назначался член Императорского Дома.

Были и случаи, когда офицерскому собранию некуда было деваться.

Вот что случилось, к примеру, с будущим генералом Шатиловым. Имея гвардейский балл по первой категории, он хотел вступить в конную артиллерию, но при встрече с Императором, который знал его семью, тот ему сказал: «Ты, конечно, поступаешь в казачий гвардейский полк?» Таким образом поставленный вопрос мог рассматриваться только как высочайший приказ, и молодой Шатилов стал лейб-казакom.

Вероисповедание не имело никакого значения. Девиз Гвардии, который можно прочесть на Андреевском ордене: «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ!» В Гвардии служили православные, католики, протестанты, мусульмане, евреи и буддисты.

Необходимо подчеркнуть, что для офицеров, как и для нижних чинов, Гвардия становилась сплочённой полковой семьей.

Во многих полках часто служили несколько поколений одного рода. Например, мой отец выбрал Лейб-Гвардии Конно-Гренадерский полк именно потому, что в нём служили дальний родственник генерал Д. Лопухин и его сын Георгий (убитый под Каушеном, сам генерал Лопухин тоже был убит несколько месяцев спустя).

Эти гвардейские традиции способствовали созданию элитных частей. Но это совершенно не значит, что армейские полки были хуже подготовлены. Во многих армейских полках существовали тоже старые традиции, основанные на боевой славе (как пример, назову Изюмский гусарский полк, который хоть и был армейским, но пользовался большим престижем).

Всё же существовала ревность между армией и Гвардией.

Попытки армейцев создавать репутацию, что гвардия умеет только красиво маршировать на парадах, приводила к тому, что на войне в Гвардии нередко встречалось стремление ненужно рисковать жизнью, только чтобы показать лицо Гвардии. В период Великой войны у Гвардии были очень большие потери, которые частично можно и этим объяснить. Но боевой опыт быстро поправил первоначальную неосторожность.

Многие гвардейские полки потерпели колоссальные потери, как и армейские. Например, пехотный Лейб-Гвардии Гренадерский полк в конце 1914 года был почти полностью уничтожен. Из него можно было составить всего одну роту.

Известно, что после первых сражений, когда началась позиционная война, кавалерия в значительной мере перестала действовать, как таковая, и многие кавалерийские части стали пополнять пехотные силы в окопах.

Между прочим, то же самое наблюдалось и на Западном фронте, хотя у французов и англичан кавалерии было значительно меньше.

Самое первое крупное сражение, в котором приняла участие гвардейская кавалерия, состоялось в первые дни войны, 19 августа (6-го по старому стилю), в местечке Каушен в Восточной Пруссии (ныне Калининградская область).

В Каушенском бою, который состоялся ещё до победоносного Гумбинненского сражения, была задействована вторая и потом первая гвардейские дивизии. Всем известно, что в этом сражении отличился будущий генерал Пётр Врангель.

Успех боя под Каушеном показал высокий дух и, главное, подготовку гвардейской конницы. Об этом есть много свидетельств, которые можно прочесть как и в российских, так и немецких описаниях военных действий.

В шестом томе истории Лейб-Гвардии Конно-гренадерского полка, ротмистр А. Скрябин, сам участник сражения под Каушеном, пишет, что «победа досталась только благодаря выдающемуся воинскому духу частей, блестящей храбрости и упорству, оказанных офицерами и всем составом частей, и отличной их подготовкой мирного времени».

А генерал Головин тоже пишет в своих воспоминаниях:

«Хотя под Каушеном потери конницы и были довольно значительны, тем не менее бой показателен тем, что может достичь конница при любом наступлении, даже лобовом, но справедливо отметить, что только доблесть и хорошая подготовка способствовали успеху боя, тогда как выявилась неспособность начальства».

Известно, что командующий Второй кавалерийской дивизией генерал Хан Нахичеванский оставался в стороне и не уловил возможности эксплуатировать результат Каушена, чтобы вообще опрокинуть немецкие силы. А генерал Ренненкампф, по-видимому, чтобы тоже оправдать свою пассивность, считал бой под Каушеном ненужной операцией.

Тут надо особенно обратить внимание на то, что, несмотря на слабость высшего начальства, военный дух строевого офицерства и нижних чинов привёл в начале войны к двум существенным результатам.

Первые боевые успехи под Каушеном хоть и не имели стратегического значения для хода войны, всё же, безусловно, подняли дух русской армии на этом фронте, что потом сказалось при успешном Гумбинненском сражении.

Сражение под Каушеном, одно из первых сражений Великой войны, как и многие другие на других фронтах, привело немецкое командование к решению перебросить части с Западного фронта на Восточный. А это решение имело роковые последствия для Германии и её союзников. Подтвердилось то, что план Шлиффена окончательно не может быть применён, и что Германии придётся воевать на двух фронтах.

Это позволило французскому Генералу Жоффри приостановить отступление и одержать историческую победу на Марне. Эта победа окончательно не позволила немцам взять Париж. До конца жизни Жоффри относился с глубоким уважением к Великому Князю Николаю Николаевичу за то, что он так рано начал наступление.

Анализируя дальнейшие события, можно отметить, что решение немцев перебросить силы на Восточный фронт являлось ошибкой генерала фон Мольтке. На самом деле, переброшенные им части не успели принять участие ни в Каушене, ни в Гумбиннене, ни даже в Танненберге, где немцы сумели исправить свои первоначальные неуспехи. Так что если бы фон Мольтке оставил

эти части на западе, сражение на Марне могло бы и не состояться или иметь совсем другие результаты.

Можно уверенно считать, что поведение Гвардии в самом начале войны психологически повлияло на роковое решение немецкого начальства, так как её репутация опиралась на ту элитную традицию, о которой я говорил в начале моего выступления. Она же подтвердилась на деле.

Закончу свое выступление свидетельством о том, что я имел в молодости счастье застать многих офицеров, которые, как и мой отец, служили в Императорской Гвардии во время Великой войны. Помню и тех, кто принимал участие в сражении под Каушеном и во время дальнейшего хода войны, как, например, Луцкий прорыв (этот эпизод войны не совсем правильно называют Брусиловским).

Они все признавали, что военная подготовка строевых частей была на самом высоком уровне. По их мнению, строевое офицерство и унтер-офицерство было опытным и пользовалось уважением со стороны нижних чинов.

Потери кадровых офицеров в начале войны компенсировались производством в офицеры многих добровольцев, которые поступали, как мой отец, на ускоренные офицерские курсы в военных училищах. Военный опыт они приобретали на войне, и отзывы кадровых офицеров о них были, в основном, самые положительные.

Зато, как уже сказано, высшее командование чаще всего недостаточно использовало уроки ещё Балканской войны 1877 и 1878 годов и Русско-японской войны 1904-1905 годов. Можно сказать, что военные реформы, начатые ещё Милютиным, не были доведены до конца. Поражения при Танненберге, как и в Мазурских болотах, являются явным показателем слабости или нерешительности высшего командования.

Неиспользованные возможности на Юго-Западном фронте во время Луцкого (Брусиловского) прорыва говорят о том же самом.

А вот что ещё рассказывали те офицеры, которые жили в эмиграции, и которых мне посчастливилось застать в моей молодости.

На вопрос о том, должен ли был Государь Николай II взять на себя главнокомандование, они, в основном, признавали, что если для внутренней политики это удалило Государя от реальной ситуации в стране и кипящего революционного настроения в ней, то на фронтах, в действующих армиях, стало ощутимо резкое улучшение работы Генерального штаба в стратегическом ведении войны, а также организации её логистики.

И ещё интересное свидетельство: говоря о конных сражениях во время Великой войны, интересно, что те, кто побывали на нескольких фронтах, говорили, что российская конница была в целом сильнее, чем немецкая, но признавали, как самого опасного противника, венгерскую кавалерию. Они к ней относились с особым уважением.

Что касается артиллерии, то уровень подготовки как гвардейских, так и армейских артиллеристов считался очень высоким. Но известно, что артиллерия больше всего страдала от недостаточного её снабжения боеприпасами, что часто приводило к военным действиям без достаточной артиллерийской подготовки.

Пехота, подготовленная до войны, понесла самые большие потери с самого начала, и следующие призывные солдаты, особенно в Гвардии, уже не обладали тем военным духом старших поколений. Новые силы, отправляющиеся на фронт, часто уже были заражены революционной пропагандой, и в пехоте больше всего начало наблюдаться дезертирство и появление ненависти к офицерскому составу, чего не было в начале.

## О создании памятника русским воинам, павшим в Первой мировой войне

*Интервью Оксаны Карнович с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским о создании в Москве памятника русским воинам, павшим в Первой мировой войне*



*Н.Д. Лобанов-Ростовский и А.А. Трубецкой у входа в резиденцию посла РФ в Париже, Рождество, 2014 г.*

14 марта 2012 года князь Александр Александрович Трубецкой, председатель Общества памяти Императорской гвардии, исполнительный председатель Франко-российского диалога, и князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, первый заместитель председателя Международного союза российских соотечественников, почётный председатель Координационного совета российских соотечественников в Великобритании, член Общества памяти Императорской гвардии, обратились с письмом к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о создании в Москве памятника героям Первой мировой войны. В этом письме они отметили, что в 2014 году народы Европы будут отмечать сто лет с начала Первой мировой войны, но, к сожалению, «долгие годы эта война из-за большевистской революции 1917 года была фактически вычеркнута из истории нашей страны, а сама победа в этой войне, стоившая России более 4 миллионов человеческих жизней, оказалась украденной у нашего народа». Президент Путин поддержал предложение князей о сооружении памятника. Торжественное его открытие состоялось 1 августа 2014 года на Поклонной горе в Москве.

**О.К.:** Никита Дмитриевич, а каким образом у Вас возникла идея сооружения памятника в Москве, а также ряда сопутствующих инициатив, посвящённых столетию начала Первой мировой войны?

**Князь Л.-Р.:** Это случилось следующим образом. С князем Александром Трубецким мы были приглашены на обед к послу Российской Федерации в Париже Александру Константиновичу Орлову. Периодически посол приглашает активистов Русского Зарубежья для обсуждения различных вопросов, а также чтобы поделиться впечатлениями о деятельности соотечественников. Этот обед состоялся после визита Путина в Париж в июне 2011 года, где при его участии на набережной Сены был открыт памятник в честь Русского экспедиционного корпуса, который принимал участие в боевых действиях на территории Франции. Посол Орлов заметил, что в России до сих пор не существует памятника героям Первой мировой войны, в отличие от Франции, где в каждом посёлке и городе есть монументы солдатам и офицерам, павшим в Первую мировую. Без героизма русских солдат французская армия и часть английской были бы просто раздавлены германцами. Поэтому французы чтят память погибших русских воинов. Тогда мы и

пришли к заключению, что настало время исправить эту историческую несправедливость, и решили написать Президенту Путину письмо с предложением создания мемориала памяти.



Как обычно, составить письмо президенту легко, но чтобы оно попало в его руки — это уже гораздо сложнее. К счастью, спустя две недели у посла Орлова была запланирована поездка в Москву, и он сумел передать письмо руководителю Администрации Президента Сергею Борисовичу Иванову, от которого пришёл ответ 15 июля 2012 года:

Глубокоуважаемые Александр Александрович  
и Никита Дмитриевич!

С выражением признательности сообщаю, что Ваше предложение о сооружении в Москве в Парке на Поклонной горе памятника воинам, павшим в годы Первой мировой войны, одобрено Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

Соответствующие указания, касающиеся организации конкурса на лучший проект памятника и выбора места для его установки, направлены в адрес Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского и мэра Москвы С.С.Собянина.

Полагаю, что наряду с Вами заинтересованное участие в реализации этого проекта примут граждане России и наши соотечественники, проживающие за рубежом.

С пожеланиями здоровья, успехов и всего наилучшего,

Руководитель Администрации

С.Иванов

Дней десять спустя была создана правительственная комиссия по вопросу Первой мировой войны, в которую включили и меня. На заседании этой комиссии были одобрены 46 проектов, начиная с энциклопедии о Первой мировой войне, которая уже вышла, до создания кинофильмов, телевизионных передач, учебников, книг. Что это значит? По одной или другой причине этот вопрос стал актуален и близок и к интеллигенции, и к народу. Возникла необходимость переосмысления прошлых событий.

**О.К.:** По Вашему мнению, почему в России замалчивалось значение Первой мировой войны?

**Князь Л.-Р.:** Только по политическим причинам. Идея, что Первая мировая война была империалистическая, как её называли большевики, неверна. Прежде её называли Второй Отечественной и Великой войной. На Россию напали 1 августа 1914 года, и она вынуждена была

защищаться. Ленину было необходимо замаять факт, что он отдал часть Российской Империи, четверть её земель, подписав позорный Брестский мир для утверждения власти большевиков. Новой власти нужны были памятники героям Октябрьского переворота, а для этого требовалось уничтожить значение прошлых побед Российской Империи. Один из наглядных примеров — это демонтаж памятника генерал-адъютанту российской армии Михаилу Дмитриевичу Скобелеву напротив московской мэрии, на месте которого сейчас возвышается Юрий Долгорукий.

Толчком стало выступление Президента Путина в Совете Федерации от 27 июня 2012 года. По его словам, замалчивание Великой войны «происходило по той причине, что Первую мировую войну после революции называли империалистической, но она не была таковой...

Замалчивание было по другим причинам. Наша страна проиграла, по сути, проигравшей стороне. Со стороны нового большевистского правительства это был акт национального предательства, и оно боялось признаться в этом ради партийных интересов».

**О.К.:** *Вы сделали невероятное, смогли донести идею до Президента Российской Федерации, чья мировоззренческая позиция направлена на сохранение и переосмысление исторического прошлого.*

**Князь Л.-Р.:** Конечно, присутствуя на заседании 31 июля 2014 года, в преддверии открытия монумента, нам было забавным слушать, что выступающие говорили, как хорошо, что создан памятник, и все ссылались на речь Владимира Путина 2012 года. Но никто не задал себе вопроса, а что же было до 2012 года? Трубецкий сидел в президиуме, я в первом ряду. Выступающий из Администрации Президента смотрел с трибуны на меня и ни слова не сказал, откуда эта инициатива возникла. И только по окончании заседания министр культуры Владимир Мединский подошёл и поблагодарил нас за нашу инициативу.

До того как Министерство культуры начало осуществлять нашу идею, мы с Трубецким проталкивали её соотечественникам, чтобы заручиться их поддержкой. В ходе открытия IV Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, 27-28 октября 2012 года в Санкт-Петербурге, я обратился к 650 делегатам с объяснением инициативы о создании памятника героям, павшим в Первую мировую войну, и просьбой по возможностям каждого участвовать в сборе средств на памятник. Более 90% делегатов проголосовали за это предложение.

«Обращаемся с призывом ко всем российским соотечественникам присоединиться к этой благородной акции, имеющей исключительно важное значение для сохранения нашей общей исторической памяти, для будущего России и воспитания её молодого поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине.

Просим при внесении пожертвований сообщать данные о себе с тем, чтобы сохранить воспоминание о личном вкладе каждого, кто был причастен к этому проекту, как это было когда-то с возведением Храма Христа Спасителя в Москве в память о героях Отечественной войны 1812 года».

Деньги со сборов хранились в парижском банке, а затем были пересланы Трубецким в МИД. В итоге было приятно получить 10 ноября 2013 года письмо от Владимира Мединского:

Уважаемый Никита Дмитриевич!

Позвольте поблагодарить Вас за неравнодушное отношение к проекту памятника павшим в годы Первой мировой войны. Зная о Вашей обеспокоенности результатами прошедшего конкурса, спешу заверить Вас, что жюри было компетентным, а его мнение - объективным. Решение о памятнике в Москве принималось с учётом мнения широкой общественности по результатам открытого голосования на сайте.

Учитывая высокий уровень представленных проектов, РВИО инициативно и за счет собственных средств приняло решение установить в других городах памятники, занявшие второе и третье места. В настоящее время проводим конкурс среди регионов.

Надеюсь, что Вы, уважаемый Никита Дмитриевич, и дальше будете принимать активное участие в реализации нашего проекта. Мы рассчитываем на поддержку русской эмиграции, в том числе и финансовую.



Председатель РВИО

В.Р. Мединский

**О.К.:** *Благодаря Вашей с князем Трубецким инициативе осуществилось великое дело — возрождение исторической правды о Первой мировой войне, о подвиге погибших солдат и офицеров. Как Вы оцениваете сам монумент?*

**Князь Л.-Р.:** Несмотря на то, что эстетически мы не совсем согласны с символикой памятника, безусловно, он впечатляет. Для нас более важно, чтобы по всей России молодое поколение воспитывалось в духе патриотизма и любви к своему Отечеству. На заседании было сказано, что нашли архив, затерянный в дальней российской губернии, где сохранились карточки всех воевавших, по которым потомки смогут узнать, кто из родственников участвовал в войне, и что с ними случилось. Так что, со своей стороны, я страшно рад, как и говорил своей супруге Джун, когда мы присутствовали на открытии памятника, что нам с князем Трубецким удалось сделать что-то значительное.

**PS.**

**О.К.:** По элронной почте князь Александр Трубецкой также прокомментировал это значительное событие — создание мемориала памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

**Князь Т.:** Удача нашей инициативы имела для нас самих радостное и неожиданное последствие. После решения установить в Москве памятник появилась вереница других проектов памятников героям Первой мировой войны во многих городах России. Некоторые из них, как, например, в Санкт-Петербурге и Калининграде были даже открыты до московского. Должен отметить, что наш проект памятника стал в достаточной мере символом признания руководством страны необходимости отметить столетие Великой войны. Кроме памятников, издано много книг, проводятся научные конференции, реконструкции и уход за уцелевшими могилами там, где были сражения. Одним словом, наконец, Россия вспомнила забытую войну и чтит её героев.



*О.А. Карнович беседует с Н.Д. Лобановым-Ростовским, 2 августа 2014 г.*



## Лидия Довыденко

### Гумилевская осень в Калининградской области

#### Краснознаменск

В августе 1914 года в северо-восточной части территории нынешней Калининградской области развернулись события Первой мировой войны. Они описаны в «Красном колесе» А.И. Солженицына, «Зато Париж был спасён» В.И. Пикуля, «Потерянном сердце» А.И. Куприна и других произведениях. Но практически отсутствуют художественные исследования по второму прусскому наступлению русской армии, которое началось в октябре 1914 года. Исключением является документальная повесть Н.С. Гумилёва «Записки кавалериста», в которой первые две главы связаны с боями в Восточной Пруссии. Поэт принял непосредственное участие в боевых действиях на территории Калининградской области (Ширвиндт – посёлок Кутузово, Пилькален – посёлок Добровольск, Ласденен – город Краснознаменск, Шилленен – посёлок Победино) в течение десяти суток, с 17 по 27 октября 1914 года.

26 октября 2002 года в посёлке Победино Краснознаменского района, во дворе школы на большом камне из красного гранита была установлена мемориальная доска, посвящённая Н.С. Гумилёву. Её авторы – художники, скульпторы Людмила Богатова и Олег Сальников. Они попытались создать образ воина и поэта в форме уланского полка с развевающимся за спиной плащом, на котором просматриваются скачущие всадники. «Осенью 1914 года в бою за Шилленен – ныне Победино – участвовал великий русский поэт, кавалерист Николай Гумилёв» – гласит надпись на памятной доске.

И теперь мы ходим по дорогам,

Где его разбросаны следы, –

написала учитель школы Нина Цветкова к открытию памятника.

Ежегодно мероприятия в память о поэте проходят в октябре в Краснознаменском районе. Есть теперь в России не только Болдинская, но и Гумилёвская осень! Приезжают калининградские учёные, писатели, творческие люди, краеведы, представители города-побратима – Краснознаменска Московской области, а наши краснознаменцы принимают у себя гостей. В приподнятой атмосфере стихи поэта звучат, как будто только что написаны:

И будут, как встарь, поэты

Вести сердца к высоте.

#### Война идей

Германия в Первую мировую войну в своём стремлении к гегемонии ставила себе целью ослабление Франции, сокрушение России, уничтожение её влияния на страны Восточной Европы. Тогда Германия могла бы говорить на равных с Америкой и Британской империей, контролируя зону от Пиренеев до Мемеля, от Чёрного до Северного морей, от Средиземного до Балтийского моря, Германия тогда могла бы позволить себе конкурировать с Соединёнными Штатами за мировое экономическое господство. Причём фельдмаршал Мольтке-младший утверждал, что славянские народы и Россия слишком отстали в культурном отношении, чтобы взять на себя руководство человечеством, а Германия определит развитие человечества на несколько столетий. Также канцлер Бетман-Гольвег считал необходимым после войны заключить договор с побеждёнными Англией и Францией против России, чтобы вычеркнуть её из европейского контекста. Для этого он уже в августе 1914 года сформулировал два основных направления деятельности: использовать подрывные действия для будущего ослабления России и создать несколько буферных государств между Россией и Германией-Австро-Венгрией для отбрасывания России назад «так далеко, как это возможно».

Решение таких задач требовало небывалого напряжения. Германия демонстрировала поразительный военный потенциал и организационную силу. Уже в начале войны выяснилось, что готовая к жертвам русская армия, несмотря на

подвижничество и готовность к потерям, не может возобладать над научно организованной военной машиной германцев. Но и Германия не смогла реализовать заявленные цели. Что же противопоставила Россия высокоорганизованному германо-австро-венгерскому союзу?

Сверхнародный, сверхпартийный смысл настоящей войны – вот что, по мнению философа Е.Н. Трубецкого, составляет силу России, славян и их союзников. Задаваясь вопросом о значении идей в истории, о смысле подвига и веры в праведность освободительной войны, философ размышляет и об исторической роли и судьбе России. Превращение Европы в «культурную орду, где все народы служат рабами одного», на взгляд философа, совершенно недопустимо для России. Так, волею судеб России навязывается освободительная миссия; и в этой миссии она находит самое себя, своё лучшее национальное Я: «Именно тогда она становится сама собою, именно тогда она обретает свой собственный образ Божий, когда она освобождает другие народы; так есть, так было и так будет».

«России нужно чувствовать, - писал Евгений Трубецкой, - что она служит не себе только, а всему человечеству, всему миру». В этой черте, на его взгляд, есть что-то изначальное, что составляет самую сущность России: «Когда мы освобождаем угнетённые пароды, мы всегда неизменно чувствуем, что это именно и есть настоящее дело России, то единственно существенное дело, ради которого стоит воевать»<sup>1</sup>.

### «Охотник»

Путешественник и отличный стрелок, дважды побывавший в Африке, где обучился охотиться, целясь левым глазом и стреляя с левого плеча, с началом войны Гумилёв добился переосвидетельствования состояния здоровья, так как ещё в 1907 году был освобождён от службы в армии из-за «близорукости правого глаза и некоторого косоглазия», и был принят вольноопределяющимся или, как говорили в те времена, «охотником» в сводный кавалерийский полк, расквартированный в Новгороде.

Гумилёв сам выбрал кавалерию («Люблю на необъезженном коне // Нестись по лугу, пахнущему тмином...»), уже в начале сентября 1914 года он находится в Кречевицких казармах под Новгородом, где проходит учебный курс военной службы. «А на стрельбе и Гумилёв, и я одинаково были на первом месте», - вспоминал Ю.В. Янишевский.

Поэт взял с собой на войну, как потом и в тюрьму, Евангелие и гомеровскую «Илиаду». Как писал А.Я. Левинсон, «патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание».

Из Кречевиц Гумилёв вместе с другими вольноопределяющимися был направлен во 2-й маршевый эскадрон Лейб-Гвардии Уланского Её Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка и прибыл в Литву, в Россиены, 30 сентября 1914 года. Россиены сейчас называются городом Рассейняй; он расположен поблизости от Каунаса (тогда Ковно). В течение двух недель в Россиенах с вновь прибывшими нижними чинами, среди которых был поэт Гумилёв, проводились ежедневные учения пешим строем и на лошадях. Первое стихотворение о войне «Наступление» написано именно в Россиенах под впечатлением рассказов его однополчан, уже участвовавших в Гумбиненской операции:

Словно молоты громовые  
Или воды гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьётся в груди моей.

14 октября Лейб-Гвардии Уланский полк включили в состав 1-й отдельной кавалерийской бригады, в 3-й Армейский корпус. Командиром бригады был генерал-майор барон Майдель (у Гумилёва в «Записках кавалериста» генерал М.). Лейб-Гвардии

<sup>1</sup> Трубецкой Е. Н. Смысл войны // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. (Мыслители XX века). С. 352

Уланским полком командовал полковник Дмитрий Максимович Княжевич. В полку было шесть эскадронов, первый эскадрон обозначался как эскадрон Её Величества (ЕВ), куда и был зачислен Николай Гумилёв.

### «Священные дни»

В период с 17 по 27 октября была предпринята вторая попытка наступления российских войск в Восточной Пруссии. 17 октября с боем были взяты Владиславов (ныне г.Кудиркос-Науместис в Литве) и Ширвиндт (ныне пос. Кутузово Калининградской области). Перед эскадронами Уланского полка стояла задача – разведывать расположение противника. Если в немецких войсках была хорошо поставлена разведка с воздуха, то у российских самолётов не хватало мощности долететь до границы с Восточной Пруссией, и поэтому в разведку отправлялись конные разъезды. Они обнаруживали противника и вызывали огонь русской артиллерии на себя. В течение десяти суток Гумилев находится в разъездах, дозорах, участвуя в атаках, прикрывая артиллерию, проводя усиленную разведку и осуществляя сторожевое охранение. С 21 по 24 октября Уланский полк располагался вдоль границы с Пруссией по реке Шешупе, в окрестных деревнях Бобтеле, Кубилеле, Рудзе, Мейшты, Уссейне» (не сохранились). Единственный путь для наступления нашей конницы был на Шилленен (Победино). Вот как пишет об этом Гумилёв: «Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далёкому лесу. Наша цель была — заставить заговорить артиллерию, и та, действительно, заговорила».

23 и 24 октября эскадроны Уланского полка продолжали усиленную разведку. «На следующий день противник несколько отошёл, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения».

25 октября началось наступление российских войск. «Через несколько дней в одно прекрасное утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочёл приказ о нашем наступлении по всему фронту». Уланский полк Гумилёва двигался по шоссе. Два немецких эскадрона и 50 велосипедистов были выбиты из Шилленена, отошли на Ласденен. Уланский полк заночевал в усадьбе Бартковен (теперь не существует), которую Гумилёв описал так в «Записках кавалериста»: «Вечерело. Звёзды кое-где уже прокололи лёгкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег». 26 октября наступление русских войск было продолжено. Гумилёв записывал: «На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трёхстах от него, причём мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистов. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать, и даже двадцать. Всё-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впиалась в дверной косяк вершка на два от моей головы».

Барон Майдель докладывал о бое 26 октября командиру 3-го корпуса генералу Епанчину: «...благодаря доблести Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества полка, как господ офицеров, так и нижних чинов, полк этот показал блестящие примеры храбрости». По разным причинам (возможно, потому что полк очень берегли) Лейб-Гвардии Уланский полк было решено вернуть в Россиены. Как пишет Гумилёв: «Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но, когда я посмотрел на звёзды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил

моё боевое крещение»<sup>2</sup>. В Ковно Гумилёв находился до 8 ноября, а затем был получен приказ о следовании в Ивангород (сейчас город Демблин в Польше). Первые дни войны поэтом воспринимаются как «священные»: «Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и в первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному, и поэтому исключаящему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя».

### «Лучшее время жизни»

Гумилёв отправил 1 ноября из Ковно письмо Михаилу Лозинскому: «...я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щёлканье винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка... Я теперь знаю, что успех зависит совсем не от солдат, солдаты везде одинаковы, а только от стратегических расчётов, — а то бы я предложил общее и энергичное наступление, которое одно поднимает дух армии. При наступлении все герои, при отступлении все трусы — это относится и к нам, и к германцам...»

«Война», «Солнце духа» и «Священные плывут и тают ночи» написаны под впечатлением «боевого крещения».

И воистину светло и свято  
Дело величавое войны,  
Серафимы, ясны и крылаты,  
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих,  
на полях, омоченных в крови,  
Подвиг сеющих и славу жнущих,  
Ныне, Господи, благослови.

Стихи Гумилёва о войне относят к лучшим во всей «военной» поэзии в русской литературе, где выразилось его религиозное восприятие войны. Сборник «Колчан», куда вошли его первые стихи о войне, поэт давал на отзыв философу о. Сергию Булгакову. Об отзыве неизвестно. Но большинство критиков оценило военную лирику Николая Гумилёва как «высшее достижение русской и мировой поэзии в этом жанре», потому что «он не только описывает реальность — он ею живёт» (И. Анненский), «любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести... - по этим трём пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью» (А.И. Куприн).

...Солнце духа наклонилось к нам,  
Солнце духа благостно и грозно  
Разлилось по нашим небесам.

«Сокровищница культуры духа» может пополняться в дни общего «повышения жизни», как выразился Е.Н. Трубецкой, определяя духовный смысл войны в её первые месяцы, когда весь многовековой культурный опыт начинает переосмысливаться и ощущаться иначе: «Нас как-то глубже захватывает и красота русской природы, и наша своеобразная мелодия, и вся вообще духовная глубина русского искусства». Военные стихи Гумилёва - одно из наиболее ясных откровений духовного смысла войны. Анна Ахматова писала: «Война была для него эпосом, Гомером, и когда он шёл в тюрьму, то

<sup>2</sup> Там же. С. 536

взял с собой «Илиаду»... Он любил вспоминать себя солдатом: «И святой Георгий тронул дважды // Пулею нетронутую грудь...» («Память»)

### «Солнце духа»

А тема прусского неба, «древнего и высокого», в которое Николай Гумилёв всматривался в свои первые фронтовые дни, его «священные дни» получили продолжение в стихах последнего сборника Гумилёва «Огненный столп». Это книга, в которой собраны «вершинные», зрелые стихи. Многомерные образы в ней дышат космическими интуициями, метафизическими прозрениями. Высокой красоты и силы поэтическое слово наполнено мудрой философской мыслью. Одно из сложнейших стихотворений «Заблудившийся трамвай»:

Понял теперь я: наша свобода  
Только оттуда бьющий свет...

Стихотворение оказалось прощальным признанием в историческом «буране», будто вырывающем у Судьбы какую-то весть о гибельном спасении мира.

Гумилёв писал, что человеческому духу свойственно сводить всё к единому. Стихи и религия – одно, слово поэта обладает магической силой. Здесь мне думается, что эта мысль Гумилёва сближает его с Платоном, который мечтал, чтобы философы правили миром. Поэт для Гумилёва – человек, способный при помощи слова овладеть пространством и временем, прошлым и будущим. Величественный гимн Слову, его таинству и чудотворству, его возвышению над «низкой жизнью» создал Гумилёв. Он всё в себе подчинил Слову; ответ этого Слова лёг на его легендарную судьбу. Обречённости человека «идти всё мимо» прекрасного, непониманию и равнодушию к глубоким корням и причинам существования человека на земле поэт противопоставляет осознанность в желании идти глубже в познании природы, причин бытия, сущности живого. «Бессмертные стихи» дают не уже имеющееся, а то, что можно дать ещё: осознание и мудрость.

В стихотворении «Мои читатели» (сборник «Огненный столп») Гумилёв, отвечая себе на вопрос, чем будет «любезен он народу», возвращался к своим военным годам, когда в полной мере постиг науку «не бояться»: «Когда вокруг свищут пули, // Когда волны ломают борта... // Я учу их, как не бояться, // не бояться и делать, что надо...»

Духовное рыцарство и «героику» выделил в творчестве поэта представитель Русского Зарубежья Роман Плетнёв: «Сообщение моё касается героики и героя, воина и поэта, человека вещего духа предсказаний, веры и возвышенного слова о Слове-ипостаси и о поэзии. Помнил, видно, Гумилёв слова апостола Павла: «Всё мне дозволено, но не всё мне полезно... и ничто не должно обладать мною». Всё испытал Николай Степанович, от наркотиков до страстной любви к женщине, и ничто не покорило его дух, его силы и сердце... Одно разве — героика.

Радостно и гордо имя его, и хочется говорить о поэте, даровавшем нам кованые или звонко-литые стихи — силы духа. В них мощь дыхания, предметная ясность, конкретность впечатляющего изображения. Но важнее всего в них и в жизни Гумилёва храбрость, доблесть, герой и героизм. В наше же время лжи и трусости герой и его вера, слово и дело важнее всего. Герой — это тот, кто ради великого, ради божеского, ради человечности жертвует собой. Восторг победы над слабостью и трусостью, над податливой мягкотелостью немощной доброты; великий порыв в борьбе есть истинный героизм»<sup>3</sup>.

«Солнце духа» зажигается сегодня в пробуждающейся России, ясно горит в бодрствующих сердцах. Читающая Россия совершает паломничество в Михайловское - к Пушкину, и в

---

<sup>3</sup> Плетнев Р. Записки русской академической группы в США. 1972. Т.VI

Краснознаменский район, в Калининградскую область, «чтобы вдохнуть тот же воздух», прочувствовать Гумилёвскую осень.



Поэзия

---

---

**Татьяна Шеина**

*Родилась в 1980 году в Минске. Окончила медицинский колледж, затем биологический факультет БГУ. Стихи пишет с детства. Лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей. Автор сборника стихов «Шестерёнки иллюзий» (2012).*

**Другу юности**

Сажусь на подоконник – птицей раненой,  
Роняя на пол перья из крыла...  
Прочти мне, Гошка, что-нибудь из раннего –  
Из дней, где юность критиком была:

Про летний дождь, про злую волю случая,  
Про дедушку и яблонево́й сад –  
Прочти, прошу! А я, твой голос слушаю,  
Всплакну – как много лет тому назад.

Табачным дымом комната наполнится.  
Увязнув в нём, часы замедлят ход.  
А мне внезапно – комом в горле - вспомнится  
Две тысячи-мохнатый-с-чем-то год:

Засохший сыр, «Кадарка» недопитая,  
Студенческое тесное жильё...  
В углу – слегка потёртая, разбитая –  
Стоит гитара (как же без неё?!).

По струнам – в ритме ветра ураганного,  
А в перерывах – рядом, за стеной,  
Звучало дивным голосом Сургановой:  
«Мне нравится, что Вы больны не мной...»

Снежинки грусти воском в сердце таяли,  
Хрустел, ломаясь, боли острый наст –  
И мы шутили горько: «Нет Цветаевой -  
А строчки словно писаны про нас»...

...И пусть в тумане сгинул призрак  
прошлого,  
Танцует время. Вечен вальс его.  
Как здорово, что ты остался – Гошей,  
А дружба – дружкой, только и всего.

Прости за слабость! Птица с болью  
справится,  
Как плащ, качнутся крылья за спиной...  
Мне нравится... мне так безумно нравится,  
Что Вы больны – по-прежнему – не мной!

\*\*\*

Молодость уходит по-английски.  
Вот уже увесистым и толстым  
стал негласный список наших близких,  
за которых – стоя и без тоста.

Переходят кони скаковые  
кто – на мясо, кто – в разряд обозных.  
Жизнь рисует кольца годовые  
и на каждом ставит пробу: «поздно».

Переплёты книг, седых от пыли,  
глажу пальцем... Чудится порою,  
что под тяжким грузом «жили-были»  
изменились юные герои:

что Малыш растит пивное брюшко,  
Эльза бродит призраком по замку,  
а Ассоль – артритная старушка -  
шьёт для внучки алую панамку.

Под сомненье ставятся финалы:  
Долго? – вряд ли! Счастливо? – едва ли!  
Может, автор зря не внёс в анналы,  
что они не жили – доживали,

что любовь обложена налогом,  
что на счастье жизнь весьма скупая...  
Между строк счастливых эпилогов  
эпитафий строки проступают...

\*\*\*

Потерялась девчонка – румяная, ясноглазая,  
Улыбаться умевшая так, что и лёд расплавится...  
Час назад хохотала, с друзьями по вишням лазая,  
Не заботясь о сбитых коленках и рваном платице –

И внезапно... куда? Участковый вздохнёт беспомощно,  
Экстрасенс расколотит об стенку свой шар провидческий.  
Сыщик спросит казённо: «Особых примет – не вспомнишь?» - Но  
Нет - ни шрамов на сердце, ни пятен в душе девической -

Просто чистая девочка. Примула. Речка горная.  
На обиды скупа, несказанно щедра на милости.  
Внучка тихой деревни – и дочка большого города...  
А была вообще? Или, может, мне только снилась ты?

Нет... я помню, чем дышит, как выглядит, как старается,  
Как рыдает, забыв, что «всегда на ошибках учатся»,  
Как отчаянно верит и в Бога, и в душу-странницу,  
В доброту всего мира и в мамино всемогущество.

Утешают друзья: «Потерялась? Дорога скатертью!  
Не последняя, чай – без тебя преспокойно выживет!»  
Только я до сих пор продолжаю везде искать её –  
Непоседу в веснушках, как майское солнце, рыжую...

Тот, в Кого она верила, душу прикрывший ризою,  
Шепчет: «Жди! Из таких у меня – на полвека очередь!»  
...Только вдруг – словно солнечный свет, преломлённый призмой -  
Промелькнула во взгляде моей повзрослевшей дочери...

\*\*\*

Мокрый асфальт в ярких звёздах кленовых листьев –  
словно на землю упало ночное небо  
и расплескалось по парку, пытаясь влиться  
в сумрак аллеи, где время застыло немо...  
Мысли ползут заблудившимся караваном,  
нужно направить их вспять – да Погонщик спятил:  
память опять подвела – подвела к провалу,  
прошлое спрятав за россыпью ярких пятен  
(так маскируют старухи следы депрессий  
алой помадой и рыжими париками).  
Кожа укутана в кожу – но, как ни грейся,  
ветер гуляет в карманах сердечных камер.  
Осень меня оплела, словно рыбку – невод,  
Вот бы рвануться, не важно - вперёд ли, ввысь ли...  
Жаль, что, пытаясь взлететь, упираюсь в небо -  
мокрое небо в заплатках кленовых листьев...

\*\*\*

Два мира – два наполненных ведра,  
Качнувшихся на млечном коромысле...  
Нас ночь сближает – как она щедра! –  
На расстояние вытянутой мысли.

Когда, душой бездомнее бродяг,  
Стоишь, застыв у выхода из транса,  
По звёздным точкам взглядом поводя,  
Из пункта «А» прокладываешь трассу

До пункта «Б». (Но возле пункта «Б»,  
Похоже, измерения иные.  
Преграды на пути моём к тебе  
Не временные... и не временные...)

Когда немеешь, рухнув на кровать,  
От боли, атакующей с наскока,  
Стремясь - с упорством бабочки - прорвать  
Законов бытия упругий кокон...

Когда тоска заканчивает счёт  
И ядом растекается по жилам -  
Ночь, сжалившись, сближает нас ещё:  
На расстояние сжавшейся пружины...

\*\*\*

А время – кузнец, и оно каждый Божий день  
Калит нас, куёт, закаляет в беде-воде,  
Шлифует бархоткой событий-идей-людей -  
Почти незаметно - как волны шлифуют камень.  
Мы стали богаты на рифмы, скупы на слог,  
Но мыслим ещё не шаблонно, ханжам назло.  
Нас часто несёт – и неважно, куда снесло,  
Пока можно плыть, не цепляясь за дно руками.

Плюём на приметы, вставая не с той ноги,  
Блаженные духом, в порывах своих благи -  
Всё легче прощаем обиды, врагов, долги,  
К себе не по статусу строги, к другим – лояльны.  
В сердцах выгребаем скопившийся в сердце хлам

И делим по-братски, по совести, пополам,  
И искренне верим, что каждому – по делам,  
Что души бессмертны, а мысли материальны.

В нас столько записано - век не перечитать! -  
Зато не постигнет духовная нищета.  
Пускай иногда на щите или без щита -  
Чем дальше от пыли и грязи, тем к небу ближе -  
Нам рано ещё со счетов или на прикол,  
И, если Господь нами выстрелит в молоко -  
Упорно барахтаясь – даром что нелегко! –  
Мы сами взобьём это масло - и сами слижем.

В реке нашей жизни так просто не сыщешь брод,  
Утеряна карта, а компас безбожно врёт,  
Но это неважно: мы будем идти вперёд,  
По курсу попутно меняя «нельзя» на «можно».  
Пусть время калит нас в горнилах своих печей,  
Пусть с каждой минутой всё круче, всё горячее –  
Мы выдержим, друг! Говоря языком мечей:  
Не сможем заржаветь, пока не упрячут в ножны.

\*\*\*

В августе каждый внутренне одинок.  
Память ещё не сорвана, но надломлена.  
Поезд ползёт по насыпи – бегунок,-  
Наш городок застёгивая на молнию.

Стылый туман хозяйничает в листве,  
Виснет в ветвях паутинно-седыми нитями...  
И светофоры-липы меняют цвет:  
Можно-зелёный на жёлто-предохранительный.

Пёстрые скверы вылинявшим бельём,  
Тысячей ливней латаны-перелатаны.  
Площадь-ладонь в морщинах. Ключут с неё  
Слов наших чёрствые крошки ветра крылатые.

Если туда и вернуться, то лишь затем,  
Чтобы уйти внезапно и окончательно.  
...Боги закрыли с грохотом дверь в Эдем  
И бестолково щёлкают выключателем.

А.С.

## Серпантин

Это скалы, малыш. А по скалам ползёт дорога,  
Анакондовым тесным кольцом их тела сжимая.  
Кинестетики верят: дорогу нельзя потрогать,  
Математики верят: дорога – одна прямая,

Археологи верят: рельеф её одинаков,  
Эзотерики верят: все камни на ней – живые.  
Это время, малыш, без разметок, следов и знаков.  
Каждый шаг по нему мы проделываем впервые.

Путь наш – суть серпантин, утонувший в густом тумане,  
Задающий нам скорость – лети, забывая робость!  
А поверишь в его прямоту - серпантин обманет,  
А поверишь в его предсказуемость – рухнешь в пропасть,

А поверишь в его эфемерность – и лбом уткнёшься  
В иссечённый морщинами лоб – отзеркально-скальный.  
А на камни взглянёшь – и увидишь поток, унёсший  
Тех, что общий с камнями язык до тебя искали.

Время – суть серпантин – всех опасней и всех гуманней.  
То, что нас не убьёт – просто сделает нас большими.  
Серпантин убегает – и тает в густом тумане...  
...Я молюсь, чтобы путь твой, малыш, пролегал к вершине.

\*\*\*

Консервируешь лето – любовно, с запасом... И пусть  
По ночам умирает жара, в лихорадке сгорая,  
С каждым днём учащается августа яблочный пульс  
В ожидании смены времён и исхода из рая.

Ощущений кусочки кипят в необъятном котле –  
Зачерпни, рассмотри на просвет, если так незаметно:  
Это лето Господне, вместившее тысячу лет,  
Заискрится внутри миллионами ярких моментов.

Там в небесном пруду облака – карасями на дне,  
Там романтик-Зефир вдохновенно бренчит на гитаре...  
Расставляя по полкам варенье из солнечных дней,  
Понимаешь, за сколько всего ты Ему благодарен.

Дотлевает печаль, осыпается тёплой золой,  
Беспокойные мысли тускнеют, как титры за кадром...  
И сидишь на земле, постепенно срастаясь с землёй,  
И глядишь на закат, постепенно сливаясь с закатом.

## Проза

---

---

### К 75-летию начала Второй мировой войны

#### Александр Редьков

*Александр Львович Редьков родился 27 августа 1961 года в г. Пушкине. Образование высшее. Офицер запаса. Является членом поискового отряда «Рубеж-2». Автор документальных повестей и рассказов («Поручик, а не сержант», «Партия «Не горюй!», «По ту сторону Вислы», «Дорога к дому», «Иголки с нитками»), герои которых – реальные люди.*

#### Три свечи

*Документальная повесть*

Я родился в начале второго десятилетия XX века в Восточной Галиции – в местности, которую обычно называют Прикарпатьем. В то время она входила в состав Австро-Венгерской империи. Наше маленькое красивое село Залокице лежало в долине, разделённое пополам небольшой горной речкой. Люди, живущие в этом селе, говорили на смешанном диалекте польского, украинского и словацкого языков. Они называли себя «бойками», исповедуя в большинстве своём греко-католицизм. Но мои родственники не относились к ним.

В середине XIX века четыре семьи металлургов-сталеваров приехали в это красивое горное село из небольшого городка Тешин, стоящего на самой границе современной Польши и Чехии (1.10.1918 года в Цешинском княжестве образовался Национальный польский совет, объявивший о возвращении этой территории Польше). Эти люди хотели наладить здесь сталелитейное производство, используя те горные руды, которые были в этой местности... Среди них были и мои предки. Из этой затеи ничего не получилось, и все переселенцы остались в селе, живя тем же, что и люди, которые их окружали. Их дети переженились, и среди этих детей были мои мать и отец. Так вот и стало Прикарпатье моей Родиной. Деду пришлось поменять профессию – он стал лесником. Вслед за ним лесником стал и мой отец.

Первую мировую войну я не помню. Лишь отголоском прокатилась она по нашим местам. В 1914 году в Австро-Венгерской империи усилилось национально-освободительное движение. Юзеф Пилсудский начал формировать свои первые легионы, вырастающие из физкультурных команд. Эти люди надеялись, что стареющий австро-венгерский император разрешит создавать в своей империи сильные армии, состоящие из одних только поляков или украинцев. Это была глупая затея – ни один правитель мира не захочет иметь на своей земле чужую и сильную армию. Поэтому и созданные в составе армии Австро-Венгрии украинские национальные части не имели никакого реального значения.

В самом начале войны одно из таких импровизированных подразделений попыталось остановить наступление русских войск. Это была самоубийственная затея – их хватило лишь на несколько минут, после чего они были сметены лавиной наступающей армии. Это случилось на соседнем перевале, километрах в пяти от села. Русские пробыли у нас недолго. Как говорили потом наши односельчане: «Москали пришли и ушли». Они двинулись дальше – на город Борислав. Затем казаки подожгли все нефтепромыслы и отступили на свои старые позиции.

На жизни села это мало отразилось. Но мясорубка войны требовала всё больше сырья. Наших мужчин начали забирать на фронт. Не миновал этой участи и мой отец. Не знаю, повезло ему или нет, но он оказался на австро-итальянском фронте. Он ходил в атаки, сидел под обстрелом в окопах, был ранен в ногу. Но ему повезло избежать «запаха горчицы» – он не попал под ипритные снаряды. После тяжёлого ранения его демобилизовали и отправили домой, где ничего не изменилось.

Но пришёл ноябрь 1918 года, и на сельской сходке было объявлено, что Австро-Венгрия, Германия и их союзники капитулировали перед странами Антанты. «Мировая война» (как её называли тогда) завершилась. Тогда никто не мог представить, что после 1945 года её будут называть «Первой мировой»...

Те из сельчан, кто остался жив, начали возвращаться домой, принося с собой диковинные рассказы о пережитом и непривычные, невиданные в наших местах вещи. Среди таких «новшеств» в нашем селе, а возможно, и во всей Галиции, были самогонные аппараты. Их привезли те, кто вернулся из русского плена.

После капитуляции Германии и её союзников по всей Восточной Европе начался передел земель и территорий. Образовывались новые государства, гремели гражданские войны. Возродилась Польша, образовались Чехословацкое и Венгерское государства.

В это время на нашей территории украинские националисты провозгласили Западно-Украинскую Народную республику. И между legionерами Пилсудского и сечевыми стрельцами (так называли себя бойцы украинских формирований) начались вооружённые столкновения. Это продолжалось несколько месяцев. Legionеры Пилсудского смяли сечевых стрельцов, и те начали отступать в направлении Киева. Там их остатки влились в армию А.И. Деникина, а после его разгрома – в состав Красной Армии. Наше же Прикарпатье стало частью Польской республики.

Наступил мир. Люди начали возвращаться к нормальной жизни. Но эта передышка была короткой. Уже летом 1920 года по нашим местам покатила очередная война – на этот раз Советско-польская. Снова пошли на фронт наши мужчины... Но эта война не затянулась, закончившись осенью того же года. Похоронок пришло мало, и про неё стали забывать.

Мой отец хотел, чтобы я получил образование – я был единственным сыном в семье, а сестёр у меня было трое. Сначала я ходил в сельскую школу, где не было ни книг, ни учебников. Как и все остальные ученики, я запоминал уроки на память. В своей же сумке – её у нас называли торбой – я носил из дому пару поленьев для протопки печей в классах в холодное время. По окончании начальной школы отец отдал меня в гимназию, которая находилась за несколько километров от нас.

Промышленность в наших местах была едва развита. Только к этому времени был заложен первый нефтеперегонный завод. Главным богатством наших мест был лес. Сельское хозяйство приносило мало пользы в наших горах. Жили просто. Мы ходили в домотканой одежде. Летом ходили босиком, надевая хорошую обувь только в костёл или на праздник. Жили, в основном, огородами, молоком и молочными продуктами. Мясо, колбаса были на наших столах только на Рождество и на Пасху.

Деньги же наши крестьяне получали, только продавая лес в городе. Нам было проще, ведь наш отец был лесником и получал государственное жалование. Иногда он тоже продавал немного леса, чтобы оплатить мою учёбу. Для нашего села мы были вполне обеспеченным семейством. Остальные же сельчане жили тяжело, и многие уезжали на заработки в разные страны. Некоторые добирались даже до Бразилии. Но большинство работало во Франции или Германии, как в странах более богатых и развитых. Кое-кому из сельчан, исповедующих католицизм, удалось устроиться на нефтепромыслы, едва только начавшие добычу отличной карпатской нефти.

Но в наших горах таилось ещё одно богатство, о котором тогда особенно никто не задумывался – наша минеральная вода, которую называли «Нафтуся». Но туда никто не торопился вкладывать деньги, и знаменитые в будущем курорты Трускавца и Сходницы были мало кому известны.

Но время шло. Наступал год моего призыва в армию – 1934-й. Для большинства сельских парней армия была единственным окном в большой мир. Здесь они могли увидеть другую жизнь, несравнимую с простым и убогим деревенским бытом. К этому времени в наших деревнях всё ещё не было ни электричества, ни радио. Здесь не было автомобилей, а поезда ходили далеко за нашими горами. Но у нас в доме был даже водопровод. Дом стоял у горы, с которой стекал ручей. От него был сделан деревянный жёлоб, по которому вода текла в дом, где был и кран и раковина. Был даже сток для грязной воды.

У других деревенских семей не было даже этого. В то время на селе жилось не богато. Сельское хозяйство не давало никакой прибыли. Селяне работали, чтобы работать. Потому-то и рвалась на службу деревенская молодёжь. А если повезёт, то можно ведь получить в армии даже профессию... Тогда можно было бы после службы остаться жить в городе. Я очень переживал, что меня могут не признать годным к службе, здоровье должно было быть только отличным. Отбор был строгий, и его проходил один из десяти – не больше. И этот шанс на другую жизнь оказался моим. Я оказался годен. Меня призвали в горнострелковые войска и, так как я окончил гимназию, сразу направили в школу подофицерскую - школу младших командиров Войска Польского.

Служить я очень хотел и старался, так как думал остаться на сверхсрочную службу. А если повезёт, то и поступить в офицерское училище. Об этом мечтал я, мечтали и многие деревенские парни, надевшие военную форму. Ведь в армии хорошо кормили, хорошо одевали и обували, да ещё и платили денежное довольствие. Ты мог быть самостоятельным и не сидеть на шее родителей.

После первых недель безупречной службы я получил первое поощрение – кратковременный отпуск. Мой шестой полк (стрельцов подхаланских) был расквартирован в городе Самбор, в сорока километрах от дома. Накупив подарков сестрам и родителям, я приехал домой. Мне были рады. Родители пригласили соседей, и веселье заполнило дом.

Всем было весело. После первой долгой разлуки с домом было столько тем для разговора! Среди гостей оказался и один из сослуживцев моего отца. Это был средних лет мужчина, немало повидавший в жизни. Мы поговорили про армию, он вспомнил своё участие в Советско-польской войне 1920 года. Затем мы выпили ещё. И, утомившись рассказывать о своих подвигах на войне, он вдруг неожиданно предложил мне посвататься к сестре его жены. Он объяснил мне, что та недурна собой, работающая, но родом из небогатой семьи, и приданого у неё нет. И что она будет мне очень благодарна. Уже изрядно выпив, он начал рассказывать, что и его жена также потакает ему во всём, что в хате он ясновельможный пан, что...

Я уже не слушал его болтовню про его собственные подвиги и достоинства, но мысль о женитьбе запала в меня крепко. Наутро я переговорил с моими родителями. Они согласились со мной и послали сватов к этой девушке. Я пришёл к ним в хату, и девушка понравилась мне. Сговор прошёл успешно, и это изменило мою судьбу.

Ни о какой сверхсрочной службе не могло теперь быть речи. Мы договорились, что в положенное время я демобилизуюсь, и мы сыграем с ней свадьбу. С этим решением я приехал в часть. Но уже через неделю я затосковал по своей невесте.

Я обратился к начальнику подофицерской школы – офицеру в возрасте, но ещё крепкому и не старому. Он много пережил на своём солдатском веку. Начав свою службу ещё в русской армии, он прошёл вместе с ней все войны, начиная с Русско-японской. Как старого служаку, его отличало особое, почти отеческое отношение к курсантам.

Я надеялся на его помощь, но он просто сотворил маленькое чудо для нашей будущей семьи: по его приказу мне дали жалование за несколько месяцев вперёд и разрешили жениться.

Свадьба прошла весело. Я был счастлив, и моя жена, думаю, тоже. Теперь я считал дни до окончания моей службы. Незадолго до увольнения в запас у меня родился первый ребёнок – дочь. После того, как я возвратился к жене и дочери из армии, отец устроил меня работать лесником, как и он сам. Но делиться со мной лесом и землёй он не стал. Земли у нас было не так много: одиннадцать гектаров леса и четыре гектара пахотной земли. Сказал так: «Поживёшь со своей семьёй, а там посмотрим». Нам с женой пришлось переехать в дом к тётке моей жены.

У них была добротная хата, построенная лет тридцать назад. Единственный их сын погиб, как тогда говорили, на Великой войне. Нас они приняли с радостью. Вместе с нами они растили наших детей: через год у меня родился сын. Время шло незаметно. Я жил той же крестьянской жизнью, что многие поколения моих земляков до меня. Все думы были лишь о том, чтобы одеть и прокормить семью, а о прочем думать было почти и некогда.

В семье всё было хорошо, дети росли здоровыми, но денег не хватало всё больше. Родственники жены быстро старели, и уже не могли работать, как раньше. Нам всё больше приходилось содержать и их...

После долгих размышлений я снова написал заявление о поступлении на сверхсрочную службу в Войско Польское. Шёл 1938 год. В мире становилось всё тревожней. Германия откровенно претендовала на роль великой мировой державы. Всё жестче требовало правительство Гитлера пересмотра Версальского мира и восстановления Германии в границах 1914 года. Но наша Польша тоже желала вернуть то могущество и размеры, какими когда-то обладала Речь Посполитая.

Польша, Германия и хортистская Венгрия предъявили территориальные претензии к Чехословакии. Германия претендовала на Судеты, Венгрия – на Закарпатье, а Польша – на чехословацкий город Тешин – родной город моих предков-металлургов.

В Тешине все эти годы продолжала развиваться металлургия. Основанием для претензии Польши на этот город было преобладающее польское население в данной местности. Почему меня тянуло в эти места? Может, голос крови, может... Не знаю!

Но мне повезло – я не принимал участия в разделе Чехословакии... Наше правительство хотело придать вводу Войска Польского в Тешин возможно большую помпезность и внушительность. Были приглашены журналисты – как наши, так и зарубежные.

Кинооператоры снимали, как наш танк утюжил чехословацкие провололочные заграждения. Это был наш танк, сконструированный, построенный и собранный поляками, в нашей новой Польше, на польских заводах. Его называли 7-ТР (Семитонный танк польский, но его вес был девять с лишним тонн). Ни той, ни другой стороной не было сделано ни единого выстрела – чехословацкие войска покинули укрепления, не дожидаясь прихода польской армии. Кто думал тогда, чем обернётся для нашей страны захват этого города. Но дело было сделано, и Тешин стал «мясом польским». Страна праздновала победу. Но незадолго до этих событий наше правительство предъявило ультиматум Литве. Та, в свою очередь, попросила помощи в Лиге Наций, и после её энергичного вмешательства наше правительство отозвало свои требования...

Но аппетит приходит во время еды, и в марте 1939 года следующей жертвой Германии стала литовская Клайпеда (по-немецки Мемель). Фюрер сказал: «Это наш город!» Литовцы не посмели возражать, и снова Гитлер добился своего без боя. Маленькие страны Европы всё больше боялись стремительно растущей силы германской армии.

Следующим же объектом территориальных притязаний Третьего Рейха стала моя родина – Польша. Ещё весной 1939 года Германия предъявила ультиматум польскому правительству. Гитлер требовал совершенно невозможных и неприемлемых для любой страны уступок. Наше правительство ответило отказом на эти наглые требования. Польша заручилась поддержкой Англии и Франции, обязавшихся в случае нападения Германии вступить в войну на стороне Польши...

Но в нашем селе не знали об этом. Газеты сюда приходили редко, а радио у нас в селе не было. В это лето у меня в семье родился третий ребёнок. Ему было около двух недель, когда ночью раздался стук в нашу дверь. На пороге стояли наш сельский полицейский и вуйт. Мне вручили повестку. Я был обязан прибыть на армейский сборный пункт на следующий день. Официально мобилизация ещё не была объявлена, но наше правительство вело её скрытно. Ещё с начала лета некоторые молодые люди уже потихоньку исчезали из села. Говорили, что они выехали на заработки, но всё это была неправда. Они уже были в казармах и не могли подать оттуда вестей.

Утром я попрощался с женой и детьми, не ведая, что ухожу от них навсегда. Родич жены подвёз меня на своей телеге. Ехать нужно было километров сорок. Ехали не спеша. По дороге мы говорили о жизни. Я надеялся, что на этот раз останусь в армии надолго. Мне не хотелось больше работать лесником. И ни о какой близкой войне с немцами мы и не думали.

Правда, спустя много лет после этой поездки, он рассказывал моей родне, что предлагал мне спрыгнуть с телеги, спрятаться, отсидеться, а потом вернуться домой. Что на войне у человека нет будущего. Дезертировать. Всё это чушь. Никто тогда не мог представить, что наше государство рухнет так стремительно. Мы, польские солдаты, верили в нашу страну и нашу армию. Мы радостно пели в строю:

Наш маршал Смиглы-Рыдз – герой.

Наш маршал боевой.

Никто нас не побьёт.

Ничего не отберёт.

Пока с нами Смиглы, Смиглы-Рыдз!..

Мы верили, что ни одна пуговица с мундира польского солдата не будет отдана никому. Что сильна наша армия, а кавалерия – лучшая в мире...

Да, в польской кавалерии служило несколько чемпионов мира по конному спорту – но ведь они были только самыми сильными спортсменами. И в предстоящей войне этого оказалось мало. Сила, умение и доблесть польского солдата оказались недостаточны перед той массой современной техники, которую обрушила на нас гитлеровская Германия, а затем и Советский Союз в том страшном сентябре 1939 года...

Я прибыл в те же казармы, что и в 1934 году. Наш шестой полк стрелцов подхаланских включили в 22-ю горнострелковую дивизию, погрузили в железнодорожные эшелоны и передислоцировали в район западнее Кракова. Здесь, в лесу, мы и встретили тот самый первый рассвет Второй мировой войны.

Нам повезло – мы не были в первой линии обороны. День 1 сентября был для нас таким же мирным и солнечным, как предыдущий. Нас не бомбили и не обстреливали. Мы слышали вдалеке какой-то грохот, но не придавали ему значения. «Это гроза», - думали мы.

Днём полк был построен на лесной поляне. Командир зачитал обращение нашего Правительства к народу. Так война началась и для нас. Четвёртого сентября полк получил приказ: построиться в походный порядок и начать движение. Вместе со всей дивизией мы двинулись в путь, но только не на запад, а на восток.

Таков был приказ командования. А приказы выполняют, а не обсуждают. Где-то в середине дня четвёртого сентября, идя в походной колонне, мы в первый раз увидели гитлеровские самолёты. Это были монопланы – самолёты лишь с одной парой крыльев. Я ещё не видел машин таких конструкций... Нам говорили, что наш «сокол» Р-11 был одним из самых скоростных, считался в числе лучших истребителей мира. Но это было в 1934 году. Как оказалось, в 1939 году он уже уступал в скорости даже немецким бомбардировщикам. И сейчас на наших глазах они начали свое чёрное дело. Километрах в десяти от нас девятки «Ю-87» («Юнкерсы» которые потом стали называть «Штуками») делали так называемую «карусель». Подобно коршунам, они в пикировании падали с высоты, ревя включёнными сиренами. На выходе из пике они бросали бомбы и снова подобно коршунам взмывали вверх... За лесом мы не видели того, что творили они на земле. Мы не видели страданий их жертв и не слышали криков - только грохот рвущихся бомб и густые клубы чёрного дыма. Потом мы узнали, что они бомбили артиллерийский полк. После этой трагедии наше командование отдало приказ: двигаться только ночью. Ранним утром восьмого сентября наш полк после ночного марша готовился к привалу. Было туманно. И тут над нами очень низко пролетело несколько самолётов. И мы увидели на них белые кресты – это немцы возвращались с бомбардировки нашей родной Варшавы; они не обратили на нас внимания. Но за ними, ещё ниже, летели какие-то другие машины. Их было с десяток. И многие в нашем полку без команды и приказа начали стрелять по этим самолётам из всего, что могло стрелять. Они вкладывали в этот огонь всю ярость и боль нашего отступления и позора. Фронт трещал, а мы шли от него, и беженцы с презрением смотрели на нас. Мы всё ещё не сделали ни единого выстрела по врагу, и вот, наконец! Вспыхнул и загорелся один, другой... Лица моих однополчан светились радостью, многие обнимались и прыгали от радости, как дети. Многие плакали. Нам казалось, что наконец-то и мы что-то сделали для победы... Потом историки напишут, что польская пехота часто открывала огонь по своим самолётам. Но это будет потом. А тогда мы не знали, что это были наши...

Все мы хотели воевать, как и наш командир дивизии. Но по приказу мы продолжали отходить в составе армии «Краков», прикрывая её северный фланг. И здесь командир дивизии упрямил командование армии «Краков» атаковать неприятеля самостоятельно. Суть была в следующем. 22-я дивизия должна была атаковать небольшое вражеское танковое подразделение в городке Буско и разбить его. А дальше... Неизвестно что. Никаких дальнейших планов.

Мы отступали. Снабжение прекратилось, и ели то, что удавалось достать самим: где накопим картошки, где накормят крестьяне, где удастся отрезать кусок от убитой коровы или лошади.

В ночь на девятое сентября командир роты приказал нам с рассветом сдать наши шинели и ранцы на ротные обозные телеги. Утром же нам объявили о предстоящей атаке. Ещё через полчаса наша артиллерия начала артподготовку. Стреляло одно, может, два орудия. Артиллеристы стреляли торопливо, беспорядочно. Разведка почти не велась, и я не думаю, что огонь был губителен для врага. После артподготовки командир нашей роты отдал приказ. Мы пошли. Впереди нас была небольшая высота – холм. Мы не бежали – всё-таки мы были горными стрелками, а не пехотой. Никто не стрелял по нам. Рота быстрым шагом поднялась на вершину холма. И тут впервые за вторую неделю войны я так близко увидел врага... Это была мотоколонна фашистов. Она шла неспешно и беспечно, без боевого охранения, как если бы дело было где-нибудь в Германии. Нам повезло - танков в ней не было.

Перебежками мы быстро спустились вниз. Метров за сто пятьдесят рота залегла и открыла огонь. Они не заметили нас, и остальное пошло уже, как на полигоне. Единственное в роте противотанковое ружьё находилось в руках моего друга Блажея. Это был здоровенный двухметровый парень, бывший до войны лесорубом. Он плохо представлял возможности своего оружия, которое так нам пригодилось теперь. Блажей выстрелил в головной немецкий грузовик и попал в мотор. Машина встала. Одновременно вспыхнул под огнём наших пулемётчиков и

замыкающий колонну грузовик. В ещё один грузовик попала мина, выпущенная из нашего миномёта. Взрыв был очень силён – похоже, в грузовике были боеприпасы. Среди немцев началась паника, и командир поднял нас в штыковую атаку. Я и мои товарищи скорым шагом пошли вперёд. Штык моего карабина ослепительно сверкал, и как же мне нравился его блеск! Я увидел, наконец, своего врага в лицо. Это был здоровый немец с закатанными по локоть рукавами. И в его руках тоже была винтовка. Я не стал колоть штыком – просто нажал на спуск карабина. Тот дёрнулся назад и осел на землю. А я побежал к середине колонны. Следующий гитлеровец попытался сделать выпад штыком в мою сторону. Но я вырос в горах. В молодости я участвовал во многих сельских потасовках. Дрались село на село, улица на улицу. Были кулачные бои, но случалось драться и кольями. Я легко отбил его штыковой выпад прикладом своего карабина и снова нажал на спуск. Больше я ничего не успел сделать в том бою... Ведь всё продолжалось минут десять или чуть больше. И тут стал ощущаться сильный запах гари: пылали машины, пахло горелым мясом, жжёной резиной. Раздавались стоны. Наши солдаты собирали немецких пленных, бегали санитары вперемешку – и наши, и немецкие. Мы не трогали их, хотя они помогали только немцам. Наши же санитары не делали разницы меж изувеченными и умирающими людьми. Пленные курили, кружком сидя на земле, и у нас не было злобы к ним. Мы были великодушны в минуты этой нашей первой победы, пришедшей к нам на девятый день войны. Мы отдышались и перекурили. Затем рота двинулась дальше. Войдя освободителями в маленький городок, мы удивились: нас никто не встречал и не приветствовал. Жители прятались в подвалах и не выходили на улицу. Рота остановилась в центре городка – на рыночной площади.

К нам подошли ксёндз и бурмистр. Они стали просить нас поскорее покинуть город, показывая в небо, где кружил немецкий самолёт-разведчик. Они боялись что, заметив польские войска в городе, он вызовет бомбардировщики, которые разбомбят нас в пух вместе с их городком.

Наш ротный выслушал их, посмотрел на небо и приказал нам отойти в городской парк, под деревья. Через парк текла небольшая безымянная речка, через которую был переброшен широкий и прочный каменный мост. На другом берегу плотно, густо росли молодые ели. Тут мы и отдыхали, ожидая нового распоряжения. К нам подошли местные ополченцы. У них были охотничьи ружья, а на поясах висели бутылки с какой-то гадостью. Горлышки были обмотаны тряпками, к ним же были привязаны спички и чирканы. Наши солдаты начали смеяться и говорить, что «сейчас мы попьем самогонки», но они сказали, что в бутылки залит бензин, а для чего – скоро будет видно. Это было весьма кстати, так как у нас в роте совсем не было противотанковых гранат. Те, что были у нас, годились против пехоты, но против танков они были бесполезны. А у единственного, как я говорил, нашего противотанкового ружья было мало патронов.

Мои товарищи беспечно раскинулись в траве, наслаждаясь последними тёплыми днями осени. Мы и не думали, что немцы могут контратаковать нас так скоро.

...Сидя на пригорке, я вдруг увидел, как песок рядом со мной запрыгал маленькими фонтанчиками. По нам стреляли. Я быстро упал на живот и откатился в сторону, достал сапёрную лопатку, сделал небольшой бруствер и открыл огонь. То же сделали мои однополчане. Наш винтовочный огонь усиливался. Но толку от этого было немного – немцы вели огонь из еловых зарослей на другом берегу, и мы не видели их, стреляя наугад. Зато мы хорошо слышали свист пуль и нарастающий рёв танковых моторов. Через несколько минут на мосту через речку показался танк. Настоящий средний немецкий танк типа «Т-IV», а не танкетка, каких мы много видели на учениях. Пушка его выстрелила, снаряд пролетел над нами, не причинив никакого вреда. Но вот от его пулемётного огня нашей роте было много хлопот. Наши пули свинцовым горохом ссыпались с немецкого танка, не причиняя вреда. Он без помех проехал через мост, но тут произошло чудо. Ополченец (из числа присоединившихся к нам) бросил свою бутылку с бензином в танк и попал в моторный отсек. Танк загорелся, закрутился на месте и закрыл дорогу через мост. Из горящего танка выскочили танкисты и с воплями покатались по земле, пытаясь сбить пламя с горящих комбинезонов. Мы не стреляли по ним. Мы были слишком честны, чтобы добивать раненых. Мы были солдатами, а не убийцами. Эти германские танкисты потушили друг друга и, перейдя речку вброд, убежали в ельник.

Другие танки не торопились вперёд, но теперь в атаку двинулась пехота. Они, стреляя, перешли реку и были уже так близко, что я начал бросать ручные гранаты. После взрыва второй я увидел в нескольких метрах от себя вражеского солдата, лежащего сапогами вперёд. Большие

пятигранные выпуклые шляпки на его подметках блестели золотом в последних лучах уставшего солнца.

Атака захлебнулась. Гитлеровцы отошли на свой берег, а наш командир воспользовался передышкой и отдал приказ об отходе. Пройдя несколько километров лесом, мы остановились на привал. К нашей роте присоединился штаб нашего полка во главе с командиром. Здесь ротный сделал переключку и неожиданно вызвал меня из строя. Рядом с ним стоял командир полка. Перед строем нашего подразделения он объявил меня, подофицера, командиром 2-го взвода нашей роты, так как подпоручик, командовавший нашим взводом, не оказался в строю. Затем командир полка попросил мои документы и собственноручно вписал в них мою новую должность, сказав, что произведут меня в офицеры, когда это позволят обстоятельства. В моём взводе осталось четырнадцать человек.

Мы не знали ещё, не могли знать, что наша дивизия, далеко оторвавшаяся от основных сил армии «Краков», была с тыла атакована 27-й немецкой пехотной дивизией при поддержке 5-й танковой дивизии. Командир нашей дивизии потерял управление и пытался застрелиться. Дивизия распалась на мелкие группы. Очень многие попали в плен, но некоторым подразделениям (в том числе и нашему) удалось прорваться из окружения.

Одиннадцатого сентября наша рота вышла в расположение польских частей в районе села Осека. После проверки документов нас разместили на отдых. Здесь я увидел, что ещё не всё потеряно. В селе были пехота, кавалерия, много артиллерийских частей. У околицы стояли замаскированные машины с радиостанциями, а также танкетки, которые в нашей армии называли разведывательными танками. Привычные нам пулемёты были уже заменены на танкетках 20-миллиметровыми орудиями... Ещё жива была наша Польская армия, и ещё было чем сражаться с врагом, могучим и безжалостным.

Нашу часть временно включили в состав 55-й пехотной дивизии. Мы прикрывали переправы, по которым армия «Краков» переправлялась на восточный берег Вислы. Наша рота получила участок обороны. Я определил сектор обороны взвода, и мы начали торопливо окапываться. Мы понимали, что атаки врага не заставят себя ждать. Очень скоро мы услышали нарастающий треск немецких мотоциклов. Вскоре мы увидели их. Очевидно, они уже считали нашу армию несуществующей. Они были уже не просто спокойны, как те, которых мы били девятого сентября. Они были веселы, горланили песни, играли на губных гармошках... Мы уже приготовились открыть огонь, но в этот миг открыла огонь артиллерия. Наша артиллерия. Возможно, несколько артиллерийских батарей. Это был настоящий огненный вал. Я ещё не видел такого артналёта с польской стороны. Гитлеровские походные колонны смешались: мотоциклы насакивали друг на друга, взрывались и горели бронетранспортёры, горело всё. Земля дрожала от взрывов, и по воздуху всё гуще плыл уже знакомый нам запах гари – запах беды и военного лихолетья...

А потом мы встали и пошли в атаку! С нами поднялись и наши соседи с обоих флангов, и мы увидели, как нас много. И тут я услышал слова нашего гимна: «...пока мы живы, Польша не умрёт...» Я подхватил его, и слёзы выступили у меня на глазах – слёзы радости. Мы бежали вперёд, и наши растерянные враги остановились и побежали на запад. Мы преследовали их, и гимн нашей Родины катился над полем. Сейчас нам казалось, что нет ничего невозможного. Это звонкое, пленяющее чувство победы легко и просто несло нас по полю. Но это было так недолго и мимолётно! Километра через два или три теперь уже перед нашими цепями вырос такой же огненный вал огня немецкой артиллерии. Сначала мы залегли, а затем отступили в свои окопы. И приготовились к новым атакам врага. Но их не было. Убедившись в прочности обороны, немцы воздержались от лобовых атак.

К вечеру нам приказали отступить, и, выставив боевое охранение, мы отошли к Висле. Подойдя к такой большой реке, я почувствовал что-то подобное страху – я уже не раз видел смерть и кровь, огонь и грохот, но я жил и рос в горах. Наши речки были маленькими и мелкими, хотя и стремительными. Я почти не умел плавать. К тому же мы не знали, как будем переправляться – по мосту или на лодках. Но сапёры ещё не подорвали мост, и мы спокойно перешли по нему через так страшившую меня Вислу.

Гитлеровская бронированная армада всё больше пожирала землю Польши. Я не знаю, сколько километров мы прошли лесами за следующую неделю... Я не знаю, сколько километров было пройдено в эти дни. Мы были солдатами – привычными и крепкими в любой работе.

Примерно 18 или 19 сентября мы оказались в районе Томашува-Любельского. Наша рота вместе с другими частями армии «Краков» стояла на привале в лесу. Разжигать костры было запрещено. Командование опасалось немецких воздушных разведчиков. Германские войска, превосходя нас техникой, постепенно обгоняли наши отходящие части, постоянно вися на наших флангах. Единой линии фронта уже не существовало, и наше положение быстро ухудшалось. Поэтому мы с такой тревогой слышали растущий гул танковых двигателей. Но это были наши танки. Они шли ночью с зажжёнными фарами. Это были пушечные однобашенные машины «7ТР» – новейшие танки польского производства. Они могли на равных сражаться со всеми типами танков, которые имела на вооружении гитлеровская армия. Но в сентябре 1939 года в Войске Польском их было всего 133 штуки. Танкисты махали нам руками из башен, и мы радостно отвечали им. Ребята начали считать танки – их было двадцать два.

Вскоре нам объявили приказ. Мы должны были атаковать и выбить противника из города Томашува-Любельского. Ночная атака началась с артиллерийской подготовки, с рёва и грохота танков: впервые в ходе войны, которую потом назовут Второй мировой, произошло встречное танковое сражение. Десятки немецких и польских танков сошлись в жестоком бою. Наши польские танкисты опрокинули в нём врага и на плечах его ворвались в город. Но именно этого и не надо было делать: удел танка – бескрайние поля и широкие дороги, а не тесные улочки городов. Немцы подтянули артиллерию, и, потеряв маневренность внутри города, наши танки откатились оттуда, неся большие потери. Штурм города продолжили мы – пехотинцы. Мы продвинулись до центра города, но были остановлены плотным пулемётным огнём противника. Не добившись успеха, польская пехота через пару часов получила приказ оставить город. За ночь мы произвели перегруппировку и в тот же день вечером возобновили штурм. Но новый штурм повторил в точности предыдущую атаку: мы снова залегли в центре, не в силах продвинуться дальше, и снова получили приказ к отступлению. Командир нашей 55-й дивизии отказался от продолжения боя и решил прорываться в направлении Львова. Это было 20 или 21 сентября.

Но было уже поздно: мы не знали, что ещё 17 сентября Красная Армия перешла восточную границу Польши на всём её протяжении. Дальнейшее сопротивление было бессмысленно. Наш верховный главнокомандующий отдал приказ: «Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы, Модлина и Хеля, которые должны защищаться от немцев – без изменений».

Командир нашей дивизии попытался прорваться к Львову и помочь городу, ничего не зная об этих приказах. Командование 55-й дивизии надеялось, что фронт под Львовом стабилизировался. Но всё это было уже слишком поздно: не желая капитулировать перед нацистской армией, Львов 21 сентября капитулировал перед советскими войсками. 22 сентября в районе веси Улув авангард немецкой армии «Юг» вышел на пути отхода 55-й дивизии. Снова был встречный бой, и, прорвавшись, мы заняли оборону в перелеске. Затем началось что-то непонятное. Часами тянулось ожидание, ждали приказа на марш или на бой, но он не приходил. Мы не знали ещё, что командиру дивизии стало известно о падении Львова и вторжении Красной Армии.

Я увидел, как небольшой отряд польских кавалеристов выехал навстречу немцам. Я попросил бинокль у командира роты и увидел в руках первого всадника флаг. Белый флаг. Я отдал бинокль командиру и указал ему на это. Я спросил его, что будет дальше, но он знал об этом не больше меня. Мы стали ждать, так как ничего другого нам не оставалось. Вскоре на дороге, ведущей на запад, показалась колонна наших польских солдат под белым флагом, все при оружии. Мы, взводные и командир роты, вышли на дорогу и переговорили с командиром этого подразделения. Он сообщил нам, что командир 55-й дивизии решил распустить свою часть, но так как наша рота не была официально включена в состав дивизии, то наш ротный волен сам решать, что делать дальше: воевать ли, капитулировать, уходить ли за границу или распустить солдат по домам. Мы вернулись к роте. Командир спросил мнения у нас – его взводных. Когда очередь дошла до меня, я, не ведая о приказе главнокомандующего, предложил идти на юг, в Венгрию. Я не боялся смерти, но инстинкт самосохранения начал просыпаться во мне.

Командир промолчал. Он вывел нас на дорогу. Рота построилась в походную колонну, и мы пошли. Пошли на юг – это получилось как-то само собой. Мы просто шли. Флага в нашей колонне не было – ни польского, ни белого. А по дороге навстречу нам ехал немецкий мотоцикл.

Они не стреляли, и мы тоже. Мотоциклисты остановились в голове колонны. Один из них на польском языке спросил ротного, кто мы и что мы собираемся делать: воевать или сдаваться?

В ответ наш командир расстегнул кобуру и сдал личное оружие. На этом оборонительная война 1939 года для меня закончилась.

Нас разделили: офицеров направили в офицерские лагеря. Как подофицер, я оказался в обычном лагере польских военнопленных. Других лагерей у гитлеровцев ещё не было. Мы очутились в Восточной Пруссии. Вскоре группу, в которой оказался и я, определили на работу к немецкому фермеру. В германских хозяйствах всё больше не хватало мужских рук – война росла и ширилась, как пожар... Но и теперь кто-то должен был пахать, сеять и убирать урожай.

Охрана привезла нас к бауэру и уехала. Но перед этим старший конвоя сказал нам, что в случае чьего-либо побега каждый третий из нас будет расстрелян, а пойманный беглец или беглецы будут повешены. Литовско-германская граница была недалеко, но никто не собирался бежать туда: в Литву уже вошла Красная армия, отбив всякую охоту к такому побегу.

Хозяин выделил для нас старый сарай. В нём было холодно, но всё же гораздо лучше, чем в лагере. На следующий день он вывез нас в поле, объяснил, что от нас требуется, и уехал по своим делам. Посоветовавшись, мы решили не работать. Мы посчитали, что работа на врага ущемляет наше солдатское достоинство. Настало время обеда. Приехал фермер и, увидев, что ничего не сделано, оставил нас без обеда. Так продолжалось три дня: мы не работали, а он не кормил нас. Но при этом не бил и не ругался. На четвёртый день несколько человек начали убирать свёклу. Увидев сделанную работу, немец оценил её и накормил нас по результатам. На шестой день все работали с утра до вечера и получили вполне нормальный обед и ужин. А хозяин? Он ел вместе с нами, из такой же тарелки, в которую кашевар накладывал из общего котла.

...Места, где я родился и вырос, в это время окончательно закрепил за собой Советский Союз. Там были проведены «выборы» за присоединение к СССР. Русские объявили, что чуть ли не все мои земляки решили жить в Советской стране. Эти бывшие польские территории стали называться Западной Украиной. Немцы тоже перекроили захваченную ими часть Польши, довершив её «четвёртый раздел»: часть они присоединили к своему Третьему Рейху (как называли нацисты своё государство), а всю остальную территорию объявили «польским генерал-губернаторством» сохранив в нём свой оккупационный режим.

СССР и Германия заключили между собой соглашение о взаимной передаче военнопленных польской армии, западной или восточных областей Польши. Это означало, что русские должны передать Германии польских солдат, родившихся на территориях, оккупированных Германией. Так же должна была поступить и Германия.

До нас дошли слухи, что переданных в СССР польских солдат и офицеров домой не отпускают, а везут в советские лагеря в глубине страны – до самого Урала и даже дальше. Семьи их тоже подвергаются репрессиям, но каким, мы не знали. У меня осталась дома жена, трое маленьких детей, родители, а также три сестры (к этому времени они все уже вышли замуж и уехали из села). Беспокоясь и опасаясь за них всех, я решил скрыть своё происхождение, чтобы не быть выданным русским. Я не писал им писем, боясь выдать себя почтовым адресом, и они ничего не знали обо мне. Жив ли я, погиб ли, попал в плен или ушёл за границу, как тысячи польских солдат – оставалось неизвестно для них.

Летом 1940 года под напором гитлеровской армии капитулировала Франция. На фронтах наступило недолгое затишье. В отпуск из армии приехал молодой сын нашего фермера. Он был победителем. «...Сегодня наша – Германия, а завтра – весь мир!» Это был холёный и наглый пан, любивший смеяться широко и раскатисто. Он считал себя нашим господином, а нас – своими рабами, с которыми он волен поступать, как пожелает.

Через день после приезда он увидел, как мы шли через двор на работу. «Победитель» заулыбался, а потом взял пастуший кнут и принялся без разбору бить нас – польских пленников, работающих на него. Мы только отворачивались, закрываясь руками. Только свист бича да довольный хохот, перемежаемый отборными немецкими ругательствами «сверхчеловека».

И тут во двор выбежал его отец. С перекошенным от ярости лицом он вырвал из его рук кнут и с силой швырнул на землю. И не заботясь о том, видим ли мы это или нет, широкой мужской ладонью он с размаху ударил его по щеке.

Остановившись, мы смотрели, что будет дальше. А наш хозяин заговорил с ним резко и жёстко. Он яростно выговаривал сыну, что когда Германия вела Первую мировую войну (он так и сказал – Первую!), как и сейчас, она побеждала в начале. «Колесо поворачивается, - сказал он. -

Победы сменились поражениями, твой отец попал в плен, как и они (он показал в нашу сторону), и он знает и помнит – каково быть пленным. Всё может случиться на войне, и ты тоже можешь в один миг стать на место этих несчастных поляков. Подумай хорошенько об этом», - закончил он и отправился дальше по своим делам. После этого случая молодой барин уже не бил нас и даже старался избегать...

В июне 1941 года гитлеровцы напали на своего союзника до 1939 года – на Советский Союз. У нашего фермера был репродуктор, и я очень скоро узнал, что фронт откатывается на восток. Прикарпатье было оккупировано германской армией. Значит, подумал я, моим родственникам больше не грозят советские лагеря, и я могу дать знать о себе. Я написал жене и родителям, что жив, здоров и нахожусь в немецком плену. Через пару месяцев мне пришло письмо из дому. Жена не могла поверить, что я жив. Она посылала запросы в Красный Крест, где ответили, что я погиб в сентябре 1939 года. Рад был и отец, что я жив, хотя бы и в плену.

Время шло медленно. Я продолжал работать у фермера, а в мире уже шёл второй год войны. Письма из дома шли долго и не приносили особой радости. Сначала отец, потом жена сообщили мне, что через девять месяцев после моего ухода из дома у нас с женой родился четвёртый ребёнок – мальчик. Плен есть плен, и меня всё больше тяготило, что я, крепкий, здоровый мужчина, не могу вернуться домой и ничем не могу помочь своей семье. Наши голодали, жаловались на бедность, которую ещё больше усилила война. Ещё больше меня томила неизвестность. В то немногое свободное время, что оставалось после работы, я всё чаще устало смотрел на бревенчатую стену.

Дела Третьего рейха шли всё хуже. Великая война уводила из дома всё больше тружеников и работников. На их место теперь брали не только подневольных военнопленных: теперь с нами работали французы, голландцы, бельгийцы. Кого пригнали насильно, кто приехал на заработки... Вся «Festung Europe» - как вещал нам по радио доктор Геббельс.

Я сдружился с пожилым поляком – работником, жившим недалеко от Львова. Он рассказывал, что в наших местах немцы стараются поссорить меж собой украинцев и поляков, давая работу только украинцам. «Войне не видно конца, - говорил он. – Жизнь пройдёт, и радости от неё не увидишь. Живи здесь и сейчас. Случай будет сойтись с какой паненкой из угнанных - живите. Война спишет». Но это корбило меня. Я хотел жить в ладу со своей совестью. Давно, ещё в детстве, мой дед мне доходчиво объяснил, что такое совесть: «Это такое маленькое беззубое, но загрызет до смерти...»

Годы шли, я старался беречь себя до возвращения в свой дом. Мысленно я спускался с горы, шёл через мост, делящий пополам наше село. Вот и наш дом, около которого так много дикой черешни. И дети, бегущие мне навстречу. Я знал, что они сильно выросли за эти годы, но в моих мечтах они оставались такими же, какими я видел их последний раз, когда они бежали за телегой, увозившей меня. Мысленно я пытался представить себе четвёртого ребенка, но никак не мог это сделать...

Я писал жене, чтобы она спокойно растила детей и ждала меня. А я обязательно выживу на этой проклятой войне и вернусь домой. И мы все заживём, как жили до войны – без страданий и голода, и всё будет у нас хорошо. Она отвечала мне такими же тёплыми письмами.

Настало лето 1944 года, и поражение Германии стало очевидно даже для торговков на сельских базарах. Даже пленные знали, что немцы терпят поражения на всех фронтах, и в рядах союзников доблестно бьётся возродившаяся польская армия. Колесо поворачивалось!

...В это утро годами заведённый порядок нарушился. После завтрака мы построились и двинулись на работу в поле. Мы пошли от того же сарая, в котором мы так и жили с 1939 года. И мимоходом оглянувшись, я в очередной раз в жизни не смог догадаться, что больше никогда не увижу этот фольварк.

Вдали поднялся огромный столб пыли. Послышался гул многих моторов и скрежет гусениц. Шли танки. Они остановились, и, когда пыль рассеялась, мы увидели, что это совсем другие танки, не похожие на те, которые мы видели до сих пор. Они были гораздо крупнее, и их орудия были непривычно длинные. Да и калибр их был гораздо мощнее тех танковых пушек, какие я видел до сих пор. Они были выкрашены в зелёный цвет. На башнях у них были большие красные звёзды и русская надпись: «ВПЕРЕД, НА БЕРЛИН!» Это были русские!

Головной танк въехал во двор усадьбы и остановился. Мы стояли, ожидая, что произойдёт дальше. Из открытого люка вылез танкист и с удивлением посмотрел на нас. Немцы разрешали нам ходить в лагерях в военной форме. На нас были польские мундиры и фуражки. У некоторых

даже сохранились кокарды с польским орлом и короной. Командир танкового десанта спросил, кто мы такие. Мы ответили. Он сказал, что возглавляет танковый рейд по германским тылам и не может задерживаться здесь. Сам же русский фронт ещё далеко и находится в Литве. Чуть помедлив, он сказал, что тот, кто здоров и желает присоединиться к ним, может вместе с этим отрядом выйти к основным силам Советской Армии. Времени на раздумье не было, но никто из нас не колебался. Сначала около сорока наших польских бойцов разместились на броне этих двух русских танковых рот, а потом мы пересели в три трофейных немецких грузовика, захваченных русскими.

Я плохо запомнил наш путь по гитлеровским тылам. Два дня мы кружили по Восточной Пруссии, прежде чем командир получил по радио приказ об отходе и благополучно провёл свою часть через линию фронта. После придирчивой проверки советской контрразведкой нас направили на сборный пункт. К нам даже приставили охрану, хотя и маленькую.

К этому времени часть Польши уже была освобождена от фашистов. В Люблине было сформировано временное правительство Польши. При помощи СССР оно спешно воссоздавало Войско Польское. Через сборный пункт мы попали в 1-ю польскую армию.

Я предъявил сохранившиеся у меня документы с последней записью, сделанной в сентябре 1939 года: «Назначен командиром взвода». Я получил звание подпоручика и должность командира взвода, так как новой армии очень не хватало офицеров-поляков. Только боевой опыт позволил мне стать офицером, не окончив офицерского училища...

Война шла уже пятый год, и почти всё это время наша страна была оккупирована. Много офицеров было в плену. Многие воевали в составе союзных войск на Западе, где тоже сформировалась и воевала большая польская армия. Офицеры были нужны и в составе подпольных польских сил, продолжавших борьбу на всё ещё оккупированной немцами территории Польши. Мы ещё не знали тогда, сколько наших офицеров пропало в первый год оккупации, и название местечка Катынь тоже ничего не говорило нам.

...Получив назначение и прибыв в действующую армию, я оказался на правом берегу Вислы – около самой Варшавы.

При приближении фронта Варшава восстала, и мы слышали, что там шёл бой. Нацисты окружили город, расстреливали его тяжёлой артиллерией, яростно бомбили его, до основания снося квартал за кварталом. С самого начала они отсекали восставших от берега, и мы ничем не могли помочь им. Союзники и русские на парашютах сбрасывали оружие и боеприпасы. Но этого было слишком мало!

В сентябре удалось освободить Прагу – восточную часть Варшавы, расположенную на правом берегу Вислы. Командование фронтом разрешило части наших сил форсировать реку для поддержки восставших. Переправившись, наши польские воины захватили небольшой плацдарм. Немцы навалились на него огромной силой, отрезали наших от реки и быстро уничтожили. Все последующие попытки закрепиться на левом берегу окончились неудачей. Само же восстание было безжалостно подавлено, и последние защитники Варшавы капитулировали 2 октября 1944 года.

Первая польская армия была отведена в тыл на пополнение и перегруппировку, выполняя приказ советского командования, которому была организационно подчинена, входя в состав Советской армии.

В январе 1945 года советская армия возобновила наступление против немецкой группы армий «Висла». В её составе были и наши части. Наступление развивалось успешно. Мы по льду форсировали Вислу и 17 января 1945 года вошли в истерзанную Варшаву.

...Кому-то представлялось, что теперь мы войдём в нашу Варшаву парадным маршем, с развёрнутыми знамёнами и оркестрами. Этого не случилось. Мы шли по бывшим улицам в скорбной тишине, с болью глядя по сторонам. Город был мёртв. В отместку за мужество восставших нацисты разрушили город. Даже стен почти не было. Здесь тяжёлая артиллерия методично сносила квартал за кварталом, вместе со всеми, кто жил в них, не щадя никого. Даже те, кому было суждено выжить, были угнаны из опустевшего города. Ни одному из нас теперь не были нужны цветистые речи политруков, как теперь называли русские своих комиссаров. Мы желали теперь только одного – поскорее окончить эту неслыханную войну, шестой год терзавшую нашу прекрасную Родину. Скорее в бой! Как теперь можно спать и есть, пока живы фюрер и германская армия?! Мы будем бить, рвать и давить, пока последний из них не испустит дух или поднимет руки.

Наш порыв был неудержим и стремителен. Наступая, мы быстро прошли до самой границы с Германией. Границе, на которой стояли наши войска 1 сентября 1939 года! Но «колесо продолжало поворачиваться», и наши армии вошли в дрожащую, перепуганную «нашествием восточных орд» Германию. Мы остановились только на Одере, примерно в сотне километров от Берлина. Логово фюрера было так близко, но командование приказало перейти к обороне и начало подготовку последнего, смертельного удара в самое сердце Третьего Рейха.

Немцы быстро воспользовались этой передышкой и нанесли сильный контрудар на северном фланге наших фронтов – в Померании. Нашу 1-ю польскую армию перебросили в Померанию, и мы встали в стальную оборону плечом к плечу. Это были очень тяжкие бои. Каждый день война показывала нам своё страшное лицо, но это был 45-й, а не 39-й год! Через неделю мы остановили гитлеровцев, и шаг за шагом начали теснить их к Балтийскому морю.

У нас были свои политруки, как у русских, только назывались по-другому. Они говорили, поднимая наш дух, что мы приходим на этот берег навсегда, возвращая столетиями назад отнятые у нас земли, что Поморье станет берегом нового Польского моря, берегом великой и свободной Польши...

Мы приблизились на расстояние артиллерийского огня к немецкому порту Кольбергу. Но, конечно же, все мы называли его по-славянски, по-польски – Колобжег. Фашисты решили оборонять его до последней возможности: порт был прекрасно укреплен, а отлично вооруженный и многочисленный гарнизон считал позорной для себя саму мысль о сдаче полякам. Им была предложена капитуляция, им гарантировали жизнь и медицинскую помощь. В ответ же немецкий комендант спесиво изрек: «В 1807 году Наполеон не смог овладеть Кольбергом, а полякам тем более это не удастся!» Что ж, они сделали свой выбор.

Мы начали подготовку к штурму. Русские усилили нашу 1-ю армию частями гвардейских миномётов («Катюш»), добавив к ним небольшое количество самолётов морской авиации. Несколько раз наши летчики топили немецкие корабли прямо на наших глазах. Советские же корабли почему-то не решились поддержать нас с моря, но сил было достаточно и без них.

Русские говорили мне свою солдатскую примету – младший по званию офицер (у них младший лейтенант) живёт в боях несколько дней: за это время его либо убивают, либо он получает следующий чин. Так стало и со мной – перед самым штурмом Колобжега я получил звание поручика и должность выбывшего ротного командира.

Решительному штурму города предшествовала мощная артиллерийская и авиационная подготовка: пронзительно ревели многие десятки «Катюш», тяжело ухали огромные осадные пушки. И десятки штурмовиков крутили над врагом такую же «карусель», какую мы видели шесть лет назад.

Мы поднялись в атаку и вошли в город. Форт, стоивший нам такой крови, был мёртв. Ни одного выстрела не раздалось из его развалин. Но бомбить сам город мы не могли и не смели – слишком много в нём оставалось мирных жителей, среди которых было немало и поляков. Улицы здесь перекрывались баррикадами, все перекрёстки и площади простреливались не только пулемётным, но и артиллерийским огнём. И нам снова приходилось брать штурмом каждый дом. Бои здесь были особо упорные, так как окружённые и прижатые к морю немцы дрались особенно отчаянно. Им ещё раз предлагали капитуляцию, но, как и раньше, ответа не было.

Теперь я мало «стрелял и ходил в атаку». Я был теперь командиром роты и должен был больше руководить боем, чем стрелять из автомата. Я был в ответе за доверенную мне сотню таких разных жизней. Эти люди подчинялись мне, и я был в ответе за наш успех, а если случится...

Остатки гитлеровских войск оказались блокированными на территории морского порта. У них осталась небольшая полоска земли, шириной около трёх километров и глубиной всего лишь метров восемьсот.

Колобжег пал. Наши польские солдаты ещё раз доказали своё мужество и знание военного ремесла. Они высоко подняли нашу былую славу, затоптанную было немецким сапогом, подбитым блестящими медными гвоздями.

Когда затихли выстрелы, когда были преданы земле сотни наших друзей, павших в битве за Колобжег, к маяку пришли полки 3-й пехотной дивизии, чтобы дать клятву Балтийскому морю: «Клянусь тебе, Польское море, что я, воин своего Отечества, верный сын своего народа, никогда тебя не оставлю!.. Это — воля народа, и она привела меня к тебе, Польское море! Я клянусь, что вечно буду охранять тебя, не щадя ни крови, ни жизни, и никогда не отдам тебя

чужеземцам-захватчикам!..» Зазвучал гимн, знаменосцы двинулись к морю. Войдя по колено в воду, они повернулись лицом к нашему строю и медленно опустили полотнища в бьющие о берег волны. И тут усатый солдат, войдя в воду, снял с пальца золотое обручальное кольцо и с возгласом «Нех жив Польска!» бросил его далеко в море. У нас, поляков, с незапамятных времен, бытует обычай «венчания с морем». О нём и вспомнил теперь солдат, героически сражавшийся за Колобжег и только что получивший «Крест храбрых». За ним к берегу потянулись его товарищи. В тот день воды Балтики приняли немало обручальных колец.

В это время Люблинское правительство начало создавать 2-ю польскую армию. Несколько офицеров нашего полка были переведены в неё. В их числе был и я. До двадцатых чисел апреля мы готовились к новому наступлению. Все понимали, что оно будет последним: с востока армии союзников стояли в какой-то сотне километров от Берлина – на Одере, а на западе англо-американские войска быстро продвигались в глубь Германии. Наша же армия, находясь на южном фланге Берлинской группировки, готовилась к нанесению глубокого флангового удара. В течение 10-15 дней нам предстояло совместно с Советской Армией продвинуться до Дрездена и занять его.

Наступление началось 16 апреля. На сотни километров вдоль Одера ночь стала днём. Сила, обрушенная на остатки гитлеровской армии, была велика. Но из последних сил нацистский режим продолжал сопротивляться. У него всё ещё были тысячи отличных танков, орудий, самолётов и сотни тысяч фанатиков, готовых умереть «за своего фюрера».

После первых дней тяжёлого, но успешного наступления 20 апреля с юга фланг нашей армии контратаковал немецкий 57-й танковый корпус, поддержанный механизированными частями парашютной дивизии «Герман Геринг». Здесь же была и уже потрепанная нами дивизия «Бранденбург» и другие, не менее именитые части нацистской армии. Нам пришлось нелегко, но мы ещё раз показали стойкость польского солдата. Мы показали, что мы умеем не отступать и стоять насмерть, если приказа к отступлению нет.

Через несколько дней эта немецкая отчаянная попытка прорваться к Берлину с юга и восстановить положение на правом фланге провалилась. Мы отбили эти атаки, и фронт, поколебавшись, снова начал всё быстрее откатываться на юго-запад.

Ничто уже не могло остановить нас. Мы верили, мы видели, что эта проклятая война доживает последние дни. Германия была разгромлена, но несколько теряющих связь и управление армий ещё продолжали бессмысленное сопротивление. Одним из самых больших и сильных таких обломков была гитлеровская группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шёрнера.

Мы пошли на Дрезден и взяли его, после чего нашему подразделению была поставлена другая задача.

Узнав о падении Берлина и смерти Гитлера, чехи подняли восстание в Праге. Но, как и в Варшаве, силы пражан были несоизмеримы с остатками немецкой армии, противостоящими им. Немцы бросили в атаку на город танковые и мотопехотные дивизии. Положение пражан сразу стало подобно тому, в которое попали герои нашего Варшавского восстания 1944 года...

И с радиостанции восставших раздался зов погибающей Праги. Город молил о помощи, звал победоносную Красную Армию. Нас повернули на Прагу. Эти двести километров мы пролетели на броне русских танков с польскими белыми орлами за два дня. Все эти часы голос по радио звал нас: «Красная армия! Приди и спаси Прагу!» Мы спешили и боялись не успеть. Мы боялись снова увидеть то, что уже однажды видели в Варшаве...

Но Прагу спасли другие, а нашу часть развернули в ином направлении. Война завершалась на глазах: фронта уже не было, но отдельные гитлеровские части всё ещё пробивались по нашим тылам на Запад, чтобы сдаться англичанам или американцам. Некоторые из частей были большими и сильными.

Я с удивлением увидел, что мы оказались в районе города Тешина. Может быть, это было угодно самой судьбе, чтобы помирить соседей – поляков и чехов, чтобы именно здесь забить большой осиновый кол и этой войне, и этой старой обиде, посеянной когда-то меж нас...

Без боя наша дивизия освободила несколько чешских городков. Моя рота была выделена для охраны моста через ущелье в нескольких километрах от этого города. Недалеко, в тылу моей роты находилась чешская деревня. Тут я и встретил день победы над Германией. В ночь с восьмого на девятое мая со всех сторон началась беспорядочная стрельба вверх. Стреляли из стрелкового оружия, пускали ракеты, сигнальные и осветительные. В округе раздавались радостные крики. В расположение нашей роты пришли жители соседней деревни. Они рассказали нам: по радио передали сообщение о том, что представители главного командования вермахта

подписали сегодня ночью акт о капитуляции Германии. Война в Европе закончилась. Мои солдаты тоже стали стрелять в звёздное небо, радуясь победе. Чехи принесли вино и стали угощать солдат. Бойцы пили за победу, за мир, за нашу дружбу. Успокоились лишь под утро, легли отдыхать...

Отдых оказался недолгим: боевое охранение доложило, что прямо на наши позиции движется механизированная колонна противника. На бортах их боевых машин были нарисованы эсэсовские эмблемы в виде двух рун-молний. В колонне было несколько танков. Наши соседи-чехи в тревоге прибежали к нам, сказав, что к нашему мосту подходит немецкая колонна. Мы понимали: эти сдаваться не будут, эти будут прорываться на Запад, во что бы то ни стало. Им терять уже нечего. Когда гитлеровские машины показались перед позициями моей роты, я отдал приказ открыть огонь. У меня в подчинении была батарея 57-миллиметровых противотанковых пушек. Мне её дали для усиления. У меня было чем воевать. Колонна смешалась и остановилась. Несколько машин и танков загорелось. Однако немцы быстро пришли в себя и стали отстреливаться. Мои бойцы ясно представляли, кто стоит перед ними. Нацисты тоже видели, что на их пути стоят польские солдаты. Бой начался жестокий. Никто не хотел уступать. Мы хотели показать, что такое храбрость польского солдата, честь Белого Орла, припомнить им всё: и сентябрь 1939-го, и плен, и трагедию Варшавы. Нам хотелось показать этим эсэсовцам, что победили мы, а не они. А гитлеровцы, видя, что перед ними польские солдаты, шли напролом, не считаясь с потерями. Они не могли поверить, что мы не разбежимся от их напора. Что мы будем стоять насмерть и не пропустим их на запад. Они кричали: «Пропустите нас! Мы вас не тронем! Мы хотим сдаться американцам!»

Мои солдаты отвечали им только огнём. Но силы были неравны: у моих бойцов заканчивались боеприпасы. Нашлись такие смельчаки, которые лазили на нейтральную полосу и забирали у убитых немцев оружие, боеприпасы и отстреливались этим оружием. Но не могло быть и речи о том, чтобы пропустить эсэсовцев – воинские честь и долг были для нас превыше всего. Очень скоро у моих солдат кончатся патроны, и, наверное, немцы смогут прорваться здесь, но только через наши мёртвые тела. Мы не побежим и будем сражаться до конца. Этот бой шёл уже на второй день после победы, а все думали, что в Европе наступил мир... Но только не здесь – в чешских горах.

У нас была рация, но вокруг были горы, связь была очень плохой, и я ни с кем не мог связаться, чтобы вызвать артиллерийский огонь или авиацию. Пришлось посылать связных в штаб. Наше положение становилось всё более опасным, но я продолжал надеяться на помощь наших войск. Надежда умирает последней.

...Наш яростный бой показался нам шорохом листьев в дубовом лесу, когда из-за горы выскочили наши самолёты. Пройдя над нами, они засыпали эсэсовцев реактивными снарядами, вспороли землю очередями авиационных пушек. Германская колонна оказалась в положении зверя, которого со всех сторон обложили охотники. Каждый снаряд ложился в цель, и земля стала огненным морем для наших врагов. Машины, пехота, танки – всё горело и взрывалось под крыльями «Илов» с бело-красными шашечками. Повторив заход, они улетели. Стало тихо, были слышны только крики раненых, умирающих на горной дороге, и гул многих моторов, растущий и ширящийся у нас за спиной. К нам шла помощь! С гитлеровской стороны всё смешалось. Никто уже не пытался оказывать сопротивление. Кто-то сдавался, идя с поднятыми руками, другие пытались куда-то сбежать. Катались по земле умирающие. Кто-то стрелялся, боясь плена много больше, чем смерти. Очевидно, у них были для этого основания. Передние грузовики с подмогой уже перескочили через этот густо политый кровью мост, и из них начали выпрыгивать солдаты. На вид это были совсем мальчишки, наверное, 1926-1927 года рождения, не старше. У них были длинные винтовки, они стреляли неведомо куда и в кого и бежали неизвестно зачем. Они хотели хоть что-то успеть в этой войне...

Она закончилась, эта бескрайняя война. Мы радовались, мы обнимались и плакали от счастья. Но я ещё не знал, что эта война никогда не закончится для меня.

К мосту подъехал «Виллис». Из него выпрыгнул хорунжий – почти такой же юный, как эти солдаты. Он спросил: «Кто командовал подразделением, оборонявшим этот мост?» Я представился. Он отдал мне честь и сказал, что имеет устный приказ командования: доставить командира этого подразделения, «героически отстоявшего мост», в штаб дивизии.

Я сел в его машину, и мы поехали. Но мы не попали в штаб: По дороге наша машина подорвалась на mine. Я очнулся в госпитале, несколько дней спустя. Ранение оказалось тяжёлым:

контузия, травма позвоночника, повреждения нервной системы с частичным параличом правой стороны тела. После длительного лечения врачи сказали, что я буду жить, но инвалидом останусь навсегда. И никаких шансов на улучшение здоровья нет. Скорее, наоборот.

В скитаниях по госпиталям прошло несколько лет. Мне дали инвалидность, назначили пенсию. Я оказался в Доме инвалидов войны, в городе Душник-Здруй. Нас было здесь около трёхсот человек, офицеров-инвалидов войны. В основном, это были уроженцы восточных областей Польши. Тех областей, которые оказались в составе Советского Союза. Мы – польские солдаты – победили в этой войне, но путь домой для нас оказался закрытым. Нам выпала незавидная судьба оказаться небольшой группой из числа тех миллионов «перемещённых лиц», ставших жертвами послевоенного передела Восточной Европы. Наш дом остался за границей. Многие скрывали, что у них есть родственники, которые могли бы забрать их и заботиться о них. Вернуться туда мы теперь тем более не могли: на Западной Украине шла гражданская война. Украинские националисты организовали отряды УПА (Украинской повстанческой армии) и вели безжалостную партизанскую войну. Это была беспощадная борьба, и больше всего от неё страдало мирное население. Бойцы УПА очень жестоко обращались с теми, кто служил в Войске Польском, и часто даже убивали их. Особенно польских офицеров. Уже понемногу становилось известно о Катыни...

И я боялся. Я снова боялся, что своим приездом я могу причинить беду и страдание моей семье и всем родственникам. И одновременно с этими событиями в наших странах шло принудительное перемещение тысяч людей. Из Польши выселяли на Украину живших здесь украинцев, а навстречу им двигался такой же поток выселяемых с Украины поляков. И я опять скрыл, что с той стороны границы у меня осталась жена и четверо детей, указав при заполнении анкеты только престарелых родителей.

Куда могли деться, на что могли жить здесь женщина с четырьмя детьми, не имея ничего?.. Я не знал, что в нашей семье в 1945 году произошла трагедия. В дом, где жила мать моей жены и вместе с ней ещё девять человек (две другие её дочери и муж одной из дочерей, были также дети), зашли два бандеровца, требовали у родственников жены продовольствия для своего отряда УПА. В это время рядом с домом моей тёщи проходил местный милицейский патруль (из жителей нашего и соседних сёл). У бандеровца сдали нервы, он выстрелил по патрулю. Началась перестрелка. Националисты выпрыгнули в окно, им удалось спрятаться в лесу и всё наблюдать. «Ястребки» (так называли местных милиционеров) стали бросать в дом ручные гранаты. Дом загорелся. Сгорели девять человек, младшему было два месяца. Может, поэтому мою жену и детей не затронуло выселение на запад. Власти решили после этого преступления на время оставить моих родственников в селе.

Такова была жестокая правда, открывшаяся предо мной. Я тосковал. Я душой рвался к ним... Прошло ещё несколько лет. Из газет я узнавал, что гражданская война на моей родине затихает, жизнь нормализуется. У меня была хорошая пенсия, которую я высылал на имя отца. Правда, она была хорошей для Польши, а в Советском Союзе были другие цены и другие деньги. Но мне казалось, что, закончив гимназию, имея опыт руководства людьми, я смогу как-то работать на родине даже в моём сегодняшнем положении. И не буду обузой для семьи. В письмах я говорил им, что, подрабатывая, смог скопить немного денег, которых хватит на первое время. Но сам не могу, писал я, выехать к вам. У меня накопилось много полезных в хозяйстве вещей. Чемоданы, которые я не хочу бросать, но не смогу увезти сам. Приезжайте ко мне, в Душник-Здруй, и помогите добраться домой.

Наконец, отец написал мне, что уговорил родственника жены поехать с ним за мной в Польшу. Они даже выехали, но беда снова оказалась быстрее нас. Границу закрыли. «Железный занавес» до самого неба встал на пути домой. Теперь были нужны визы, разрешения на въезд и выезд. То, что вчера за полчаса решалось на таможне, теперь нужно было долго и сложно решать через Москву и Варшаву. У них опустились руки, и они вернулись домой. А я остался в доме для инвалидов в Польше. А дальше пошло ещё хуже: в СССР, как «врага народа», посадили и отправили куда-то в северные лагеря родственника жены. Теперь за мной просто боялись ехать, чтоб не очутиться в тех же местах, что и мой родич. Только мой старый отец был согласен, но у него уже не было сил, как и у меня. Конечно, о нас, героях страшной войны, здесь достойно заботились. В Доме инвалидов было хорошее обслуживание. У меня даже была сиделка, на оплату которой государство выделяло отдельную сумму. Но это не было моим родным домом. Здесь не было моей семьи.

А здоровье продолжало ухудшаться, мне всё труднее становилось ходить. Но я старался всё делать сам: мне, офицеру, было стыдно от своей беспомощности. Я все ещё надевал свой мундир и сам носил письма домой на почту. Я ещё пытался бороться за своё будущее.

Наступил 1951 год. Была глубокая осень, ударили первые морозы. Стало скользко. Я поскользнулся и сломал ногу. Травма оказалась серьёзной: рентгеновский снимок показал перелом бедра. Затем произошла закупорка сосудов в лёгком, и я умер (57 340 Duszniaki Zdroj STATYSYKA MEDYCZNA. Zawiadezenie wydano na podstawie wpisu z ksiegi glownej Nr 2325/51). Меня похоронили с офицерскими почестями на местном кладбище. Обо всём позаботилось руководство Дома инвалидов, то есть государство. На могиле поставили крест, прозвучал воинский салют, легли венки и цветы (Miejsce i data pogrzebu 04.10.1951, Duszniak Zdroj).

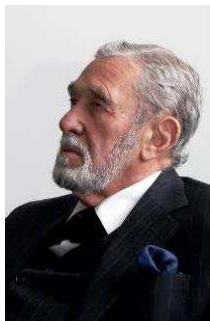
Очень хлопотал за меня мой земляк и однополчанин Блажей. Тот самый Блажей, с которым мы приняли наш первый бой в сентябре 1939 года и с которым мы много лет спустя встретились в Доме инвалидов. Почему он не вернулся домой? Я не знал и не узнаю этого никогда. У него была своя война и своя судьба, ведомая только ему одному...

Шли годы. Сначала по праздникам к моей и двум другим таким же могилам одиноких офицеров-инвалидов приносили цветы харцеры – польские пионеры. «Никто не забыт, ничто не забыто...» Но с годами пропали и они. И спустя десятки лет надписи на наших крестах стёрлись, и их уже невозможно прочитать. Затерялась и запись о захоронении в кладбищенском архиве. Пропали вообще все записи того 1951 года. Как будто никто и не умирал в том далёком году в курортном городке Душник-Здруй. Как было бы здорово, если бы всё это было бы именно так! Но это неправда: я умер тогда и похоронен там.

Через два десятка лет после октября 1951 года на мою могилу ко мне приезжал мой сын, но он не знал, где она. Старый кладбищенский смотритель показал ему три старые могилы, сказав: «Это здесь, а в какой из них Ваш отец, я не знаю». Мой сын зажёл три свечи и поставил по одной на каждую могилу, прочёл молитвы.

Скоро пройдёт время, и на месте старых бесхозных могил похоронят новых умерших, согласно существующему сейчас закону... Соберут мои кости, всё, что осталось от меня, и закопают в дальнем углу кладбища. Может быть, так же поступят и с останками других офицеров-инвалидов, лежащих здесь. А может, и нет. Хочу верить, что этого не случится, что найдутся затерявшиеся документы, что кто-то вспомнит и о нас – солдатах Польши, умерших в Доме для инвалидов, так и не вернувшихся домой с той, уже такой далёкой войны. Что нас, переживших май 1945 года, и наши могилы помянут и почтят вместе с нашими однополчанами, не дожившими до Победы. Ведь для солдат, не вернувшихся домой, та война не закончилась и по сей день...

## Анатолий Брусиловский



*Интервью Оксаны Карнович, Анатолия Брусиловского и князя Никиты Лобанова-Ростовского*

В Кёльне 11 апреля 2014 года состоялась персональная выставка «PWD» («Painted Wedding Dress») в арт-галерее «Eurasia Gallery von Massow» культового художника, новатора и коллекционера Анатолия Брусиловского. Экспозиция представлена восемьюдесятью новыми работами, выполненными акварелью и гуашью по тонированной бумаге. Темой данной выставки стала «Её Величество Женщина» – существо с противоречивой сущностью.

Анатолий будто проник в женское подсознание, продемонстрировав его архетипическую природу через образ Невесты. В каждой зарисовке, выполненной в иронично-шутливой манере, можно придумать целую историю героини картины с её социальной принадлежностью, манерой, характером. Фантазия художника безгранична, мышление ассоциативно. Здесь женщина и домохозяйка с нереализованным желанием стать скрипачкой; и скромница, мечтающая побороть комплексы и обрести сущность пантеры; и принцесса со скрытым дьявольским нутром; и балерина с чёрным квадратом Малевича, будто поглощающего женскую сексуальность из-за изнурительного труда при кажущейся парящей лёгкости. Многообразие ассоциативных сюжетов, возникающих при рассмотрении картин безгранично, и у каждого оно своё.





Анатолий Брусиловский аккумулировал в себе многочисленные таланты: живописец, писатель, книжный график, режиссёр, актёр, ювелир, дизайнер! Одним словом, Поэт искусства! Его фотопортреты современников вошли в Пантеон русского андеграунда. Этот альбом был издан Русским музеем, а выставки прошли в Академии художеств в Москве.

Самобытный, яркий, смелый, бескомпромиссный в так называемые застойные времена (в 1969 году) он первым создал русский боди-арт, что имело эффект взорвавшейся бомбы! И результаты не заставили себя долго ждать. По личному приказу Суслова Анатолия лишили работы в издательстве, а на книги с его публикациями наложили арест, желая задушить экономически.

Но неуёмная творческая энергия Анатолия искала новые пути для самовыражения, и он перешёл на новое направление – кино, став художником совершенно нового жанра – полиэкрана, создав ряд фильмов, получивших 42 международных приза и премии! А

коллаж, который прежде в России не использовался и был известен лишь как «фотомонтаж», стал его излюбленным методом общения со зрителем. Вызывавший резкое неодобрение властей, активный участник «левого» движения он продолжал «шокировать» определённые службы своим стилем жизни – независимым и богемным.

Весь цвет творческой и художественной интеллигенции, иностранцы, послы и дипломаты собирались у него в мастерской на Новокузнецкой. Его знаменитая Гостевая книга пестрит именами самых именитых режиссёров, художников, артистов, писателей и многих других ярких деятелей не только культуры, но и политики.

Так, сорок лет назад он познакомился с одним из крупнейших коллекционеров работ художников Серебряного века, банкиром, американским гражданином, князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским. Масштаб личностей обоих поражает. Несмотря на смены политических режимов, мест жительства (князь сейчас живет в Лондоне, Анатолий – в Кёльне) они сохранили полные тёплой иронии дружеские отношения и по сей день. Дабы поддержать своего друга, Никита Лобанов-Ростовский специально прилетел, чтобы произнести вступительную речь на вернисаже. Традиционно каждый раз посещая Кёльн, Анатолий с Никитой встречаются в ресторане у собора поесть чечевицы и выпить чая, где состоялось и наше, предшествовавшее выставке, общение. Молодость души, юмор, жизнерадостность, совершенно обезоруживающая и умиротворяющая открытость обоих позволили задать интересующие меня вопросы.

**О.К.:** *Анатолий, как возникла идея проведения новой выставки? Но вначале поделитесь Вашим рецептом молодости и счастья? Вы в такой замечательной форме!*

**А.Б.:** Рядом со мной парк, и я каждый день хожу по десять километров, обязательно по солнечной стороне. Видите, я даже загорел. Принимаю витамин Д. В течение очень многих лет, неизменно я час трачу утром на приготовление коктейля молодости собственного изобретения, который даёт мне все необходимые элементы. В очень точной пропорции сам выжимаю соки из свежих овощей. Во всяком случае, в сочетании с физической нагрузкой и при отсутствии сладкого, жирной пищи, жареного мяса и хлеба, который я никогда не покупаю, в мои 82 года не иссякает жажда жизни, любовь к женщинам, бодрость, свежесть, оптимизм, желание работать, причём, бесконечное! Вот я и сделал выставку из восьмидесяти новых работ. Это значит, что я писал, не разгибаясь. И согласился на устройство выставки по настоянию очаровательной молодой дамы, галеристки из Кёльна Милы Рацкевич. Хозяин, богатейший человек из аристократической семьи фон Массов, предложил ей руководить галереей. Г-н фон Массов является продолжателем династии владетельных правителей древней Мазовии (Массовии), именуемой также Мазурией! Мазурка — это их национальный танец! Тысячелетняя династия! У него бизнес связан со старинными музейными автомобилями. Он подумал, почему бы не открыть галерею, и дал объявление. Пришло множество искусствоведов, а выбрал одну – Милу, красивую, умную девушку, которая взялась за это дело с энтузиазмом и страстью. И чтобы галерея развивалась, распустила крылышки – я им содействую. Моя идея – галерея высокого класса, представляющая художников из России, уже состоявшихся, знаменитых и, главное, высочайшего уровня! Я уверен, серьёзные коллекционеры здесь есть, и они постепенно поймут – есть хорошее искусство из России для их коллекций!

У меня есть серия работ, над которыми я работаю уже четыре года до сегодняшнего дня. И зачем я это делаю? Просто душа требует, картины совершенно не похожи на всё моё остальное творчество, причём вдохновлённые в какой-то степени, опосредованно, князем Никитой Лобановым-Ростовским. Почему? Потому что в течение всех этих сорока лет, что мы знакомы, как учебный материал я изучал все книги по его с Ниной коллекции. Для меня это было учебное поле. До этого я хорошо знал всех

художников, но по большому счёту Льва Бакста увидел у него в коллекции. Никита, извините, что я говорю о моём дорогом учителе, друге и вожде в третьем лице!

*(Примечание. Вспоминается первое знакомство Анатолия с князем в Американском посольстве в Москве, почти сорок лет назад. «И как же изволите Вас называть? Господин? Мистер? Или вообще товарищ?», — «Да просто Ваше Сиятельство!» Это, конечно, была шутка, но и правда! К князю приличествует именно такое обращение», — писал Анатолий в воспоминаниях. — О.К.)*

**А.Б.:** Правильно! Вот Его Сиятельство показал мне в своих книгах Бакста. Я не стал копировать, а вдохновился тем, что можно рисовать женщин и через их костюмы (но не придумывать их), вдохновляться самому и вдохновлять зрителей. Это очень далеко от того, что я выставляю в Галерее Гмуржинской.

**Князь Л.-Р.:** *Я бы хотел дать пояснение. Бакст был первым художником, который пренебрегал покроем платья. Он «накладывал» рисунок, будто это плоскость, то, что есть и у Вас в части этих работ. Например, у Вас супрематистское изображение на платье. Это очень необычный и новаторский подход.*

**А.Б.:** Потрясающе тонко замечено! Потому что Никита всегда отличался удивительной точностью. Он не болтает много, как это делают искусствоведы – говорят много, а зёрнышко и не разглядишь. А Никита, наоборот, вытащит только зёрнышко! Ему удалось сформулировать суть ещё раньше, чем я сам для себя её сформулировал. У меня рисунок на платье наложен, а не развивается в его складках. Это потрясающе! Я просто восхищён!

**Князь Л.-Р.:** *Дорогой мой Анатолий! У нас всегда творческие разговоры!*

**А.Б.:** Таким образом, я воодушевился и сделал эти работы буквально от нечего делать. Но именно поэтому в них нет ни грамма лжи. Там именно то, что хотелось показать, как Вы заметили, формы женского тела просвечивают сквозь платье.

**Князь Л.-Р.:** *Способ завуалирования эrogenных зон, аналогичных Баксту, у Вас тоже представлен.*

**А.Б.:** Да, именно! Я не могу сказать, что я ученик Бакста, но он вдохновил меня! Безумно люблю его! У меня был настоящий Бакст. Причём - прекрасный! Но, к сожалению, его у меня украли. Это «Костюм еврейки» для балета Дягилева...

**О.К.:** *Вы не пытались его вернуть?*

**А.Б.:** Зачем? У меня столько вещей за мою коллекционерскую жизнь прошло! Мы с Никитой настолько близки: почти одноклассники (он моложе меня на три года), оба коллекционеры, любим женщин. И это важнее, чем сожаление о картине, которая радует других.

Но я продолжаю рассказ о нашей выставке. Я показал свои работы Миле. Она была первым моим зрителем. Никому из друзей прежде я их не показывал, предоставил ей восемьдесят работ. Она серьёзно за это взялась и самым лучшим образом всё устроила. Художники - очень капризные люди, до безумия. Просто доводят галеристок до истерик, до сердечных приступов. Знаю это по своему опыту, по своим коллегам, которые, действительно, порой бывают очень занудны, твердят: не так повесили, на три сантиметра нужно левее и т.д. Кстати, она ждёт нас с шампанским...

**Князь Л.-Р.:** *Вы же знаете, что я непьющий!*

**А.Б.:** Видел, видел, как Вы коньячок потягиваете! И сигару!

**Князь Л.-Р.:** *Сигару – да! Коньячок – никогда! Не получал удовольствия от него!*

**А.Б.:** Никита для меня – *magister elegantiarum*. Это значит, человек никогда никого не заставляет и не учит, но своим деликатным поведением, благородством являет собой пример! На него равняешься, на него смотришь и понимаешь, как галстук нужно завязать – шире или свободнее, должна ли косточка быть в воротнике рубашки или нет, пошетка –

платочек в нагрудном кармане пиджака и т.д. Мне же очень приятно в его присутствии всё это говорить. Не из лести. Зачем? Никакой выгоды. Никаких дел совместных мы не устраивали, мои работы, которые ему нравились, я просто дарил! Не правда ли? Никогда рубля не потратили! Поэтому я могу сказать, воспринимая кусочек его ауры, что ли, творчески претворяя, обрабатывая, вспахивая, поливая, подрезая на своей делянке, на своём поле – я вывожу свои суждения. И я сделал такой вывод, что уникальную серию уже довольно пожилого художника я отдам совсем неизвестной галерее, чтобы она поднялась и сделала себе благородное реноме, с большими ценами, с солидной публикой.

**О.К.:** *Анатолий, чего Вы ждёте от этой выставки?*

**А.Б.:** В общем, ничего не жду. Денег тоже. Моя галерея в Цюрихе платит вполне достаточно! Я доволен. Недавно на Рождество я был у Кристины Гмуржинской в Санкт-Морице. И был очень рад, когда прямо с поезда, поднявшись наверх, в город (галерея находится в самом центре –напротив Бадрут-Палас-отеля), сквозь стекло я увидел, что мои работы висят в постоянной экспозиции. Несмотря на всю сложность характера дамы-галеристки (и мы все хорошо это знаем), тем не менее она честная и благородная. И приятно, что она помещает меня во все списки «художников галереи». Потому что моя фамилия начинается на «Б», в начале стоит Анатолий Брусиловский, затем Василий Кандинский, Казимир Малевич, Хуан Миро, Пабло Пикассо, Александр Родченко. Это её художники. Почему? Она работает с наследниками; для них постоянно выставляет и продаёт. И она поместила меня в этот список. Я ей настолько обязан и часто говорю: «Кристина, если бы ты мне не платила, я должен был бы платить тебе за такие вещи!»

**О.К.:** *Это характеризует Кристину Гмуржинскую как человека хорошего вкуса, профессионала своего дела. Вы единственный из немногих ныне живущих художников, который имеет постоянную экспозицию в её галерее.*

**А.Б.:** На самом деле всё глубже, и я Вам объясню секрет! Дело заключается в том, что я, конечно, не тяну на Пикассо. Нет, я не делаю больших картин маслом. Но, в общем, придумщик я замечательный, могу честно, без ложной скромности, сказать. Многие десятилетия, занимаясь коллажем, я только фиксировал идею. Дальше можно было писать маслом целый год, но это значит, что большинство своих работ я никак не успел бы сделать. Я показал впервые работы госпоже Гмуржинской (она их знала уже достаточно хорошо), потому что они уже выставлялись в галерее её мамы в давно забытом 1970 году. Её мама Антонина – великая галеристка, мультимиллионерша, про которую до сих пор ходят легенды. У неё здесь, в Кёльне, был салон, где выставлялись картины разных направлений. Многие коллекционеры вспоминают, что если кто-то заходил к ней, без картины никто не уходил. Антонина подружилась с супругой Кандинского Ниной и привезла его работы в Германию, где он когда-то был запрещён. А потом её дочь Кристина вышла замуж за мультимиллионера, банкира и присовокупила к миллионам мамы миллионы банкира. Позже она с ним разошлась.

**Князь Л.-Р.:** Для Вашего сведения, в начале 1960-х годов Антонина приезжала к нам в Нью-Йорк с мужем, у которого была обувная фабрика. И все наличные шли от мужа. Она была большой «махер» по-нашему! И дочка имеет такую же хватку!

**О.К.:** *Анатолий, я хотела Вас спросить: как в годы так называемого «застоя» можно было творить? Это же психологически сложно, когда ограничивалась свобода самовыражения...*

**А.Б.:** Наоборот! Никто не морочил голову! Рынка не было. Сейчас всех до безумия поссорил рынок. В Париже в русской колонии художников все друг друга ненавидят, просто убить готовы. Почему? Этот купил у него, а не у меня, а этот заплатил больше ему, а не мне. Этот выставил в галерее его, а не меня. Ужас!

**Князь Л.-Р.:** *Как же было в советские времена?*

**А.Б.:** В те времена никто ничего не знал, о ценах тем более. Приходит иностранец: «Эта картинка что стоит?» Художник отвечает: «Не знаю»... Были и такие ремесленники

невысокого пошиба, которые не сильно ценили свои поделки. Один даже написал целую книгу о том, как они фарцевали картинами за старые джинсы, пластинки, сигареты, за журнал «Плейбой». Позорище! Но при этом была и другая группа серьёзных, интеллигентных художников, которые работали и имели прочное профессиональное положение. К примеру, я иллюстрировал книги. Это была солидная, хорошо оплачиваемая работа! Денег я имел тогда больше, чем сейчас, во всяком случае, по советским меркам, как директор большого завода, это точно! Для меня моя работа художника была для души и сердца. У меня большая красивая студия (Никита не даст соврать) в самом центре. И после спектакля в «the Bolshoi» в студию часто приходили мои знакомые – американцы, французы, англичане, мексиканцы, послы с секретарями. Мне помогало знание иностранных языков. Студия всегда была открыта, стол накрывался быстро, всем было интересно! До утра гудели.

**Князь Л.-Р.:** *Хочется пояснить... Значит, отсутствие открытого рынка делало отношения между художниками не завистливыми, а просто дружескими, и государство не налетало на Вас, потому что ущерба Вы никому не делали? Власть не слишком обращала внимание?*

**А.Б.:** В том-то и дело, что мы никаким образом не задевали государство, оно было априори. Государство не покупает, не выставляет, не пишет, ничего не делает для нас. И мы не морочили голову и не просили: мол, сделайте выставку. Писали для души. А между собой отношения были чистые, потому что каждый живёт, как может в бедной, несчастной стране. А мы жили всё-таки лучше, чем другие. Художники имели какие-то подвалы, чердаки, где можно было принимать людей, большой кампанией выпить, где можно было пообщаться, и, главное, где можно было творить! Там кипела жизнь! Приходили в гости девушки-красавицы... Где же, как не в России, самые красивые женщины в мире? Дело молодое... Жизнь была прекрасная! Я написал книгу, где есть глава, которая называется «Это чудное застойное время»! Это всё сущая правда! Эти все разговоры, что была давиловка и одни только кошмарные аресты, это враньё людей, которые не жили тогда, и многое было придумано. Да, за нами пристально присматривало КГБ. Это точно. Я знал, что моя студия время от времени прослушивалась, и это было ясно по дальнейшим ситуациям. Надо было это учитывать. И это тоже можно было использовать.

**Князь Л.-Р.:** *Каким образом?*

**А.Б.:** Сейчас объясню. Мои коллеги, друзья спрашивают: «Брусиловский, почему идёшь»? Я отвечал: «У меня коры в этом кармане», то есть все корреспонденты. Понимая, что у меня в потолке где-то жучок, я говорил, что если меня не пустят в посольство, то разговоров будет столько! На весь мир, что художника не пустили, безобразие! Они это понимали. Не все имели такой «козырь»! У меня не было постоянного места работы, привязки, я был независимый. Нажимать на меня было трудно. Моё общение с иностранцами было безвредным, я ж не знаю никаких секретов, где заводы, где фабрики, ничего не знаю! Ни с кем из ЦК я не знаком. У меня был друг, который стал ухаживать за дочкой одного члена ЦК. Его тут же повязали... Его предупреждали: зачем Вы это делаете, зачем Вам нужны неприятности? «Но почему же нельзя»? – спрашивал он. Ах, так! И его всячески «прижимали»! А я это тщательно прокламировал: ничего не знаю, никаких секретов, говорю с американцами только про искусство. Хотя это было не так.

**О.К.:** *Анатолий, почему в то время было столько много ярких культурных событий? Так называемое «застойное» время шестидесятников дало миру столько ярких личностей – режиссёров, актёров, поэтов, художников, которые взрывали мир новыми идеями! Почему сейчас тишина, либо перепевы, реплики того, что было создано прежде?*

**А.Б.:** Ситуация, действительно, абсолютно парадоксальная. Когда был кошмарный застой, отвратительная кагебуха, слежка, запреты – талантливые люди появлялись

буквально на каждом шагу, и я их всех знал, и мы очень активно общались! Противодействие в нас рождало действие, азарт!

А потом что-то произошло... Как только открылись границы, многие художники уехали. А там создали совсем другую жизнь – кто-то остался в искусстве, кто-то нет. Никто от бедности не помер. И это сильно отражалось на тех, кто остался в России. Было ясно и понятно: там хорошо, а здесь плохо. В том-то и дело что всё отражалось только на ментальном уровне. Кушать всегда было что, голода никогда не было. Я помню прекрасно, как-то пригласил Его Сиятельство и общих друзей к себе в самый разгар застоя: ели вкусный борщ, пили водку...

**Князь Л.-Р.:** *Да и шампанское Вы открыли!*

**А.Б.:** Да, и всего было полно! У меня не было партийных распределителей, ходов каких-то. В общем, пойти и купить что-то на рынке было несложно, и не таких больших денег всё стоило. И всё было намного дешевле, чем в других странах, а сейчас цены сравнялись с европейскими и даже больше. Ныне, когда приезжаю в Москву, денег уходит в полтора раза больше, чем здесь, в Кёльне. Это всё накладывает сильный отпечаток на ментальную природу творческих людей. Почему? Вместо того, чтобы мечтать о высоком, о красоте, писать картину целый год маслом, ему звонят по мобильному с утра до вечера: старик, тут такое можно хапнуть, продать, купить. Всё это сбивает абсолютно с толку. У нас тогда ничего не было. Хотя мы абсолютно нормальные люди, нам тоже хотелось и одеться хорошо, кому-то и машину иметь, а сейчас только об этом и думают, так как на каждом углу можно что купить и получше. Только нужно долларов больше иметь. Художники думают только об одном: как продать или, вернее, как найти хитрый ход, который у них на Западе считается популярным – скопировать или сделать залипуху (это так называется). Современное русское искусство не очень привлекательно для Запада! Галереи есть, но они не могут соревноваться с мировым арт-рынком. Нет и знающих, компетентных арт-критиков. В то время всё было проще! Никаких тебе выставок на Западе, никаких поездок тоже. Невозможно нигде ничего увидеть. Никаких монографий, книг, статей – значит, нужно выдумывать самому. Тогда всё было искренним, настоящим. А нынешним художникам, пожалуйста, дорога открыта, разъезжай по всему миру, смотри; не можешь сам придумать – бери! Дэмиан Хёрст придумал череп. Другой начинает всё это заимствовать.... А после Хёрста это никому не нужно. И он, несчастный, бьётся о стенку в надежде, что вот-де сейчас скопирую и миллион получу! Но это уже не искусство, увы... А сейчас я приглашаю пойти в галерею и выпить шампанского!





*Оксана Карнович, Анатолий Брусиловский и Никита Лобанов-Ростовский у витрины галереи «Eurasia Gallery von Massow» в Кёльне*



## Наши друзья

---

---

### Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»

«Сихотэ-Алинь» выходит во Владивостоке с 2003 года – сначала как альманах-ежегодник, теперь – два раза в год в качестве «толстого» литературно-художественного журнала. Издаётся на общественных началах на пожертвования мецената и средства, вырученные от продажи незначительной части тиража – в основном идёт на безвозмездное пополнение фондов публичных и школьных библиотек. Электронная версия публикуется на сайте омского писателя Николая Березовского. В составе редколлегии, общественного и попечительского советов – писатели, учёные, педагоги высшей школы из Владивостока, Лесозаводска, Арсеньева, из Москвы и Санкт-Петербурга, Омска, Пскова и Севастополя: Юрий Кабанков, Валерий Кулешов, Лидия Сычёва, Владимир Крупин, Валентин Курбатов, Василий Самотохин и др. Среди авторов «Сихотэ-Алиня» – современные писатели из России, Казахстана, Украины, Китая, Канады, Франции и других стран. Журнал печатает классические произведения русской литературы; прозу, поэзию, публицистику, критику начинающих авторов; лучшее, что выходит из-под пера дальневосточных литераторов, входящих в авторский актив издания – приморцев, хабаровчан, сахалинцев и пр.

«Сихотэ-Алинь» поддерживает творческие связи с периодическими изданиями: «Берега», «Огни Кузбасса», «Литературный меридиан». Выходит в свет в рамках некоммерческой издательской программы «Народная книга».

Директор программы – Эльвира Васильевна Кочеткова: [haos216@mail.ru](mailto:haos216@mail.ru)

Почтовый адрес: 690003, Владивосток, ул. Авраменко, д.-17, кв. - 65, Кочетковой Эльвиры Васильевны.



## *Правила подачи материалов в журнал «Берега»*

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Присылаемые рукописи должны быть сохранены документом

Word (шрифт – Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1). Текст не форматировать, не подчёркивать; разрешается части текста выделять курсивом. Файл называть своей фамилией, в начале текста – краткие сведения об авторе.

Решение о публикации принимается редакционным советом журнала.

Главный редактор - Лидия Владимировна Довыденко

Телефон: +7 9118630467

E-mail: [dovidenko\\_L@mail.ru](mailto:dovidenko_L@mail.ru)

<http://www.dovydenko.ru>

Дизайн и вёрстка: Анна Степанова

Отпечатано в типографии: ООО «Салон Цифровой Печати»

г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 77, тел. (4012) 915-111, [www.915111.ru](http://www.915111.ru)

Тираж: 500 экз.

Издание предназначено для лиц старше 12 лет. При перепечатке материалов, в том числе использовании их в электронных СМИ, ссылка на журнал «Берега» обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов, может не разделять точку зрения опубликованных авторов. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

**Октябрь 2014. №6**